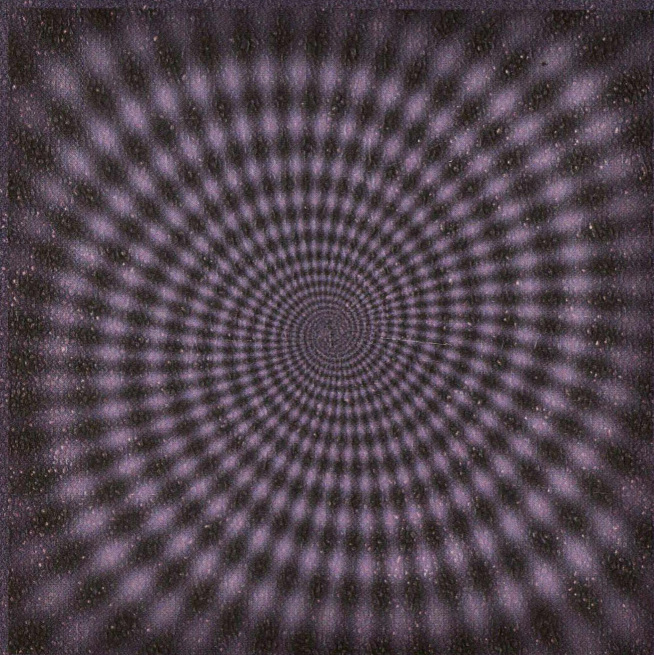


В.Д. Соловей

# РУССКАЯ ИСТОРИЯ:



НОВОЕ  
прочтение

УДК 94(47); 323(470+571)  
ББК 63.3(2)  
С60

**СЕРИЯ «АИРО-МОНОГРАФИЯ»  
ОСНОВАНА В 1994 ГОДУ**

**Рецензенты:**

доктор исторических наук, профессор А. И. Вдовин  
доктор исторических наук В. А. Невежин

**Дизайн и вёрстка: Сергей Щербина**

**Соловей В. Д. Русская история: новое прочтение. Серия «АИРО – Монография». — М.: АИРО-XXI, 2005. — 320 с.**

Монография открывает новую парадигму в понимании отечественной истории. Автором предложена оригинальная трактовка этноса/этничности и сквозь эту призму рассмотрена история и актуальное положение дел. Русская история предстает в новом свете: выявлена ее сквозная логика, переоценены существующие факты и наблюдения, пересмотрены и переформулированы прежние выводы, в том числе фундаментального характера. В монографии сформулирована концепция цикличности отечественной истории, дана новаторская интерпретация русских революций XX в., выявлены русские константы восприятия внешнего мира, проанализированы драматические последствия социокультурной и ценностной трансформации отечественной традиции. Полученные теоретические результаты имеют важное практическое значение, могут быть использованы в государственном строительстве и актуальной политике.

Книга предназначена ученым-историкам, всем интересующимся отечественной историей.

**ISBN 5-91022-018-7**

ISBN 5-91022-018-7

© Соловей В. Д., 2005  
© АИРО-XXI, 2005

---

---

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ЗАГАДКА РУССКОЙ ИСТОРИИ. Введение .....                                                                                                                                                                                                                               | 7   |
| Глава 1                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| ПРИРОДА ЭТНОСА/ЭТНИЧНОСТИ                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Теоретическая нишета современной этнологии • О биологической<br>природе этничности • Возможность врожденной социальности<br>• Что такое этнические архетипы • Этнос и нация • Культурный<br>и научный контексты концептуализации .....                                | 29  |
| Глава 2                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| БЫТЬ РУССКИМ                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| «Кровь» и «почва» • Русские архетипы • Бессознательная этническая связь<br>• О константах восприятия внешнего мира • Значение витальной силы<br>• Механизм исторического развития .....                                                                               | 63  |
| Глава 3                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| РУССКИЕ ПРОТИВ ИМПЕРИИ .....                                                                                                                                                                                                                                          | 94  |
| Глава 4                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| РУССКИЕ ПРОТИВ СССР .....                                                                                                                                                                                                                                             | 134 |
| Глава 5                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| СМУТЫ КАК ЦИКЛЫ РУССКОЙ ИСТОРИИ .....                                                                                                                                                                                                                                 | 191 |
| Глава 6                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| НЕ ЗАПАД. НЕ ВОСТОК. НЕ ЕВРАЗИЯ                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Русские константы восприятия внешнего мира                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Концептуальная канва • Периодизация • Формирование русских констант<br>восприятия Запада • Запад как центральная проблема советского общества<br>• Что изменилось, а что осталось прежним в постсоветскую эпоху<br>• О практической значимости научного анализа ..... | 209 |
| Глава 7                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| МИФ «ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАЦИИ»                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| И ПРОВАЛИВШЕЕСЯ ГОСУДАРСТВО                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Итоги строительства «российской политической нации» • «Незрелая<br>стратегия — причина печали» • Политика государственного патриотизма<br>• Народ и «провалившееся государство» .....                                                                                 | 257 |
| Глава 8                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| РОЖДЕНИЕ НАЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Исторический смысл нового русского национализма .....                                                                                                                                                                                                                 | 275 |
| Глава 9                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| ВАРВАРЫ НА РАЗВАЛИНАХ ТРЕТЬЕГО РИМА                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Социокультурная и ценностная трансформация русской традиции .....                                                                                                                                                                                                     | 290 |
| «НЕ НАДО ОТЧАИВАТЬСЯ...». Заключение .....                                                                                                                                                                                                                            | 303 |

# ЗАГАДКА РУССКОЙ ИСТОРИИ

## Введение

Пиши кровью: и ты узнаешь,  
что кровь есть дух.

*Фридрих Ницше*

Если отправным пунктом возникновения науки послужило удивление человека, то для всякого непредвзятого наблюдателя отечественной истории главным предметом удивления должна бы стать успешность России, причем успешность не благодаря, а вопреки обстоятельствам. Однако эта фундаментальная загадка российской истории не только не получила вразумительного ответа, она, чаще всего, даже не осознается. Более того, утверждение об успешности российской истории неизбежно вызовет недоумение, тем более сильное, что в современной историографии и публицистике общим местом стала оценка отечественной истории как неудачной, а самой России — как неполноценной страны. Идеей ущербности Отечества — врожденной или приобретенной — в сравнении с Западом буквально пропитаны лексика и логика рассуждений российских средств массовой информации, общественно-политическая фразеология. Достаточно напомнить популярное сравнение «нас» (России и ее граждан) с «ними» — «цивилизованными» и «нормальными» странами, подразумевающее, что «мы» — ненормальная страна и нецивилизованные люди.

Эти навязываемые российскому обществу фактически расистские оценки не только морально ущербны, но и глубоко ошибочны по существу. На протяжении последней полутысячи лет Россия являла одну из наиболее успешных в мировой истории стран. Но для адекватной оценки ее достижений надо отойти от культурно-исторического западоцентризма, рассматривающего современный мир



с телеологической позиции, согласно которой Запад оказывается моделью и идеалом человеческого развития. Запад — лишь малая часть современного мира, а его лидерство в человеческом сообществе не более чем кратковременный исторический эпизод, который, возможно, уже близится к своему завершению.

Самую динамичную и перспективную региональную экономику современного мира представляет не объединенная Европа или США, а Восточная Азия. По заслуживающим доверия прогнозам, доля экономики Китая в суммарном ВВП мира составит в 2015 г. около 18%, США — 16,5%, России — около 3%. Добавив к Китаю Японию и Южную Корею, мы увидим нарастающее экономическое преимущество Восточной Азии над всеми другими глобальными экономическими центрами мира. «Европа была прошлым, США являются настоящим, а Азия, с доминирующим в ней Китаем, станет будущим мировой экономики» (1).

Такая перспектива выглядит драматическим изменением глобального порядка. В действительности же в ней нет ничего экстраординарного. Экономическая гегемония Запада насчитывает не более двухсот лет, беря начало в индустриальной революции, в то время как в более протяженной исторической ретроспективе экономическое преобладание Востока было заметным и неоспоримым. В 1750 г. доля Китая в мировом промышленном производстве составляла около трети против менее четверти всего западного мира (2). Это значит, что последнее тридцатилетие Восток крайне энергично и уверенно возвращает на время утерянное экономическое первенство, подкрепляя экономическое наступление наращиванием военной мощи. Прекрасно известно, кто выступает главным покупателем передовой военной техники, включая российскую, на мировых рынках вооружений.

Отказ от западоцентризма предполагает выбор более объективной и масштабной шкалы для сравнений, которой может послужить предложенное школой «Анналов» французской историографии понятие *Большого времени*. Это глобальные временные ритмы, в течение которых происходят незаметные изменения, не воспринимаемые с обыденной точки зрения как события и выглядящие природными. В Большом времени исследовательская оптика направляется не на актуальную *динамику*, а на социальные, демографические, культурные и ментальные процессы *естественноисторического*, то есть сродни природным изменениям, характера (3).

В рамках этого подхода первым главным достижением России в Большом времени можно считать сохранение национальной независимости. Конкуренции с Западом не выдержал почти весь неевропейский мир, за исключением оказавшейся на тихоокеанских «задворках» Японии. Наводившая ужас на Европу Османская империя сжалась до Турции и оказалась в унижительной зависимости от Запада; фактически европейской полуколонией стал «желтый колосс» — Китай. Россия не только выстояла, но и успешно развивалась.

Развитие во всех смыслах и отношениях — второе главное достижение России и русских: относительно мирная колонизация огромных территорий, создание разветвленных структур высокой цивилизации и государственности; высокая (вплоть до 50-х гг. XX в.) демографическая динамика, успешная интеграция и ассимиляция других народов; формирование мощной и конкурентоспособной экономики, а также (в советскую эпоху) социального государства и массового общества, по потреблению и благосостоянию уступающего Западу, но превосходящего практически весь не-Запад; создание и массовое распространение «высокого» литературного языка, формирование полноценной и влиятельной национальной культуры. Несмотря на срывы и катаклизмы, страна становилась все сильнее, а каждое новое поколение русских жило дольше и лучше, чем предшествовавшие (4). По крайней мере так было вплоть до последнего времени.

Наконец, вырванный в жестокой борьбе третий «трофей» русских — политическое и военное доминирование в северной Евразии. Значение России как военно-стратегического и геополитического фактора с начала XVIII в. постоянно возрастало. Она стала главным театром военных действий и сыграла решающую роль в битвах за мировое господство, разворачивавшихся в XIX и XX вв. (наполеоновские, I и II мировые войны).

Не выглядит ли это утверждение преувеличением применительно к I мировой войне, в которой Россия оказалась в роли проигравшей стороны (причины этого сейчас не обсуждаются)? Сошлюсь на авторитетное мнение крупнейшего британского специалиста по истории имперской России, автора сравнительно-исторического очерка империй Д. Ливена: «Без России Антанта никогда не смогла бы победить центральные державы. После выхода России из войны лишь обращение к США могло спасти ее» (5).

Эти грандиозные успехи и достижения русских и России были обеспечены в сжатые сроки и оплачены высокой ценой, но, делая поправку на масштаб, время, сложность задач и агрессивный внешний контекст, вряд ли более высокой, чем аналогичные достижения Запада. Самое парадоксальное и потрясающее в русском успехе состоит в том, что он был достигнут не благодаря, а *вопреки* обстоятельствам — вопреки природно-климатическим и геополитическим факторам.

Рождение мощного государства в северных евразийских пустынях выглядело вызовом здравому смыслу и самой человеческой природе. Высокая цивилизация возникла там, где впору думать исключительно о выживании (6). По словам крупного отечественного историка, одного из лучших знатоков экономической истории дореволюционной России Л. В. Милова, природно-климатические условия в пределах восточноевропейской равнины были настолько неблагоприятны, что создавали условия «для многовекового существования в этом регионе лишь сравнительно примитивного земледельческого общества» (7).

Право на гегемонию в северной Евразии русские заслужили не только успешным ответом на вызовы природы и климата, но и вырвали в жестокой и бескомпромиссной конкуренции с другими народами. «Ничто не предвещало двенадцать веков тому назад, что малочисленный юный народ, поселившийся в густых лесах дальней оконечности тогдашней ойкумены... страшно далеко от существовавших уже не одну тысячу лет очагов цивилизаций — что этот незаметный среди десятков других народ ждет великая участь. Наши предки оказались упорны и удачливы. Куда делись скифы, сарматы, хазары? Были времена, когда они подавали куда больше надежд. Где обры, половцы, печенеги, берендеи?.. История всегда была безумно жестокой; милосердие к малым, слабым и проигравшим — изобретение новейшее и еще не вполне привившееся» (8). В конечном счете, в пользу Московии решился и «старый спор славян между собою», хотя ее «стартовая» позиция выглядела несравненно более уязвимой в сравнении с Литвой и Польшей. В борьбе с природой, климатом и другими народами русские завоевали право организовать социально-политический и экономический порядок на необъятных евразийских пространствах на свой лад.

Авторский рефрен «русские», «русская история» не случайность, а принципиальная *научная* позиция. Формально-юридическое признание равенства народов и презумпция уникальности культур не могут и не должны заслонять того обстоятельства, что роль народов в истории различна и не все они выступали ее творцами в равной степени. Перефразируя Оруэлла, хотя все народы равны, некоторые из них равнее других.

Российская история — история не только русского народа, а Россия — плод и результат сотворчества многих народов, населяющих нашу страну, однако именно *русским принадлежит ключевая роль в формировании этой истории и создании государства Россия*, которое поэтому можно уверенно называть государством русского народа. Современная этнологическая наука указывает на решающее значение так называемых «этнических ядер» — численно, политически и культурно доминировавших этнических групп — в формировании наций и государств.

Видный американский интеллектуал без обиняков указывает на основополагающую роль протестантов-ангლოსаксов в формировании историко-культурных основ иммигрантских, созданных с «чистого листа» США (9). Тем более верно это применительно к русским в органически развивавшейся истории Российской империи/СССР/России. И если ослабление англосаксонского и, шире, европейского ингредиента американской нации создает, по уверению С. Хантингтона, кардинальную угрозу будущему Америки, то заметное невооруженному взгляду ослабление русских — главный вызов будущему России.

Еще недавно русское влияние носило поистине глобальный характер. Русский народ относится к числу немногих подлинных творцов *всемирной* истории. XX век, обрамленный большевистской революцией и крушением Советского Союза, в середине которого беспримерными усилиями советского народа была повержена нацистская Германия, можно без преувеличения назвать русским веком. Созданная в России принципиально новая социально-политическая и экономическая система, глубинные основания которой уходили в русскую ментальность и русскую культуру, оказала огромное влияние на все человечество.

Контраст успешной истории и мизерабельного положения современной России ставит ученого (и вообще всякого неравнодушного гражданина) перед кардинальным вопросом: в чем причины



русского успеха в истории — успеха вопреки обстоятельствам, и почему последние пятнадцать русские и Россия переживают очевидный упадок, хотя внешние обстоятельства развития сейчас вряд ли менее благоприятны, чем прежде?

Как успех в истории нельзя свести к одному лишь фарту, везению, так и проигрыш нельзя свести к тому, что карты истории были пересданы неудачно для русских. Ведь везением еще надо было уметь воспользоваться, а тем более обладать незаурядным мужеством, чтобы восставать из провалов и поражений сильнее, чем прежде.

Попытки использовать для объяснения специфики русской истории уникальные констелляции обстоятельств (так называемый «многофакторный подход») неплохо работают применительно к историческим феноменам, но не к протяженным и масштабным историческим процессам. Во-первых, из-за практической невозможности в рамках исследования учесть всю совокупность факторов и обстоятельств, участвовавших в процессе или повлиявших на него. В то же время отбор этих факторов, предполагающий их субординацию и иерархизацию, с неизбежностью ведет — и это, во-вторых — к выделению главного, доминирующего фактора или отношения, с позиции которого и ведется исследование.

Влиятельная научная парадигма — от «государственной школы» русской историографии Б.Н. Чичерина до ее современных эпигонов в лице А.И. Фурсова и Ю.С. Пивоварова, А.Г. Фоновой и О.В. Гаман-Голутвиной — обнаруживает движущую силу и, заодно, специфику российской истории в уникальной отечественной модели государственности, организации власти как моносубъектной. Однако даже при беглом рассмотрении этот теоретический подход выглядит не столько ответом, сколько ставит новые вопросы. Почему другие народы, жившие бок о бок с русскими и в таких же чрезвычайных условиях, не смогли подобную власть сформировать, а русские смогли? Почему русские успешно заимствовали у монголов, Золотой Орды эффективные методы и формы управления и организации пространства, а другим народам усвоение этого опыта оказалось не под силу?

Попутно нельзя не отметить ошибочность двух широко распространенных, влиятельных в общественном мнении и полярных историко-культурных стереотипов восприятия отношений государства и общества. Согласно одному из них, восходящему к ран-

ним славянофилам, русские — народ «безгосударственный», не способный к государственному творчеству. Но почему же именно этому «безгосударственному» народу, а не «чуди белоглазой», чувашам, полякам, литовцам или татарам удалось создать самую эффективную (что бесспорно в исторической ретроспективе) государственную машину Северной Евразии и Восточной Европы?

На противоположном полюсе находится утверждение о самодовлеющем государстве, сформировавшем у русских покорность и склонность к безропотному подчинению. И это при том, что «Россия — едва ли не мировой чемпион по части народных восстаний, крестьянских войн и городских бунтов» (10)! Самое потрясающее, что миф о русской «забитости» и «пассивности» непостижимым образом уживается с не менее мощным мифом о «бессмысленном и беспощадном» русском бунте.

Не дает внятного объяснения сущностному своеобразию русской истории и природно-климатическая концепция, чьим влиятельным протагонистом в академической историографии выступает Л. В. Милов, и популярность которой среди широкой публики создана работой А. П. Паршева «Почему Россия не Америка» (М., 1999). Ее суть сводится к тому, что особые черты русской истории — самодовлеющий, авторитарный тип отечественной государственности, гипертрофированное (по меркам Европы) участие государства в экономической деятельности, общинность (соборность, коллективизм) как устойчивый принцип социальной организации общества, особенности культуры и национальной психики — производное от сурового климата, природы и огромных пространств России.

Признавая важное, порою первостепенное влияние природы и климата на российскую историю, важно не перепутать местами причины и следствия. Не только русский, но и другие народы восточноевропейской равнины испытывали влияние сурового климата и питались от небогатых почв или, в формулировке Милова, «принадлежали к единому типу социумов с минимальным объемом совокупного прибавочного продукта». Однако, несмотря на общие условия жизни, исторические результаты оказались радикально различными: русские ценою колоссальных жертв и усилий создали великое государство, в то время как другие народы — насельники северной Евразии — либо вообще не участвовали в истории, либо, уступив русским в очной схватке, что называется, сошли с дистанции.

При этом русские парадоксально оказались главной жертвой, строительным материалом своего успеха в истории: «Основным источником изъятия... прибавочного продукта был носитель... государственности — русский народ. Наибольшая тяжесть эксплуатации (государственной — В. С.) падала на великорусов, и это было следствием суровой объективной реальности, то есть локализации этноса в зонах, крайне неблагоприятных для земледельческого производства» (11). Проще говоря, русским было несколько не легче, а тяжелее. Тем более впечатляют достигнутые ими исторические результаты — достигнутые, в очередной раз повторю, вопреки, а не благодаря обстоятельствам.

Попутно стоит указать на мифологизированность объяснения якобы «импульсивности» русского характера и особого, «рваного» стиля русской работы природно-климатическими фактором (короткое лето и длинная зима). Возникновение и поддержание разветвленных структур высокой цивилизации и современной индустрии возможны лишь при равномерном и постоянном распределении трудовых усилий и напряжения.

Феноменальным достижением выглядит русская территориальная экспансия, по своим масштабам и историческим срокам сравнимая с освоением незападного мира испанцами. Чаще всего она интерпретируется в виде культурно-исторического мифа о русскости как производном от географии, в гротескном виде сформулированного Н. А. Бердяевым: русский человек «ушиблен» пространством. Видимо, чая избавления от боли, вызванной этим «ушибом», русские и проделали путь от Балтики до Тихого океана, от северной тундры до Памира.

Каковы бы ни были влияния пространства на социополитическую и экономическую организацию отечественной жизни, само его покорение и освоение должно было иметь какой-то исток, изначальный импульс, причем не сводимый к сугубо материальной стороне — распашке плодородных земель, поискам пушнины и драгоценных металлов. Наука уже давно отказалась от подобных вульгарно-экономических объяснений великих географических открытий и масштабных территориальных эскапад. Не может не навести на размышление тот факт, что мировая экспансия в эпоху Модерна была делом всего нескольких среди множества европейских народов: голландцев, португальцев и испанцев, англосаксов и французов. И это вряд ли случайность.

Аналогичным образом полноценное освоение огромных евразийских территорий, их сопряжение в едином государстве оказалось под силу единственному народу — русскому, ведь занимавшая те же пространства Золотая Орда не снисходила к их хозяйственному и культурному освоению, ограничиваясь военно-политическим доминированием. И это наталкивает на предположение, что не только и не столько русская психика и русская культура были функцией пространства, сколько сама возможность формирования этого пространства как политического и культурного единства оказалась обусловлена существованием русского народа.

Сущностное своеобразие отечественной истории вытекает не из государства — безусловно, центрального института отечественной истории, не из природы, климата и географии. Хотя и государство, и география поставили свою неизгладимую печать на отечественную историю, главный источник ее своеобразия коренится в творце этой истории — самом русском народе. Так, может быть, русская история есть функция, производное от социокультурных характеристик русского народа, якобы имманентных ему социальных связей?

Первое и естественное предположение — объявить главным созидательным, творческим фактором русской истории православие, тем более что вплоть до советских времен оно считалось критерием русскости и все еще считается ее квинтэссенцией. В постсоветскую эпоху «формула Достоевского» («русский человек не может не быть православным») получила второе дыхание, обрела новую жизнь в массовом сознании. По иронии истории это произошло в стране, представляющей одно из наиболее индивидуализированных, эгоистических и «постхристианских» обществ современного Севера. Впрочем, и в исторической ретроспективе презумпция решающей роли православия в России выглядит, мягко говоря, изрядным преувеличением, еще одним культурным мифом.

Трудно отрицать, что наивысшим взлетом отечественной истории была советская эпоха, продемонстрировавшая грандиозную государственную и военную мощь, беспрецедентную технологическую динамику, масштабные культурные достижения, сформировавшая советский вариант общества массового благоденствия. Но это была и эпоха массового воинствующего атеизма и богоборчества — не навязанных, а органично выросших из предшествовавшей русской жизни. Страшный погром монархии и церкви в первой трети

XX в., которому исконно русские люди предавались, говоря языком милицейских протоколов, «с особым цинизмом» и «в особо крупных размерах», никогда не случился бы, если бы православие в самое дело органично вошло в русскую ментальность и культуру, перестроило душу русского человека. В этом случае никакие подстрекатели не смогли бы поджечь русский народ. Будь отечественное общество XIX в. «действительно... сотериологически ориентировано, то так легко не оставило бы Бога и Правду Его в 1917 году», — писал глубоко верующий человек и хороший знаток историк религии А. Б. Зубов (12).

Я же вообще рискну предположить, что русское общество так и не стало христианским. Для этого у него попросту не хватило исторического времени: до XIV в. русская душа все еще оставалась язычницей, а уже с XVII в. началась интенсивная секуляризация русской жизни. Импортированная из Византии религия решительно повлияла на «высокую культуру», отлила ее в чеканные формулы, но вряд ли успела перестроить, переформовать нижние (в прямом и переносном смысле) этажи русской души и народную культуру. Христианско-языческий синкретизм так называемого «народного православия» представлял не более чем тонкую ментальную амальгаму христианства на мощном, преобладающем языческом пласте народной психологии. Трудно сказать, насколько успешной могла оказаться постепенная взаимная адаптация христианства и языческого базиса, и к каким результатам она бы привела — история не оставила возможности для проверки этого предположения. Бесспорно лишь, что политика форсированной насильственной христианизации, интеграции православной церкви в государственную машину вернулась бумерангом ответного насилия.

Погром православной церкви стал отсроченной местью русского народа за насильственную христианизацию, за государственное принуждение к православию, за преследование раскольников, за превращение православной церкви в государственный институт, без чего, впрочем, она не имела шансов сохранить серьезное влияние в отечественном обществе. В 40-е годы XIX в. глубоко православный человек, историк М. П. Погодин, отмечал, что если бы не боязнь отлучения от церкви, то половина русских крестьян перешла бы в раскол, а половина дворян — в католичество (13).

Влияние православия на русскую историю оказалось двойственным. В той мере, в какой оно отвечало духовным потребностям русского народа, православие было принято и адаптировано. Но нарушение темпа и меры этой адаптации, насильственная и форсированная социокультурная инженерия со стороны государства привели к мощной антихристианской, в своей основе языческой, реакции.

Своеобразие отечественной истории нельзя рассматривать и как проекцию якобы специфически русского типа социальных связей — общинности (коллективизма в советском варианте) и такого откровенно мифического явления, как «соборность». Хотя устойчивость общины в России оказалась выше, чем в других странах, причиной тому в немалой (если не в решающей) степени была целенаправленная государственная политика поддержки общины по фискальным и полицейским соображениям. Что же касается самого крестьянства, то оно в большинстве своем стремилось к частному, личному ведению хозяйства при одновременном сохранении некоторых форм общинного быта. *Имманентность* частнособственнического чувства русского крестьянина (наряду с традицией коллективизма и взаимопомощи) отмечал даже такой апологет общины, как Л. В. Милов (14).

Кстати, было бы упрощением и принципиальной ошибкой представлять советскую историю апофеозом коллективистского (и, в этом смысле, наследующего общинному) духа. Посткоммунистическая экспансия торжествующего индивидуализма — а современное российское общество несравненно более индивидуалистично, эгоистично и посясторонне ориентировано, чем многие западные — не просто хронологически воспоследовала советской эпохе или была ее отрицанием. Наоборот, она содержательно подготовлена в советское время и тогда же началась. Если официальный коммунистический *дискурс* призывал поддерживать «присущее советскому человеку чувство коллективизма», то повседневные советские культурно-идеологические и социополитические *практики* блокировали любую несакционированную публичную жизнь и канализировали человеческую активность в приватную сферу, не оставляя места социально и политически ориентированным коллективным действиям. Приблизительно с 1960-х гг. в советском обществе интенсивно формировалась парадоксальная ситуация господства частной сферы при отсутствии частной собственности (15). Советский человек был «приватизирован» коммунистическим режимом,

а уже в антикоммунистическую эпоху этот психологически и культурно подготовленный человек приватизировал материальные активы.

Так или иначе, невозможно выделить имманентный русским тип социальной связи, определивший развитие отечественной истории.

Деконструкция влиятельных культурно-исторических мифов подводит к паре немудреных, но далеко не самоочевидных соображений. Первое: глубинный исток сущностного своеобразия русской истории, ее успеха и ее провалов кроется в самой природе русского народа; в ней есть нечто очень важное, позволившее русским добиться успеха там, где другие народы, в том числе жившие и действовавшие бок о бок с ними, провалились или оказались гораздо менее успешными. Это *нечто*, воплощающее глубинное русское тождество, русскую самость и в то же время кардинально отличающее русских от других народов, можно назвать рускостью или, более академическим слогом, этнической спецификой русского народа.

Второе соображение состоит в том, что этническую специфику нельзя представить в виде эпифеномена, производного от других факторов — природы и географии, культуры и религии, государства и типа социальной организации. Дело обстоит прямо противоположным образом: русскость предопределила специфику отечественной истории, своеобразие созданных в ней институтов и структур, особенности адаптации к природно-климатическим и географическим факторам. Русские сопрягли необъятные пространства северной Евразии в единую страну потому, что по *своей природе* оказались предрасположены к экспансии и государственному строительству больше других народов. Не государство сформировало русских, а русские создали самодовлеющее государство, которое почитали и ненавидели одновременно. Византийское православие было адаптировано лишь в той мере, в какой его приняла русская ментальность.

Не география создала русскую судьбу, а русская судьба реализовалась в преодолении климата и географии. Словами И. Л. Солоневича, проникшего в дух отечественной истории глубже подавляющего большинства профессиональных историков-русистов, «наша история есть история того, как дух покоряет материю...» (16). Но ведь сначала должен быть дух...

Это подводит нас к необходимости и желательности нового теоретического прочтения отечественной истории — взгляда на



нее через призму этнической специфики, русскости. Надо понять историю России как процесс, главным, ведущим (хотя не единственным) творцом которого выступил русский народ.

Предлагаемый теоретический подход стоит на «трех китах» — утверждениях, относимых современной наукой к числу «немодных» или даже откровенно «еретических».

Первый тезис: главный субъект, «движитель» истории — *народ*. Не институты, включая государство, не социальные, политические или культурные агенты (элиты, классы, партии, религиозные общины и т. д.), не анонимные социологические универсалии (модернизация, индустриализация, глобализация и т. д.), а народ, который понимается в духе традиции классической политической философии: как противоположность массы, как способная к коллективному волеизъявлению и обладающая общей волей группа людей.

Второе положение: народ как целостность изначально существует в этническом качестве, и это внутреннее единство сохраняется под социальными, политическими, религиозно-культурными, идеологическими и иными барьерами и размежеваниями. Этничность не только онтологична, она более фундаментальный фактор истории, чем экономика, культура и политика.

Третий постулат. Народ реализует свое этническое тождество в истории спонтанно, стихийно, естественноисторическим образом. Хотя у истории нет трансцендентного смысла и конечной цели (она не есть движение к лучшему или к упадку), за внешним хаосом событий и конstellляциями обстоятельств можно обнаружить сквозную логику истории, представляющую реализацию, развертывание этнического качества народа. Метафора растения описывает историю лучше и точнее метафоры здания, но и та, и другая остаются лишь приближениями к пониманию ее хода.

Эти радикальные послы выглядят тем более настораживающими, что применяются к крайне непопулярной русской тематике. Даже после падения идеологических табу советской эпохи за «русским вопросом» тянется шлейф старых и новых предрассудков, боязни открытых обвинений в «национализме», «великодержавии» и «реакционности» или опасений в идеологической сомнительности и неполиткорректности.

Это тем более парадоксально, что под другими названиями проблема русской этнической специфики составляет имплицитную

или явную подоплеку основных теоретических моделей отечественной истории. Почему она так радикально отличалась от истории географически и культурно близкого Запада? — над этим вопросом отечественные интеллектуалы бьются со времен Н. М. Карамзина. Теоретически на него существует два ответа: 1) история России была разворачиванием врожденных русских качеств, реализацией русского кода, кардинально отличного от кода западных народов; 2) отличие русской истории от западной было следствием влияния внешних обстоятельств и факторов, разъединивших Запад и Восток Европы; в перспективе эта пропасть преодолима. Любой из вариантов решения «основного вопроса» русской историософии упирается в русскую самость. Даже если на русских была извне наведена «порча», она влияла не напрямую, а преломлялась через русскую культуру и психику, которые преобладающая в современной науке парадигма считает (основательно или нет — другой вопрос) сферой локализации этничности.

Вместе с тем, какими бы мотивами ни руководствовались сторонники точки зрения об отпадении России от Запада, о России как «искривленной ветви западного древа», они явно или подспудно укрепляют мнение о русской неполноценности — пусть даже исторически приобретенной, а не врожденной. Ведь в этом случае Запад провозглашается или подразумевается нормой, а Россия — нарушением, дефектом нормальности. Соответственно напрашивается вывод: чтобы стать успешной страной России и русским надо отказаться от собственной идентичности, изменить своему глубинному тождеству.

Вот как об этом писал один из наиболее последовательных и честных либеральных критиков русской истории И. М. Клямкин: «Россия может сохраниться, только став частью западной цивилизации, только сменив цивилизационный код» (17). Это морально ущербное утверждение не безукоризненно и в интеллектуальном плане. Ни один из самых последовательных западников не призывает к подобной смене цивилизационного кода Китай, априори исходя из его незападной идентичности. Но и принадлежность России западной цивилизации не аксиоматична, оставаясь открытым и остро дискуссионным вопросом.

К слову, отечественных западников не очень занимает мнение на сей счет самого Запада: считают ли там Россию страной, исторически относящейся к западной цивилизации? Возможно, поинтересуйся они этим (и не на уровне политических деклараций, а с

привлечением серьезных научных работ и опросов общественного мнения), их императивная убежденность в принадлежности России к Западу несколько бы поуевляла. В конце концов, в решении вопроса о цивилизационной принадлежности России участвуют не только русские, но и те стороны света — Запад и Восток — к которым отечественные интеллектуалы причисляют собственную страну. О том, что отношение западного общества к русским представляет исторически устойчивую паранойю, пропитано подсознательным страхом и враждебностью, писал не какой-нибудь замшелый русский националист-конспиролог, а рафинированный французский интеллектуал, известный философ Р. Барт (18).

Критикам русской истории стоило бы задуматься над тем, что именно вызывающие у них особое раздражение незападные черты России позволили ей успешно конкурировать с Западом на протяжении последних трехсот лет. Не значит ли это, что избавление России от подобных черт лишит русских их главного конкурентного преимущества в истории? Обсуждение этого интригующего вопроса не было бы лишним.

Первостепенное внимание русской этнической специфике уделяют именно негативистские интерпретации отечественной истории, в которых «ущербная» русскость оказывается краеугольным камнем теоретических построений. В то время как в подавляющем большинстве работ по отечественной истории фактор этнической специфики вообще отсутствует или носит вспомогательный характер, помогая затыкать концептуальные прорехи основных объяснительных моделей отсылками к «русскому национальному характеру» — понятию не только крайне неопределенному и расплывчатому, но и откровенно мистифицированному. Только в отсутствие интеллектуальной требовательности и чувства юмора можно всерьез воспринимать такие дикие «перлы», как мысль Н. А. Бердяева о «вечно бабьем» начале русской души.

Дело, конечно, не в сомнительном интеллектуальном качестве бердяевской историософии, а в отсутствии самого предмета анализа. Концепт «национального характера» как совокупности устойчивых и типических психологических черт того или иного народа носит мифологизированный характер. Все попытки выявить его исследовательским путем (а не суммированием литературных описаний и метафор) провалились: «Современными научными методами невозможно ни определить национальный характер, ни

даже доказать само его существование. Представители каждого народа оказывались при ближайшем рассмотрении слишком разными» (19). Не удивительно, что исследования в этой области в России практически прекратились (20).

Интеллектуальное фиаско потерпела (хронологически) последняя масштабная попытка обнаружить русский национальный характер. Автор книги с соответствующим названием (21) социолог В. Чеснокова была вынуждена признать, что значительная часть современных русских не разделяет аутентично русскую (в ее трактовке) систему ценностей: недостижимость, духовность, коллективизм и т. д. Это поставило ее перед крайне неприятной дилеммой: объявить русских, не разделяющих «аутентично русские» ценности, нерусскими по духу, по культуре или же признать ошибочность методологической посылки о существовании трансвременных («архетипических») русских ценностей. Как водится среди отечественных интеллектуалов, Чеснокова предпочла следовать принципу «пусть хуже будет фактам» (22).

В этот же ряд можно поставить статью известного этнопсихолога Н. М. Лебедевой, убедительно демонстрирующую, что в конце XX в. фундаментальным изменениям подверглись базовые ценности русской культуры и ключевые основы русского национального характера (23). Тем не менее ее автор вопреки собственным выводам, вопреки приведенным им свидетельствам быстрой и радикальной смены русских ценностных ориентаций остался на позиции существования «родовых» русских ценностей, русских культурных «архетипов». Понятно подсознательное стремление исследователя обрести точку интеллектуальной опоры, но бессмысленно искать черного кота в темной комнате, когда его там нет.

Устойчивое убеждение части отечественных интеллектуалов в «надмирной» ориентированности русского общества, которому якобы имманентны идеал спасения, ценности нестяжательства, аскетизма, коллективизма, противостоящие западному идеалу «посюсторонней» жизни и потребительских ценностей, неумолимо опровергается социологией. Большинство современных русских не разделяет приписываемые им культурные и ценностные «архетипы» или же принимает их исключительно как «парадную» систему ценностей, как ценности *для других*, в то же время руководствуясь в своей жизни и деятельности другой ценностной системой, ценностями *для себя* — материалистическими, прагматическими и индивиду-

листическими (условно «западными»). Показательно, что в этом принципиальном выводе сходятся исследователи-социологи, стоящие на различных мировоззренческих позициях и придерживающиеся различных методологических подходов (24).

Посткоммунистическая революция в сфере ценностей и морали началась задолго до 1990-х гг., ее исторический генезис уходит еще в досоветскую эпоху. Социологические исследования русской деревни конца XIX в. — а именно крестьянство считается в почвенническом дискурсе резервуаром и носителем исконных русских ценностей — показали, что «к тому времени вера стала в русском обществе маргинальной, а главными считались тогда ценности сугубо материальные: деньги, хорошая усадьба, богатство, успех, жизнь, “как у барина”» (25).

Русское общество развивалось в том же направлении, что и западное, с некоторым запозданием следуя пройденным им путем. «Достижимость русского общества конца XIX века во многом... типологически близка достижимости синхронных ей западных обществ, т. е. русская культура того времени ориентирована в основном на посюсторонние, а не потусторонние цели. В этом отношении русская деревня конца XIX века, в отличие от старообрядческого сообщества, была существенно иной, чем средневековая русская и западноевропейская деревня или, скажем, деревня современной Индии» (26).

Мощная коммунистическая прививка на время отсрочила, но не остановила однажды начатое социокультурное развитие. Более того, советская модернизация лишь ускорила его и сделала необратимым. Переживаемая нами драматическая моральная и культурная революция была подготовлена и началась в советскую эпоху.

В сфере политики «архетипической» русской ценностью чаще всего объявляется имперская ориентация. «Россия обречена на империю», «неизбежность империи» — такими выпренными оборотами пестрят выступления интеллектуалов и политиков националистического и «державного» толка. Но, хотя имперское строительство составляло главное содержание отечественной истории с середины XVI в., та история завершилась навсегда. По обширным и единодушным свидетельствам современной социологии, имперская идея даже в ее советской модификации (а «старая» империя вообще экзотика) исчерпала себя, сохраняя относительную популярность

исключительно среди пенсионеров, которых трудно назвать силой имперского реванша.

Стремительное и бесславное крушение Советского Союза служит самым веским и убедительным аргументом в пользу исчерпания мобилизующей силы имперской идеи, имперской системы ценностей. Кризис советской идентичности был первопричиной, а не следствием разрушения СССР. (Подробнее этот вопрос будет рассмотрен в последующих главах.) По точному замечанию одного из наиболее глубоких отечественных политических философов Б.Г. Капустина: «Способность или неспособность производить готовность идти на смерть — это в конечном счете последний аргумент в пользу жизнеспособности или нежизнеспособности той или иной политической системы» (27).

Из этого краткого обзора следуют два вывода. Во-первых, ценности и культурные ориентации, будучи продуктом человеческой истории, не могут носить архетипического характера — они подвержены как медленным и частичным, так всеобъемлющим и стремительным изменениям. Говоря упрощенно, всему, что исторически возникло, суждено рано или поздно погибнуть. Во-вторых, любое общество состоит из групп с различными ценностными и культурными ориентациями, что есть нормальное и естественное положение дел. И вряд ли возможно какую-то из этих ценностных систем счесть единственно национальной и аутентичной.

Понятия «русского “национального характера”», русских родовых ценностей и культурных архетипов (а также любые их эквиваленты), которыми пытаются оперировать социогуманитарные науки, включая историографию отечественной истории, суть интеллектуальные фикции. Поэтому априори ущербны любые теоретические схемы и интерпретации, опирающиеся на подобную концептуализацию.

Отечественная историография твердо стоит на ногах там, где ей приходится иметь дело с привычной для нее проблематикой и оперировать выработанными в ее лоне концепциями. В контексте современной историографии «русский вопрос» рассматривается почти исключительно как *объект* властной политики и государственного управления, хотя соответствующую научную литературу трудно назвать обширной (28). Важное дополнение к ней составляет работа известного английского историка Дж. Хоскинга, поставившего принципиальный вопрос о взаимоотношениях русского

народа и империи (29). Однако предложенное им решение этого вопроса вряд ли можно счесть убедительным.

К сожалению, отечественной исторической наукой не разрабатывается и даже не ставится кардинальной важности проблема исторической *субъектности* русского народа. Отчасти это связано с «немодностью» самой методологической посылки о народе как творце истории, отчасти с тем, что подобный подход, предполагающий исследование *этнических* качеств (включая этническую идентичность), считается в России предметной областью этнологии. А вот западные историки не чужаются использовать методологию смежного научного цеха: монография В. Толз о формировании русской идентичности наглядно доказывает высокую эвристическую ценность «этнологического» ракурса для исторической науки (30).

Отечественная этнография с начала 1990-х гг. дополнила традиционный интерес к русским этнографическим «древностям» обращением к актуальной русской проблематике (31). Однако на пути ее изучения существует капитальное препятствие теоретического свойства. Адекватный анализ русской этничности невозможен без ответа на «основной вопрос» этнологии: что составляет этническую сущность *per se*, в ее, так сказать, чистом, незамутненном виде, и где этничность локализована. Ответ на этот вопрос составляет решающее методологическое условие дальнейшего исследования.

Как быть, если предпринятые выше поиски квинтэссенции русской этничности — в религии, типе социальных связей, национальном характере и т. д. — откровенно обескураживают? Добавить к перебранным вариантам предположение, что русскость разлита в пространстве русской культуры? Однако определять русскость через русскую культуру, а русскую культуру как атрибут русскости, определяемой через русскую культуру, значит очутиться в порочном логическом круге. Популярное как в обыденном сознании, так и в науке отождествление культуры и этничности не только не может быть доказано теоретически, оно постоянно и ежечасно опровергается универсальным и космополитическим характером современной урбанистической, особенно молодежной, культуры. Попробуйте обнаружить в ней что-нибудь специфически русское!

Язык? Но и его этническая сущность принципиально не доказуема. В конце 1980-х гг. в Советском Союзе почти 16 млн. человек

нерусских национальностей называли русский язык родным. Среди них были не только украинцы и белорусы, но также немцы, татары и представители других этнических групп. *Lingua franca* Российской империи и Советского Союза все еще остается языком межнационального общения и служит выражению смыслов различных культур и различных народов. Причем урожденные русские нередко владеют русским хуже, чем нерусские.

«Ни культурное единство, ни языковое, ни какое-либо иное социальное не выдерживают критики в качестве единственных собственных признаков какой бы то ни было группы, кроме группы, выделенной по данному же единству (исключая культурную группу, под которой вообще можно понимать все что угодно)» (32).

Попытка использовать для решения проблемы локализации русскости влиятельную научную позицию, определяющую этничность через этническое самосознание, как и в случае с культурой вновь загоняет в порочный логический круг: русские — группа с особым самосознанием, а это самосознание — сознание принадлежности к русскому народу, который есть группа с особым самосознанием и т. д., и т. п. В общем, то же мочало начинай сначала...

В поисках русской этничности был проведен разбор почти всех признаков (атрибутов, элементов) классических (пост)советских определений этноса — культуры, религии, языка, психического склада (национального характера, этнического самосознания). Выяснилось, что ни один из упомянутых признаков/элементов и любая их комбинация не составляют русской этнической специфики, а сами эти признаки/элементы — сущностно неэтничны. Значит ли это, что заявленная попытка взглянуть на отечественную историю через призму русской этничности неосуществима ввиду невозможности «уловить» этническую специфику русских? Или же камень преткновения составляет присущее современной науке понимание этноса/этничности?

Ответ на этот вопрос — в образующих теоретический очерк первых двух главах книги. В них обосновывается новая концептуализация феномена этноса/этничности и определяется, что такое русскость. Третья и четвертая главы монографии содержат краткий аналитический обзор актуализации русской этничности в отечественной истории. Это рассказ о том, как русское этническое качество формировало неповторимый рисунок отечественной истории,



как русский народ сам менялся в ходе этой истории. В пятой главе рассматривается проблема цикличности отечественной истории и обосновывается теория циклов, задающихся русскими Смутами. В шестой главе анализируются константы русского восприятия внешнего мира. Содержание седьмой, восьмой и девятой глав составляет аналитический очерк современного состояния русского этничности. Наконец, в заключении книги характеризуется значение новой парадигмы для отечественной историографии и понимания перспектив развития России.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Арриги Джованни*. Динамика кризиса гегемонии //Свободная мысль-XXI. 2005. №1. С.17.
2. *Уткин А.И.* Россия и Запад: История цивилизаций: Учебное пособие. — М., 2000. С.191 (таблица 3).
3. Попытку применить это понятие к истории русского народа см. в: *Чернышевский Игорь*. Русский национализм: несостоявшееся пришествие //Отечественные записки. 2002. №3.
4. Близкая аргументация содержится в непривычно русофильской для западной историографии книге: *Poe Marshall T.* Russian Moment in World History. — Princeton N.J., 2003. См. рецензию на нее Петра Ильинского в журнале «Pro et Contra» (2004. Т.8. №3. С.226–234).
5. *Фурсов К. А.* Реферат книги: *Lieven D.* Empire: The Russian Empire and Its Rivals. — L.: John Murray, 2000. XLII, 486 p. //Русский исторический журнал. 2000. Т. III. № 1–4. С.201.
6. Россия — страна с самой низкой в мире среднегодовой температурой. Хотя это сомнительное первенство с нами делит Монголия, в части долговременной успешности две этих страны просто не сравнимы. В списке ста самых холодных городов трех самых больших северных стран — США, Канады и России — 85 приходятся на долю России, 10 — Канады и 5 — США. При этом самый холодный канадский город находится на двадцать втором месте, а самый холодный американский — на пятьдесят восьмом. Среди 25 самых холодных городов с численностью населения более полумиллиона 23 находятся в РФ, только два — в Канаде.
7. *Милов Л.В.* Великоорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. — М., 1998. С.556.
8. *Горянин Александр*. Мифы о России и дух нации. — М., 2001. С.104.
9. См.. *Хантингтон С.* Кто мы? — М., 2004.
10. *Горянин Александр*. Указ. соч. С.16.
11. *Милов Л.В.* Указ. соч. С.567, 563.
12. Западники и националисты: возможен ли диалог? — М., 2003. С.257.
13. Цит. по: *Хоскинг Дж.* Россия: народ и империя (1552–1917). — Смоленск, 2000. С.249.
14. *Милов Л.В.* Указ. соч. С.571.
15. Глубокий анализ этих процессов см. в книге: *Капустин Б.Г.* Современность как предмет политической теории. — М., 1998 (особенно лекция 8).

16. Солоневич Иван. Народная монархия. — М., 1991. С.69.
17. Западники и националисты. С.16.
18. См.: Горянин Александр. Указ. соч. С.66.
19. Лурье Светлана. В поисках русского национального характера //Отечественные записки. 2002. №3. С.60.
20. Хотинец В. Ю. О возможности отражения в этнических стереотипах типичных черт этнического характера //Идентичность и толерантность: Сб. статей /Под ред. Н.М. Лебедевой. — М., 2002. С.274. Это наблюдение тем более примечательно, что принадлежит одному из последовательных адептов «национальной характерологии».
21. «О русском национальном характере»; была впервые опубликована в 1994 г. под псевдонимом «Ксения Касьянова».
22. См.: Западники и националисты. С.39–40. Также см. последующие комментарии Чесноковой в этой книге.
23. Лебедева Н. М. Базовые ценности русских на рубеже XXI века //Психологический журнал. 2000. Т.21. №3. С.80.
24. Достаточно сравнить выводы Т. Кутковец, И. Клямкина (*Кутковец Татьяна. Клямкин Игорь. Русская самобытность.* — М., 2000 (неопубликованная рукопись); *Они же. Нормальные люди в ненормальной стране* //Московские новости. 2002. №25 (2–8 июля). С.1, 9) и Л. Г. Бызова (*Бызов Л. Г. Социокультурная трансформация российского общества и формирование неоконсервативной идентичности* //Мир России. 2002. № 10).
25. Западники и националисты. С.257.
26. Там же. С.258.
27. Капустин Б. Г. Указ. соч. С.27
28. См.: Барсенков А. С., Вдовин А. И., Корецкий В. А. Русский вопрос в национальной политике. XX век. — М., 1993; Вдовин А. И. Российская нация. Национально-политические проблемы XX века и общенациональная российская идея. — М., 1995; Вдовин А. И., Зорин В. Ю., Никонов А. В. Русский народ в национальной политике. XX век. — М., 1998; Козлов В. И. История трагедии великого народа: Русский вопрос. — М., 1996 (2-е изд., дораб. — М., 1997) и др.
29. Хоскинг Дж. Указ. соч.
30. Tolz Vera. Russia. — L., 2001.
31. Начало этнологическому изучению актуальных проблем русского народа было положено коллективной монографией «Русские (Этносоциологические очерки)» (М., 1992).
32. Элез А. Й. Критика этнологии. — М., 2001. С.104.

---

# Глава 1

## ПРИРОДА ЭТНОСА/ЭТНИЧНОСТИ

При всех своих противоречиях основные теоретические парадигмы современной этнологии сходятся в трактовке этноса и этничности как сущностно социальных феноменов и в отвержении биологического подхода к этничности. При этом аргументы во втором случае носят культурно-идеологический, а не научный характер: объяснение этничности в биологических терминах де слишком явно отдает расизмом, дурновкусием и неполикорректно, а среди «серьезных ученых» сторонников биологического примордиализма почти не осталось (1).

Вот только на пути социологизации этноса «серьезные ученые» потерпели полное фиаско: ни одна из конкурирующих парадигм не смогла «ухватить» этническую сущность и дать ей научное определение.

### ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ НИЩЕТА СОВРЕМЕННОЙ ЭТНОЛОГИИ

Вдвойне противоречив культурно-исторический примордиализм, один из вариантов которого — советская теория этноса, описывающий (определяющий) этнос/этничность через исторически сформировавшиеся неэтнические признаки/элементы — культуру, язык, религию, психический склад, территорию, экономику и т. д. Во-первых, если этнос/этничность — примордиальная, то есть изначальная, врожденная человеческая характеристика, как она могла оказаться эпифеноменом, комбинацией исторически сложившихся факторов? Если этногенез, как предполагают исследования по этнической антропологии, уходит корнями в неолит и даже в палеолит, то

невозможно говорить о религии, культуре и прочих «этнических» признаках в том смысле, в котором мы знаем их сегодня. Во-вторых, в самих этих признаках/элементах нет ничего сущностно этнического.

Но и оппонирующая примордиализму конструктивистская парадигма, трактующая этническое как результат сознательной человеческой активности, продукт действий социальных агентов, подразумевает ее возникновение из сущностно неэтнических факторов. Это легко продемонстрировать на примере влиятельной метафоры Б. Андерсона о нациях как «воображенных» сообществах (2), во многом определившей развитие дискурса о национальной/этнической проблематике в 1980–1990-е гг.

Выделяя и анализируя три модели национализма — лингвистическую, официальную, гражданско-республиканскую — Андерсон не объяснил главного: почему и как неэтнические виды связей, например, общий язык и/или совокупность политических и моральных ценностей, привели к формированию национальной идентичности, трактуемой, в том числе, в этническом смысле. Ограничься автор исключительно гражданским, политическим пониманием идентичности, то адресовать ему этот упрек было бы труднее, хотя и не невозможно. Как убедительно показал Э. Смит, даже те нации, которые принято считать модельными гражданскими, например французская, имели сильное этническое ядро (3). С. Хантингтон недавно и вовсе обосновал этот вывод на примере иммигрантской нации США (4).

Доминирующему в современном дискурсе социологизаторскому пониманию этничности вне зависимости от парадигматической принадлежности свойственно общее фундаментальное противоречие: этническая сущность (не важно, трактуется ее природа как примордиальная или сконструированная) описывается/определяется через сущностно неэтнические признаки/элементы. При этом остается непонятным, как и почему из неэтнических элементов возникает новое — этническое — качество. Подобным — эмерджентным — свойством (функцией), как известно, обладает система, однако те комбинации признаков, которые прилагаются к этносу, не могут быть названы системой даже при крайней интеллектуальной нетребовательности. Это не более чем случайный набор характеристик.

Этническое самосознание (или этническая идентичность) не может считаться атрибутирующим признаком этничности, пока

не установлен тот самый этнический признак, который осознается или хотя бы интуитивно ощущается. Если этнос/этничность реально существует, то он должен обладать качественной определенностью, собственными реальными признаками, которые и отражаются сознанием.

Не указывает выхода из теоретического тупика популярная в отечественной этнологии последних лет концепция Ф. Барта об определяемой культурными границами ситуативной этничности. Здесь встает тот же самый вопрос: почему (само)разграничения создают этническую специфику там, где ее раньше не было и где присутствовало исключительно неэтническое содержание? Ведь оппозиционалистское противопоставление «мы–они» свойственно осознанию индивидом своей принадлежности к любой группе с аналогичными свойствами. В той мере, в какой эти оппозиции формируются и осознаются, они основываются на присущих только им собственных признаках. Иначе говоря, противопоставление мужчин и женщин, стариков и детей основывается на биологических признаках, социальных групп — на их месте в структуре данного общества и т. д. Стало быть, в основе этнической оппозиции должен лежать этнический признак, который, напомним, обнаружить не удалось.

В то же время никакая комбинация неэтнических признаков не способна привести к возникновению этнической оппозиции: почему, каким образом половая, демографическая, социальная или культурная группа вдруг превращается в этническую? Позиция же врожденной этничности сознания в контексте подхода Ф. Барта исключается как биологизаторская. И совсем абсурдно прозвучит допущение, что сам факт проведения границ генерирует этничность из ничего — *ex nihilo nihil*. Допустить обратное, значит занять креационистскую позицию, которую вряд ли стоит всерьез обсуждать в научном контексте.

Провал *всех* социологических попыток теоретического осмысления этноса/этничности побудил современного российского этнолога С. Чешко к мрачной констатации: «Все существующие теории оказываются неспособными выявить этническую “самость” Перед исследователями — явление, которое, безусловно, существует, но неизменно ускользает сквозь пальцы, несмотря на любые методологические ухищрения. Оно может проявляться повсюду, влиять на любые сферы жизни и деятельности человека, и в то же время его нигде нет» (5).

Этнология (и оперирующие ее категориями науки) оказалась перед крайне неприятной дилеммой: оценить собственную теоретическую неспособность ухватить суть этничности как следствие отсутствия самого объекта исследования — этноса (из чего закономерно должен последовать вывод об отсутствии у этнологии собственного предмета со всеми вытекающими отсюда последствиями для ее статуса самостоятельной науки) или же признать неадекватность преобладающей теоретической концептуализации природы изучаемого явления.

Отказ от презумпции онтологичности этничности характерен радикальному течению постмодернистской этнографии, представляющему этничность ситуативным явлением, возникающим в результате путешествия *«индивидуальной/коллективной идентичности по набору доступных в данный момент культурных конфигураций или систем, причем в ряде случаев эти системы и возникают в результате дрейфа идентичности»* (курсив автора цитаты. — В. С.) (6)». Для оценки профессиональной компетентности постмодернистской позиции весьма показателен содержащийся в приведенной краткой цитате набор логических противоречий.

Если те или иные «культурные конфигурации или системы» приобретают этнический характер, значит ли это, что культура хотя бы в части своей имманентно этнична? Если же этническую окраску «конфигурациям и системам» придает «дрейфующая идентичность», то в какой своей части этнична индивидуальная/коллективная идентичность? Если неэтничны ни культура, ни идентичность, то почему в результате их взаимодействия возникает совершенно новое, пусть даже ситуативное, этническое качество? Любые формы взаимодействия культуры и идентичности «не тянут» на статус обладающей эмерджентным свойством (то есть способной порождать новую функцию, новое качество) системы.

По иронии судьбы, наиболее влиятельным протагонистом точки зрения, фактически дезавуирующей предмет этнологии, в России оказался директор профильного академического Института этнологии В. А. Тишков. Программное название одной из его работ — «Реквием по этносу» (7) — представляет классический случай, когда пилят сук, на котором сидят...

Подобный нигилизм никогда не получит поддержку профессиональной этнологической корпорации хотя бы в силу инстинкта группового самосохранения. Однако еще более важно инстинктив-

ное, но непреодолимое сопротивление сознания — как научного, так и обыденного — попытке доказать несуществование того, что не просто самоочевидно, но и капитально в своей самоочевидности. В этом смысле приведенная выше фраза С. Чешко (кстати, ученого, отнюдь не чуждого «модным» научным веяниям) об этничности как явлении, *проявляющемся повсюду*, хотя его невозможно методологически «уловить», отражает господствующее в научной среде умонастроение.

На противоположном полюсе оказывается предположение, что дело не в отсутствии самого исследовательского объекта, а в том, что природа этнического вовсе не социальная, а *биологическая*. Эту мысль последовательно отстаивает один из наиболее глубоких (и остроумных) критиков современной отечественной этнологии: «Человек... в своей этничности — если таковая вообще будет установлена наукой — может быть только сущностно биологичен; социологическая трактовка этноса исчерпала себя и не может считаться приемлемой». И еще: «Этнос, если он существует, есть по определению группа людей с некоторым общим биологическим признаком... только такой признак (условно говоря, этнический признак) и может передаваться от поколения к поколению *генетически*» (8).

Нетрудно догадаться, почему незаурядную работу А.И. Элеза замолчали. Доведя до логического завершения *внутреннюю* критику самой этнологии, автор камня на камне не оставил от ее отечественных авторитетов, невзирая на регалии, должности и репутации. Профессиональная корпорация не способна стерпеть явное доказательство собственной теоретической несостоятельности, да еще и выполненное в язвительной манере. Но даже для ученых, солидарных с критикой социологического понимания этноса/этничности, категорически неприемлемо естественно вытекающее из нее предположение (всего лишь предположение!) о биологической сущности этноса. Сказав «а», подобные ученые не решаются сказать «б», или, слегка перефразируя К. Маркса, им присущ страх перед собственными выводами.

Вот наглядный пример. В теоретическом очерке своей монографии В.Р. Филиппов не только поддержал критический пафос А.И. Элеза, но и (хотя в несравненно более мягкой манере) развил его, продемонстрировав теоретическую нищету современной социологизаторской этнологии (9). В то же время он не решился

допустить даже намек мысли о поиске этнической сущности на путях биологии: «Слава Богу, до тех пор, пока не будет найден биологами “ген этничности”, эта точка зрения может претендовать в лучшем случае на статус гипотезы» (10). Беда в том, что понимание этноса как социального явления не заслуживает даже статуса гипотезы в силу своей полной несостоятельности.

## О БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ЭТНИЧНОСТИ

Сумму накопленных наукой аргументов в пользу биологической трактовки этничности невозможно игнорировать, они требуют серьезного рассмотрения. Эти доказательства замалчиваются социологизаторской парадигмой по соображениям не научного, а культурно-идеологического и морального свойства. Культурно-идеологический контекст втискивает исследование этнической проблематики в прокрустово ложе несостоятельных социологических теорий.

Сложилась парадоксальная ситуация: по одну стороны баррикады — придерживающаяся моральной презумпции противостояния расизму и национализму официальная наука, которая тщательно избегает собственных «неудобных» и двусмысленных фактов; по другую — паранаука, мобилизовавшая замалчиваемые факты в антиобщественных целях доказательства превосходства одних рас и этнических групп над другими. Наиболее полное, основательное и систематизированное собрание фактов и аргументов (причем почерпнутых в «серьезной» науке!) в подтверждение биологической природы этнической дифференциации автор этих строк обнаружил в откровенно расистской книге В. Б. Авдеева (11).

Задача в том, чтобы ввести «неудобные» факты в подлинно научный контекст, не обращая внимания на культурно-идеологические коннотации. Ведь наука безразлична целям, для которых она используется,

Физическая антропология и биология человека неопровержимо свидетельствуют об *антропологических и биогенетических различиях* между этническими группами. Внутреннее единство самих этих групп относительно: приблизительно 85% из всей генетической изменчивости человека относятся к различиям между индивидами внутри данных групп; оставшиеся 15% вариативности характери-



ют поровну различия между нациями внутри рас и между расами (12). Но этого более чем достаточно для генетической идентификации этнических групп.

Этнические группы даже внутри одной расы различаются между собой значительно больше любых других сравниваемых отдельных популяций. Так, исследование В.А. Спицына по этнической антропологии Северной Азии установило, что на генном уровне этнические группы и расы в этом регионе «дифференцируются друг от друга более чем в 1,5 раза по сравнению с любыми другими сравниваемыми между собой отдельными популяциями независимо от их расовой принадлежности» (13). Этот вывод был сделан на основании анализа биохимического полиморфизма (изменчивости) человека. Известно, что молекулярные полиморфизмы наследуются, они неизменны и не зависят от средовых факторов и культурных влияний (14).

Аналогичным было резюме обобщающего дерматоглифического исследования народов СССР: «Территориальные группы внутри этносов различаются между собой меньше, чем этнические группы. Этнический уровень является наивысшим во внутрисрасовом масштабе и достигает 70% от величины уровня различий между большими расами». Здесь важно отметить, что «вся система признаков кожного рельефа подвержена жесткому генному контролю» (15).

Высокая этнодифференцирующая способность генных маркеров была продемонстрирована в исследовании этнической истории Восточной Европы, где полученные результаты сопоставлялись с антропологическими материалами (16).

Однако генетическое различие этносов между собой — лишь одна сторона дела. Не менее важно установление доминирующей роли этноса в определении генетической специфики слагающих его популяций и в генетических различиях между популяциями разной этнической принадлежности. Если упростить, то, получается, что все современное генетическое разнообразие популяций исходит именно к этническим различиям. Этот сенсационный вывод был сделан отечественными генетиками еще в 1980 г. в ходе изучения элементарных сибирских популяций. «Полученный результат трудно было предвидеть заранее: генетическое разнообразие элементарных сибирских популяций лишь на 17% определяется фактором их собственной изолированности, вызывающим

случайный дрейф генов и генетическую дифференциацию, в то время как на 70% межпопуляционное разнообразие определяется генетическими различиями между этносами, к которым изоляты принадлежат. Другими словами, основная часть межпопуляционного разнообразия изолятов сложилась не в ходе их собственной микроэволюции, а унаследована от прапопуляции — основательницы той или иной этнической группы». По мнению советских исследователей, корни генетического разнообразия элементарных сибирских популяций уходят в неолитическую и даже палеолитическую эпоху (17).

Для дальнейшего изложения очень важен еще один нетривиальный вывод Ю.Г. Рычкова и Е.В. Ящука. Сопоставив ряд классификаций сибирских этнических групп (антропологическую, лингвистическую и этнографические классификации орнаментов и шаманских бубнов) с точки зрения их генетической информативности, они указали на «возможность одинаковой генетической информативности классификаций различных этнических признаков, включая столь несхожие, как язык и типы шаманских бубнов. Это возможно при условии, что выработкой таких признаков сопровождалось формирование тех структурных элементов популяционной системы, которые оказывались генетически значимыми, поскольку внутри именно этих возникших элементов в дальнейшем продолжался процесс воспроизводства населения» (18).

Проще говоря, так называемые этнические признаки, вероятно, отражают биологическую сущность этноса и в снятом виде содержат информацию о его генетической эволюции. Но одновременно это же означает и возможность корреляции специфических культурно-исторических форм с этнической генной спецификой. Такая позиция довольно близка к юнговской концепции архетипов, о которой речь пойдет дальше.

Обобщая, можно сказать: то, что отечественные и западные гуманитарии считают «воображенной общностью», результатом конструирования, совокупностью культурных и языковых характеристик, для антропологов, медиков, биологов и генетиков — биологическая реальность. Название брошюры А.Ф. Назаровой и С.М. Алхутова «Генетический портрет народов мира» (М., 1999) говорит само за себя: в ней приведена подробная характеристика частот генов многих крупных и мелких этнических и расовых групп человечества.

Этнические группы объединяются/отличаются генными частотами и биохимическими полиморфизмами, морфотипическими характеристиками, отпечатками пальцев и дерматоглифическими рисунками ладоней и ступней, рядом других биологических параметров. Комплексное использование этих признаков позволяет с высокой уверенностью отнести индивида к той или иной этнической группе (и даже определить местность, где он родился!) (19).

Однако на пути использования данных антропологии и биологии человека для этнической идентификации встает серьезное методологическое затруднение: как узнать, что группа, выделяемая на основании того или иного биологического признака, действительно этническая, а не какая-нибудь иная — территориальная, социальная, культурная, религиозная и т. п.? Ведь первоначальное выделение группы как этнической обычно происходит на основании самоприписывания или, проще говоря, со слов самого человека.

Уверенность в правильности биологической идентификации этничности питается следующими факторами. Во-первых, проверкой биологических признаков путем их сопоставления с уже установленными этническими группами, например, находившимися длительное время в изоляции и/или полностью эндогамными. Во-вторых, перекрестным и комплексным использованием биологических методов идентификации, что повышает надежность и открывает возможность их взаимной проверки. В-третьих, за субъективным ответом индивида о его этнической принадлежности чаще всего стоит интуитивно ощущаемое объективное, онтологическое основание, которое отнюдь не метафорически можно назвать голосом крови.

По уверениям антропологов, «этнический барьер явился самым мощным фактором дифференциации населения в процессе его исторического и биологического развития» (20). В человеческой истории, причем не только на ранних ее стадиях, культурные факторы зачастую находились в синергетическом (взаимоусиливающем) воздействии с биологическими: биологические отличия проецировались в культуру, групповая дифференциация по культурным, лингвистическим и хозяйственным признакам вела к последующим генетическим изменениям, усиливавшим склонность к сотрудничеству со «своими» и враждебность к «чужим», к увеличению генетических расстояний между этническими группами.

Уж на что чуралась биологизации этнической проблематики советская наука, но и та с подачи «главы» советской этнологии Ю.В. Бромлея вынуждена была ввести в советскую концепцию этноса биологический критерий — эндогамию. «Оказалось, что подавляющее большинство современных этнических общностей — наций обладает неменьшей (чем первобытнообщинные племена. — В. С.) степенью эндогамности: обычно более 90% их членов заключает гомогенные в этническом отношении браки» (21).

Хотя этнические и расовые группы не представляют собой эндогамных образований, их склонность к смешению зависит не только от культурно-исторических обстоятельств, но и от величины генетического расстояния между группами — степенью родства/чужеродности народов. Важным подтверждением чему может служить то, что даже в обстановке «советской дружбы народов» русские предпочитали заключать межэтнические браки с восточными славянами и евреями, а не с представителями других «советских наций» (22).

Даже если вопрос о соотношении социальных (высокая степень урбанизированности именно этих этнических групп), культурно-исторических (общность исторической судьбы и языковая близость) и биологических факторов в данном случае вряд ли когда-нибудь обретет окончательное решение, очевидно, что биологическая близость (малая генетическая дистанция) русских, украинцев и белорусов представляет в этом балансе очень важную, хотя количественно неопределенную величину.

Значение фактора биологической близости варьируется в культурно-исторических контекстах, которые могут способствовать его реализации, а могут блокировать. Так, историческое наследие русско-польских отношений вряд ли способствовало русско-польским бракам. Еще в большей степени это относится к еврейско-арабским отношениям: длительная интенсивная вражда с лихвой перекрывает генетическую близость евреев и арабов, которые если не ближайшие, то уж точно двоюродные родственники.

В то же время физическая антропология и генетические исследования опровергают расхожее мнение о русском народе как евразийском миксте (знаменитое «поскреби русского — найдешь татарина»). Антропологи отмечают, что кочевнические племена и татаро-монгольское нашествие не оставили заметного следа на антропологическом облике восточных славян. Встречаемость даже

крайне слабо развитого эпикантуса (характерного признака монголоидности) среди современных русских очень мала и, в общем, не выше, чем среди немцев (23). Аналогичные результаты получены дерматоглификой: среди исследованных народов Восточной Европы русские имеют минимальную долю восточного комплекса (24). Им вторят генетики: «Русские, и в целом славяне, очень близки к западноевропейцам, но очень далеки, например, от монголов и китайцев. Это не соответствует существовавшим долгое время подозрениям, что после татаро-монгольского ига русские как нация могли сильно “загрязниться” По нашей ДНК этого совсем не видно» (25).

Не русские подверглись ассимиляции монголами, а, монголы были ассимилированы завоеванными ими народами. «К началу XV века большую часть горожан Золотой Орды составляли люди смешанного типа. При этом преобладал европеоидный компонент. Судя по всему, как в провинции, так и в столице золотоордынского государства процесс антропологического смешения шел в направлении ассимиляции завоевателей-монголов» (26). Что было неизбежно в связи с относительно небольшой численностью монголов в сравнении с населением завоеванных ими территорий и даже численностью их собственной армии.

Самый важный и интригующий в контексте биологического понимания этничности вопрос — это вопрос о значении биологических различий между этническими группами для их деятельности в истории. В самом деле, разве можно сделать хоть какие-нибудь социальные, политические и культурные выводы из генетически обусловленных этнических различий в компонентах сыворотки крови и дерматоглифических комплексах? Что следует из *такой* наследственности, кроме, возможно, некоторых гастрономических предпочтений и полезной для криминалистов информации? Если биологический уровень этнической дифференциации безразличен человеческой реализации в истории, тогда он не представляет важности для социогуманитарного знания.

Однако научно зафиксированную этническую (и расовую) изменчивость нервной системы и строения головного мозга (27) невозможно отнести к безразличным для исторического творчества биологическим параметрам, ведь речь идет о степени и самой возможности интеллектуального и культурного развития (даже если сознание не локализовано только в структурах головного мозга).

Считается доказанной и наследственная детерминированность интеллекта: обсуждается соотношение, баланс, взаимодействие наследственных (в том числе этнических и расовых) и средовых факторов, но не кардинальная важность наследственности.

Но моя мысль идет гораздо дальше и носит откровенно «еретический» характер. Суть ее в предположении о существовании наследственных этнических ментальных качеств, задающих вектор культуры и социальности.

## ВОЗМОЖНОСТЬ ВРОЖДЕННОЙ СОЦИАЛЬНОСТИ

Постановка вопроса о генетической предопределенности культуры и социальности провоцирует постоянное напряжение и конфликт социологического и биологического подходов. Он неизбежен ввиду неспособности науки провести четкую морфофизиологическую границу между животным и человеком, между «последней обезьяной» и «первым человеком» (геном человека и шимпанзе различается лишь на 1% генов), невозможностью определить момент зарождения собственно человеческого сознания. Эта теоретическая неопределенность стимулирует появление гипотез о социальности, не возникающей эволюционно, но наследственно детерминированной, врожденной человеку — гипотез, находящихся свое обоснование, том числе, в этологии.

Дискуссия о соотношении врожденных (запрограммированных филогенетически) и приобретенных (детерминированных культурно-исторически) норм и моделей социального поведения показала «достаточную вероятность того, что некоторые модели социального поведения для людей являются генетически запрограммированными», хотя «окажется более сильным, применительно ко всей целостности человеческого поведения, фактор наследственности или же фактор научения, на этом этапе решить невозможно» (28). Вероятно, окончательное решение этого вопроса вообще невозможно, и речь должна идти скорее о сложном и динамичном взаимодействии врожденного и приобретенного в человеке в разных ситуациях, чем об их калькуляции или постулировании преобладания одного над другим.

В любом случае гипотеза генетической детерминированности культуры и социальности уже не игнорируется «серьезной» наукой. Она приобрела влиятельных сторонников не только среди

биологов, которых можно при некоторой интеллектуальной натяжке упрескнуть в «социал-дарвинизме» (к слову, это понятие — чистой моды интеллектуальная фикция, концептуальный фантом (29)) и непонимании гуманитарной специфики, но и среди гуманитариев. К числу оных, в частности, принадлежит известный американский лингвист и философ (сейчас более известный как политический публицист левых взглядов) Н. Хомский: согласно его теории генеративной грамматики логическое мышление и язык составляют часть генетического наследия личности (30).

Точка зрения о биологическом импульсе, биологическом основании социальности и культуры питается современной философской антропологией не в меньшей степени, чем естественнонаучными исследованиями. Импульс постмодернистскому размыванию границы гуманитарных и естественных наук был дан пересмотром понятия «тела» — главного рубежа между биолого-медицинскими науками и науками о культуре, между природой человека и его историей. В новой парадигме философской антропологии «тело», «телесность» оказываются основой экзистенции. Тело — та предельная точка, вокруг которой выстраивается система познания, оно обеспечивает человека опытом, превосходящим вербальный (известно, что 90% получаемой человеком эмоционально значимой информации обрабатывается на невербальном уровне). Тело творит и выращивает язык и систему понятий, проектирует вокруг себя мир культуры и социальности (31).

Этот фундаментальный тезис философской антропологии нашел обоснование в последних достижениях антропологии физической. В обобщающей работе М. Л. Бутырской фактически доказано существование биологической основы человеческой эстетики и выявлена капитальная важность тела в системе человеческих коммуникаций (32).

В контексте моей темы сопряжение биологического и социологического ракурсов принципиально важно указанием на возможность *врожденных этнических инстинктов восприятия и действия*. Речь идет именно об инстинктах, то есть моделях, составляющих самоочевидное (не осознаваемое и не рефлектируемое) изначальное основание специфического восприятия и поведения этнических групп. Хотя нам кажется, что мы видим мир и действуем в нем естественным для человека вообще образом, в действительности мы воспринимаем и осваиваем его в манере человека определенной

национальности. И это различие запрограммировано в силу его врожденности.

В рамках физической антропологии существует такое сравнительно новое направление, как антропозстетика, изучающее «этнические особенности эстетического предпочтения морфотипа внешности» или, другими словами, восприятие и оценку этническими группами внешности людей. Теоретико-методологическое основание этого научного направления составляет фундаментальный вывод о биологической (а не только социальной) детерминированности взаимного человеческого восприятия, о «связи между *генофондом* (курсив мой. — В.С.) и социальными установками, коррелирующими, в свою очередь, с положительным или отрицательным восприятием и эстетическим суждением о морфотипах внешности». Это — важное указание на возможность этнической дифференциации общевидовой биологической матрицы человеческой эстетики. И действительно, этнические группы имеют собственные нормативные варианты эстетической красоты, привязанные к антропологическим особенностям этих групп: «Во всех русских группах вне связи с географической дифференциацией отмечаются относительно близкие варианты эстетически предпочитаемой красоты...» (33).

Этнически дифференцированные врожденные различия наблюдаются также в восприятии цвета, пластических форм, ландшафтов, пространства и времени. «В исследовании, проводившемся сектором этнической экологии Института этнографии АН СССР в 1987–1989 гг. по изучению психологической адаптации русских старожилов в Закавказье, было установлено, что, несмотря на то, что русские живут в новых географических условиях уже около 150 лет и называют окружающую природу “родной”, у них сохраняется *бессознательное* (курсив мой. — В.С.) психологическое предпочтение природных ландшафтов средней России... Для русских основными семантическими характеристиками родной природы в отличие от чужой являются: основательность, стабильность, надежность, щедрость, а для азербайджанцев: легкость, подвижность, изменчивость...» (34).

Такое капитальное различие в восприятии живущих в одном природном окружении людей не могло определяться только культурными факторами. Работал врожденный русский этнический инстинкт восприятия: природа среднерусской полосы бессознательно накладывалась на радикально иной ландшафт как этнический



титанон. Исследование геногеографии Восточной Европы выяснило, что в ходе исторического развития российский природный ландшафт был включен в русский генофонд: из фактора внешней среды он превратился в фактор внутренней, генотипической среды организма человека (35).

Экспериментальные свидетельства бессознательных связей этничности с типом экосистемы предоставил опыт лечения невропсихологических расстройств (36). Полученные наблюдения перекликаются с потрясающими результатами трансперсональной психологии, о которых речь пойдет дальше.

Для историков особый интерес представляет проблема связи этнической специфики восприятия с поведением в истории. Ведь из различного видения мира следуют различные стратегии его освоения и действия в нем. В теории «русской системы» Ю.С. Пиноварова и А.И. Фурсова кардинальные отличия между Западом, Востоком и Россией в восприятии пространства/времени постулированы как одна из капитальных причин различия способов их действий в истории. Хотя ученые избегают говорить о врожденном характере различий в восприятии пространства/времени, из текста их концептуальной статьи следует, что эти различия невозможно объяснить культурно-историческими факторами (37).

Наряду с этническими инстинктами восприятия существуют инстинкты действия. На уровне обыденного сознания мы фиксируем, что в одинаковых ситуациях люди разных национальностей чаще всего ведут себя по-разному; гипотетический пример такого поведения покойный Л.Н. Гумилев любил использовать для демонстрации врожденных этнических поведенческих стереотипов (38). Однако подобные бытовые примеры не только не дают ответа на вопрос о соотношении врожденного и приобретенного в человеческом поведении, но даже не позволяют его поставить. Для подобной постановки нужен масштаб Большого времени, а не трамвайных склок.

Вероятно, наилучшим (хотя не бесспорным) доказательством существования врожденных этнических инстинктов восприятия и действия может служить различное поведение и различные результаты в истории народов, живших в одинаковых условиях и стартовавших с общей исходной позиции. Долговременный русский успех в истории — самый близкий и доступный нам пример. Невозможность объяснить его случайностью или любыми комби-

нациями внешних факторов и обстоятельств ведет к заключению о русской истории как реализации русскости — глубинного источника, изначального тождества русского народа.

## ЧТО ТАКОЕ ЭТНИЧЕСКИЕ АРХЕТИПЫ

Теоретическое обоснование возможности врожденных этнических инстинктов представляет гениальная гипотеза К. Г Юнга о коллективном бессознательном и архетипах, значение и важность которой для исторической науки (и социогуманитарного знания в целом) в полной мере еще не оценены.

Идеи Юнга повлияли на гуманитарный дискурс несравненно меньше, чем концепция Фрейда, что отчасти объясняется острым соперничеством (нео)фрейдистов с заданной Юнгом новой парадигмой психологии. Нельзя также не признать, что схема Фрейда выглядит проще и понятнее изложенных в тяжеловесном стиле и несколько туманной манере идей Юнга (39). Его концепция архетипов и коллективного бессознательного разбросана по целому ряду сочинений, требуя работы по ее целостной реконструкции.

Согласно Юнгу, аналогично обществу за пределами индивида имеется коллективная психе, коллективное бессознательное за пределами личной психе. В коллективном бессознательном отложился *весь* опыт развития человечества, включая элементы дочеловеческого, животного опыта: коллективное бессознательное, — писал Юнг, — является сферой представлений «не индивидуальной, а общечеловеческой, и даже общеживотной... психики» (40). Это дерзкое для своего времени предположение подтверждается современной биологией, утверждающей, что человеческая психика сохраняет формы поведения архаичных предков и вообще однажды приобретенную генетическую информацию. Повторяющиеся основные стадии эволюции жизни на Земле развитие человеческого зародыша наглядно указывает на сохранение генетической памяти человека даже дочеловеческого опыта.

Концепт коллективного бессознательного фиксирует стадию выделения социального из природного, формирование собственно человеческого в человеке, что предполагает существование нескольких «подвальных этажей» в бессознательном, где уровень

социальности повышается снизу вверх, по мере того, как человек начинает преобладать над животным.

По Юнгу, филогенетический опыт человечества структурирован в своеобразных «кирпичиках» — передающихся по наследству *архетипах*. Заимствовав термин «архетип» из платоновской концепции предзаданных, изначальных идей, Юнг по-разному трактовал стоящее за ним понятие: и как результат предшествующего филогенетического опыта, и как априорные формы психики (что-то вроде «элементарных мыслей» или «прамыслей» А. Бастиана — «отца» немецкой этнологии), и как нечто сходное с «коллективными представлениями» школы Э. Дюркгейма—Л. Леви-Брюля.

Однако смысловое ядро юнговской концепции оставалось неизменным: коллективное бессознательное по природе своей сверхличностно, передается по наследству и, будучи идентично у всех людей, образует всеобщее основание душевной жизни каждого человека; в то же время это основание не осознается до конца его носителями — людьми. Самая изощренная возможность восприятия и осознания архетипа никогда не позволит исчерпать содержание даже отдельно взятого архетипа до конца: мы можем наблюдать лишь феноменологические проявления архетипа, в то время как сам по себе, вне конкретных форм, он остается недоступным созерцанию ноуменом.

В чем же важность и значение архетипов? Представляя собой самые общие *инстинкты* представления и действия, архетипы открывают принципиальную возможность *осознанного* представления и действия: «Всякое осознанное представление и действие развиваются из этих бессознательных образцов и всегда с ними взаимосвязаны...» (41). В юнговском понимании все социальные и культурные модели в конечном счете восходят к базовым и врожденным социальным инстинктам — если не в содержательном, то в структурно-логическом смысле. Архетипы составляют неосознаваемые силовые линии человеческой ментальности, к которым тяготеют и вдоль которых группируются модели и образцы человеческого восприятия и действия.

Юнговские архетипы — это именно *мыслеформы*, то есть неосознаваемые содержания сознания (что характерно для общепринятой трактовки иррациональности), а пустые *формы* осознания, требующие своего наполнения конкретным материалом. Другими

словами, это матрицы. Конкретный материал наполняет их в зависимости от переживаемой людьми исторической ситуации, то есть формы остаются неизменными при меняющемся содержании (42).

Например, архетипы «мы—они», «свое—чужое» носят характер врожденного биологического фильтра, однако содержание, наполнение этих категорий зависит от контекста. «Мы» могут оказаться русскими, православными, пролетариями, «они» — немцами, мусульманами, буржуа и т. д. В общем, число конкретных выражений любого архетипа потенциально бесконечно.

Архетипы выражаются в мифах, сказках и верованиях, религиозных догматах, идеологических постулатах и культурных формулах, а по мере распада «онтологической целостности мира» (формулировка К. Мангейма) — в анонимных «факторах». Давая различные имена архетипам, человечество пытается приручить и окультурить могущественную стихию бессознательного, что удастся ему крайне плохо. Подобно скрывающейся под внешне прочной коркой огнедышащей вулканической магме, за тонкой пленкой цивилизации и культуры таятся могучие влечения.

Юнг вообще был склонен минимизировать значение индивидуальной психики, считая ее не более чем «вырезкой» из коллективного бессознательного, и утверждал, что в индивидуальной психологии собственного индивидуального на самом деле гораздо меньше, чем коллективного. Вряд ли это верно для нормальной ситуации, спокойного течения человеческой жизни. Но в моменты исторических кризисов, высокого социального и экзистенциального напряжения происходят подлинные прорывы коллективного бессознательного, когда массы людей побуждаемы к действию, охвачены некоей стихийной и спонтанной силой, не навязываемой извне, а пробуждающейся к жизни из глубин их собственных душ.

Юнг склонялся к тому, чтобы рассматривать человеческую психику чуть ли не как первичный фактор бытия: «Психическое бытие есть единственная категория бытия, о которой мы знаем непосредственно, ибо ничто не может быть предметом знания, если не выступает в качестве психического образа. Непосредственно достоверно только психическое существование» (43). В этом смысле его можно было бы считать предтечей постмодернистской концепции ситуативной реальности, возникающей вследствие ментального «дрейфа». Однако для Юнга архетипы отражали в закодированном виде реальный видовой опыт человечества, носили

прожденный характер и имели материальный субстрат, будучи локализованными в анатомических структурах мозга.

Из содержания юнговских работ вытекает предположение о существовании, наряду с общими для всего человечества унаследованными мыслеформами, более узких — расовых и *этнических* — архетипов, в которых отложился не опыт человечества в целом, а специфический опыт групп людей, выделившихся тысячи (или сотни тысяч и даже миллионы, когда речь идет о расовых стволах) лет тому назад. «Конечно, на более ранней и низкой ступени душевного развития, где еще нельзя выискать различий между арийской, семитской, хамитской и монгольской ментальностью, все человеческие расы имеют общую коллективную психику. Но с началом расовой дифференциации возникают и *существенные различия в коллективной психике* (курсив мой. — В. С.). По этой причине мы не можем перевести дух чуждой расы в нашу ментальность *in globo*, не нанося ощутимого ущерба последней...» (44). Из юнговских текстов следует, что под расовыми различиями он понимал также этнические. Напомню, что выше уже приводились доказательства существования этнических архетипов восприятия.

В конкретной человеческой психике общечеловеческие, расовые и этнические архетипы, надо полагать, настолько переплетены и взаимосвязаны, что их дифференциация возможна лишь как интеллектуальная операция абстрагирования. Расовые и этнические архетипы, вероятнее всего, существуют в виде более узких и специализированных проявлений универсальных человеческих мыслеформ. Проще говоря, в виде отходящих от ствола ветвей.

Имплицитная возможность существования этнического бессознательного заложена в ключевом понятии современной этнологии «этническая идентичность», которое постепенно вытесняет из отечественного социогуманитарного дискурса более привычное нам понятие «национального (этнического) самосознания». Их главное отличие в том, что понятие идентичности не ограничивается лишь рациональным слоем человеческой психики, а включает также область бессознательного, подразумевая не (само)сознание, а психику (или ментальность) вообще (45). Это очень важно, поскольку удельный вес бессознательного в человеческой ментальности значительно больше осознанного, рассудочного (здесь уместно сравнение с айсбергом, <sup>6</sup>/<sub>7</sub> объема которого находятся под водой).

Но тогда неизбежно заключение, что этническое самосознание — не важно, является ли оно проявлением онтологизированной

этничности (в примордиализме) или представляет собой только устойчиво длящуюся позицию сознания (в конструктивизме) — имеет продолжение (или корни) в бессознательном слое психики. Именно укорененность в бессознательном порождает силу и иррациональное обаяние национализма и вообще любой идеологии.

Современная психология не только экспериментально подтвердила концепцию Юнга о коллективном бессознательном и архетипах в целом, но и, что особенно важно в нашем случае, предоставила ценные доказательства существования врожденной этнической памяти. По словам одного из крупнейших мировых психологов, основателя такого ее революционного направления как трансперсональная психология, С. Грофа: «Материалы, полученные в психоделических изысканиях и при глубинной эмпирической работе, явно свидетельствуют о существовании коллективного бессознательного и о динамике архетипических структур, поддерживают представление Юнга... о существовании креативной и проективной функций бессознательного...» (46).

В транспсихологических исследованиях была достоверно установлена способность некоторых индивидов переживать короткие эпизоды или длительные истории, происходившие в отдаленной исторической ретроспективе и в различных этнических и культурных контекстах, с которыми они были связаны исключительно своим этническим происхождением. Причем это «припоминание» происходило даже с теми, кто полностью порвал с «материнской» культурой и ассимилировался в новую (речь идет о культурной, а не биологической ассимиляции).

Чистота проведенных экспериментов подтверждалась тем, что пациенты достоверно не обладали информацией об описываемых ими эпохах и ситуациях, в то же время их воспоминания верифицировались специалистами (историками, археологами, антропологами, этнологами) как весьма точные. При этом в подобных воспоминаниях отсутствовала личная вовлеченность или отождествление, которые могли бы объясняться родовой, семейной памятью.

Более того, в ходе экспериментов Грофу удалось достоверно установить филогенетические переживания человека, то есть память о его дочеловеческом существовании! Отождествление человека с предшествовавшими ему эволюционно доисторическими животными включало верифицируемую информацию (ощущение веса, размера, чувства тела, разнообразия физиологических ощу-

щений и т. д.), адекватность которой была подтверждена зоологами-палеонтологами (47).

Эти фантастические наблюдения превосходно укладываются в теоретическое русло концепции архетипов и коллективного бессознательного К.Г. Юнга, подтверждая правоту его гениальных интеллектуальных интуиций.

К сожалению, юнговская концепция не получила развития в контексте этнологической науки. В той мере, в какой концепт «бессознательного» применялся к этнической проблематике, его адаптация шла преимущественно (если не исключительно) во фрейдистском русле. Так, явно вдохновлено фрейдизмом определение Г. Девере: «Этническое бессознательное — часть бессознательного сегмента психики индивида, общая с другими членами его культурной общины. Этническое бессознательное состоит из материала, который каждое новое поколение учится репрессировать в соответствии с требованием преобладающих культурных образцов» (48).

Вместе с тем этот подход перекликается с юнговской теорией архетипов. Дело в том, что термин «культура» толкуется здесь в непривычном для историков смысле: под культурой понимается не совокупность созданных в ходе человеческой истории материальных и духовных артефактов (вторая природа человека), а особый психологический механизм первичной адаптации людей к внешнему миру — природному и социальному. Тогда «преобладающие культурные образцы» Девере оказываются близкими к этническим архетипам — бессознательным установкам, обеспечивающим адаптацию к миру не людей вообще, а конкретных групп людей. И эти установки составляют врожденную (примордиальную) этническую специфику.

Косвенные доказательства (в том числе от противного) существования этнических архетипов представляют исследования по символической антропологии и истории идеологий.

Напомню, что в фокусе символического подхода находятся мифы, символы, коллективная память и ценности. В частности, мобилизующую силу националистического призыва принято объяснять мифологической природой националистической идеологии, потому что именно миф якобы наиболее адекватен иррациональным этническим чувствам. Вообще иррациональность нередко считается отличительным свойством именно националистической идеологии.

Однако специалистам по истории идеологий хорошо известно, что не только националистическая, но вообще любая идеология иррациональна по своей природе и своему доминантному призыву. Ядро всякой идеологии составляет миф, а ее успех в деле политической мобилизации (что есть главная функция идеологии) в решающей степени зависит от способности «зацепить» иррациональный, бессознательный пласт человеческой ментальности. Напомню, что Юнг концептуализировал этот слой как коллективное бессознательное, а миф как форму выражения архетипа. Несколько упрощая, идеологический призыв можно представить как попытку с помощью мифа (или мифов) пробудить к жизни коллективное бессознательное и канализировать его в политику.

Такова общая схема, которая, реализуясь во множестве конкретно-исторических вариантов, оставляет открытым, может, несколько наивный, но кардинальный вопрос: почему в одних случаях идеологическая мобилизация оказывается успешной, в других — нет. К слову, перечень идеологических систем совсем не велик, их всего три: социализм (коммунизм), либерализм, национализм; консерватизм не имеет идеологического инварианта и поэтому его вряд ли можно считать самостоятельной идеологической системой. Не так уж обширен и набор мифологических модулей («кирпичиков»), которыми идеологии оперируют. Набор этнических мифов — о происхождении, о «золотом веке» и упадке, о неминуемом возрождении — более или менее общий для всех народов, но число неудачных попыток националистической мобилизации значительно превышает удавшиеся.

В общеметодологическом плане успех и неудачу идеологических призывов, политической мобилизации принято объяснять конкретно-историческими констелляциями факторов и обстоятельств. В качестве модели такого объяснения людям советской эпохи достаточно вспомнить знаменитое ленинское определение «революционной ситуации», на первый взгляд, грамотно сочетавшее объективные и субъективные факторы, и которое, тем не менее, не работало ни в контексте отечественной истории (революция 1917 г. была скорее опровержением, чем подтверждением ленинской концепции), ни за пределами России.

Можно понять телеологизм советской историографии, пытавшейся обосновать закономерность Октябрьской революции, представив ее естественным результатом российского развития.



Однако оправданное дезавуирование советских концепций не сопровождалось, за редким исключением, выдвижением альтернативных новых. Конспирологический бред, возможно, объясняет нетребовательным и ограниченным умам приход большевиков к власти, но с его помощью невозможно понять (и даже поставить) капитальную, стержневую проблему советской истории: почему марксизм вызвал грандиозную и долговременную динамику не в Европе, для которой он изначально предназначался, а в России, которая, по справедливому указанию оппонентов В.И. Ульянова-Ленина, меньше всего подходила для реализации теорий герра Маркса? Масштаб, устойчивость и результаты этой динамики были слишком значительны, чтобы объяснять их случайностью, результатом заговора или большевистского насилия.

Идеологический призыв марксизма был услышан и создал беспрецедентный эффект именно в России в силу своего созвучия, соответствия русской ментальности. Он «зацепил» ее специфический слой — этническое бессознательное русского народа. Интеллектуальная и идеологическая история нашей страны второй половины XIX — начала XX вв. прошла под знаком напряженного поиска магических формул, «слов силы», которые разбудят «русского медведя». Результатом этого процесса стало рождение большевизма — специфического соединения марксизма как западной доктрины модернизации с русским народничеством как идеологией крестьянства и русским мессианизмом.

Большевизм явился не просто национальной стилизацией марксизма, он был в подлинном смысле слова русским, национальным марксизмом — не в области интеллектуальной доктрины, но в содержании своего обращенного к автохтонным массам призыва. «Национализацией» марксизма была обеспечена его адекватность России, создана «сцепка» с русскими архетипами, вызвавшая беспрецедентную социополитическую и социокультурную динамику русской революции и русского коммунизма.

Автор одной из наиболее важных книг последнего времени по истории большевистской революции обнаружил ее истинный эпицентр вне внешнего событийного ряда, в «психоментальности» — так определил предмет своего исследования В.П. Булдаков. В его работе последовательно проведена мысль о революции как актуализации (взрыве, буйстве) коллективного бессознательного и настойчиво подчеркивается этническая специфика этого бессознательного (49).

После этой обширной интродукции автор может дать собственное определение этноса. *Этнос (этническая группа) — это группа людей, отличающаяся от других групп людей совокупностью антропологических и биогенетических параметров и присущих только этой группе архетипов, члены которой разделяют интуитивное чувство родства и сходства.* Последняя часть определения важна для отделения этноса от расы: членов расы может объединять чувство сходства, но не родства.

Этнос отличается от социальных групп именно биологической передачей своих отличительных (пусть даже это *социальные инстинкты*) признаков, а этничность — такая же данность, как раса и пол. Короче говоря, *этнос — сущностно биологическая группа социальных существ.*

Предложенное биосоциальное понимание этничности не связано с трактовкой этничности в популярной концепции Л.Н. Гумилева. Только затянувшимся недоразумением, а также справедливой критикой Гумилевым социологизаторских подходов к этничности можно объяснить квалификацию его взглядов на этничность как «биологизаторских». В действительности, как убедительно и в блестящей манере продемонстрировал А.Й. Элез: «Мы... имеем дело скорее с претензией на биологизацию, которые уже сами по себе более чем нетипичны для советской науки. Именно эта претензия на нетипичный подход в сочетании с поверхностностью, выдаваемой за энциклопедичность знания, и ориентацией на *читателя со средним образованием* и обеспечила теоретическим работам Л.Н. Гумилева такую популярность в постсталинском СССР...». «“Биологизация” у Л.Н. Гумилева имеет место не как методологический принцип построения некоторой теории этноса, а как набор несуразиц, проистекающих из отсутствия способности логически рассуждать...» (50)

Сам Гумилев вовсе не считал этнос биологическим явлением, равно как и социальным. Он называл его географическим явлением, связанным с «вмещающим ландшафтом» (51).

Возвращаясь к главной нити рассуждений, укажу на невозможность относительно достоверных суждений о механизме формирования этничности: представляет ли она расширенную форму родственного отбора (проще говоря, вырастает из объединенного кровным родством племени), как предполагают наиболее радикальные примордиалисты биологизаторского толка, или же возникает

каким-то иным образом — вопрос, находящийся не только вне авторской компетенции, но и вне возможностей современной науки. Генезис этнического бессознательного, равно как и общечеловеческого коллективного бессознательного теряется в глубинах времени, составляя неразрывную часть сложнейшей проблемы антропо- и социогенеза.

Не уходя в бесплодное гипотетизирование насчет причин и механизма формирования этничности, довольно ограничиться фиксацией биосоциальной природы этноса в качестве отправной методологической позиции исторического анализа.

При этом сразу же отмечу очень важное для последующего изложения обстоятельство. Будучи врожденными, не имеющими собственного содержания *мыслеформами*, этнические архетипы не тождественны ценностным ориентациям, культурным и социальным моделям и не могут быть усвоены в процессе социализации. Архетип вмещает самые различные, в том числе диаметрально противоположные, ценности и культурные стереотипы, не будучи сам ни ценностью, ни культурным стереотипом. Поэтому глубоко ошибочна распространенная тенденция называть этническими архетипами религию, тип социальной связи или культуру, которые вмещают великое множество архетипов в юнговском понимании. Конкретная религия, культура и социальная связь — не праисторические архетипы, а возникшие в ходе истории явления. Даже самые устойчивые из них подвержены изменениям вплоть до исчезновения. А вот архетипы неизменны и неуничтожимы, пока существует человеческий род.

Предложенная трактовка этничности указывает выход из теоретического тупика, в котором оказалась современная этнология, примиряет ее основные противоборствующие парадигмы — условно, конструктивистскую и примордиалистскую (хотя сама эта дихотомия довольно сомнительна (52)). В авторской интерпретации первоисточник этничности, упрощенно говоря, находится в человеческой голове (что близко к конструктивистскому пониманию этничности), но этническое качество имманентно человечеству (и это примордиализм).

## ЭТНОС И НАЦИЯ

Последнее утверждение противоречит свойственному современной науке отнесению формирования наций и появления национализмов к XVIII–XIX (самое раннее — XVII) вв. Это противоречие вызвано смешением (случайным или намеренным — другой вопрос) тесно связанных, но не тождественных и принадлежащих различным историко-культурным эпохам явлений — этноса и нации. Этническая модель организации прослеживается Э. Смитом с начала третьего тысячелетия до нашей эры (!), то есть чуть ли не с первых письменных источников. Возникновение же нации как принципиально нового типа *социальной* организации произошло в переживавшей революцию современности (в смысле *modern*) Европе. И европейский опыт, возможно, уникален.

Если существо этноса (в авторской трактовке) — биосоциальное, то нации — социальное. Однако, несмотря на их различную природу, историко-логически предшествовавший нации этнос не только сосуществует с ней в современности, но и тесно связан с ней в структурно-содержательном плане (53). Обоснование Э. Смитом, Р. Брубейкером и Б. Яком аналитической и оценочной сомнительности противопоставления «гражданских» наций «этническим» содержало также признание важности этнического ядра для формирования современных наций и указание на значительную (возможно, определяющую) роль этнического компонента (вне зависимости от понимания этничности) в формировании даже самых «гражданских» и «политических» наций, включая иммигрантские (54).

Признание ядром этничности архетипов означает возможность разнообразных манифестаций этничности — культурных, религиозных, социополитических и др. Если пустые мыслеформы архетипов наполняются различным содержанием или, говоря по-другому, этнические архетипы переносятся на любые ситуации и объекты (в психоаналитическом языке это называется «трансфером»), то этничность может приобрести потенциально любую окраску. Не правда ли, эта трактовка очень близка популярному постмодернистскому толкованию этничности как исключительно релятивистского и ситуативного явления? Явления, которое «мо-

жет проявляться повсюду, влиять на любые сферы жизни и деятельности человека, и в то же время его нигде нет» (55).

Принципиальное отличие моей гипотезы состоит в том, что в ней этничность рассматривается не как артефакт, возникающий в результате взаимодействия идентичности и социокультурной среды, а как имманентное свойство человеческой психики, открывающее саму возможность *таких* ее проекций на социокультурную среду.

В исторической ретроспективе обнаруживаются самые разные манифестации этничности: культурная исключительность, конфессиональная принадлежность, династическая лояльность, территориальный и государственный патриотизм, национализм и др. Направление трансфера этнических архетипов определялось сложным взаимодействием конкретно-исторического контекста с господствующей «культурной системой» (терминология Б. Андерсона) эпохи. Поясню это подробнее.

Быть иудеем в средневековой Европе означало быть евреем. После покорения Ирландии англичанами-протестантами (в результате чего было вырезано, по самым скромным оценкам, не менее трети (!) населения этого острова) ирландцы особенно остро ощутили себя католиками. Нечто похожее пережили и русские: распространение православия и идентификация русскости по конфессиональному признаку стимулировались монголо-татарской оккупацией. Это отождествление еще более усилилось после падения Византии, когда Русь осталась единственным независимым православным государством современного ей мира. Трансферы этничности на религию, династическую лояльность, территориальный и государственный патриотизм выглядели предпочтительными и наиболее вероятными вариантами в господствовавшей культурной системе досовременной Европы. Бессознательная этничность рационализировалась в свойственных эпохе культурных формулах.

Преимущественный трансфер этничности в Новое время на нацию стал следствием революционной смены культурных систем, что составило важную часть формирования Современности. Одним из аспектов этой революции была замена религиозной картины мира светской (место Бога заняла трансцендированная нация — обещание бессмертия в виде сменяющейся цепи поколений), другим — крах легитимности богоизбранных монархов, которых в качестве источника суверенной власти опять же заменила нация.

Нация оказалась одним из фокусов культурного языка новой эпохи. Не менее важно, что культурная революция происходила в сложной взаимосвязи и переплетении с формированием *политики*, что также представляло собой революцию — революцию в способах осуществления власти в человеческом обществе.

Политика как отношение и борьба социальных и политических субъектов по поводу власти — не только исторически поздний, но и уникальный, не имевший аналогов в других культурах и цивилизациях феномен, который возник в Европе приблизительно в XVI в. Естественным и неизбежным было использование в целях политики такого примордиального (и поэтому потенциально очень сильного) чувства, как этничность, которое обрело в политике свое наиболее яркое, влиятельное и угрожающее воплощение. Мобилизация этничности, то есть сознательная стратегия (а не спонтанные действия, как это было раньше) по ее вовлечению в политику и положила начало явлению, известному нам сейчас как «национализм».

Итак, с Нового времени трансфер этничности был направлен преимущественно на нацию.

Эти рассуждения указывают на значительный эвристический потенциал предложенной концепции этничности, позволяющей решить основные научные противоречия в понимании ее природы и открывающей возможность нового взгляда на человеческую историю.

## КУЛЬТУРНЫЙ И НАУЧНЫЙ КОНТЕКСТЫ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ

У автора мало сомнений в том, что предложенная концепция будет встречена в штыки, причем по причинам, в первую очередь, ненаучного свойства. Очевидная теоретическая несостоятельность социологического понимания этноса/этничности должна бы поощрить научное сообщество всерьез отнестись к гипотезе о биосоциальной природе данного явления. Но этому мешают интеллектуальная инерция и нежелание радикальной ревизии теоретического багажа науки, чреватые падением теоретических авторитетов и разрушением научных репутаций, и, не в меньшей (если не в большей) степени, культурно-идеологические предрассудки.

Биосоциальная трактовка этничности неприемлема для преобладающей части современного гуманитарного сообщества, как якобы вызывающая коннотации с расизмом и дезавуирующая фундаментальные положения общепринятого толкования идентичности и современного национального дискурса (например, идею свободного выбора национальной принадлежности). Утверждение об этничности как биологической данности, во многом предопределяющей социальные процессы, составляет кошмар ревнителей политической корректности и либерально ангажированной науки: если этничность носит врожденный характер, ее нельзя сменить подобно перчаткам; судьба народов в истории в значительной мере есть реализация их врожденных этнических качеств.

Между тем акцентирование биологического аспекта этничности в научном анализе, признание онтологического, фундаментального характера этнических различий не тождественны расизму как *идеологии*, обосновывающей господство одних расовых и/или этнических групп над другими в силу их врожденного неравенства. Хотя подобный теоретический подход в принципе может привести к расистским выводам, появление таких выводов в решающей степени зависит от историко-культурного и политико-идеологического контекстов. Так самолет может служить как доставке людей, так и целям их уничтожения. Еще раз повторю: наука безразлична тем целям, для которых ее используют.

Из презумпции врожденного различия народов не вытекает качественное превосходство одних этнических групп над другими или предзаданность их исторического успеха или провала. Как раз история наглядно свидетельствует, что успешные народы не всегда были успешными и вовсе не обязательно ими останутся. Арабы, покорившие когда-то чуть ли не половину мира и остановившиеся на иберийском пороге Европы, влачат сейчас отнюдь не блестящее существование. В то же время воспоминание о победоносном прошлом вдохновляет современный исламский фундаментализм. А современник арабского халифата вряд ли мог вообразить, что несколькими столетиями позже строителями величайших мировых империй окажутся покоренные испанцы, зажатые на западной окраине ойкумены англосаксы и живущие в медвежьем углу северной Евразии русские. Вероятно, взлет и падение арабов были следствием одних и тех же врожденных этнических качеств, которые в одном историческом контексте оказались преимуществом,

а в другом — недостатком. И это относится ко всем народам, творившим или претендующим на то, чтобы творить историю. Право участвовать в строительстве истории не заказано никому, правда, и дается лишь немногим.

Ошибочно и предположение, что биосоциальная трактовка этничности лишает человека права выбора национальности. Не следует смешивать научные критерии принадлежности к этнической группе с субъективным выбором человека. Если бы сущность вещей совпадала с их внешней формой, то отпала бы и нужда в науке.

Есть народы, определяющие этничность по крови. Наиболее известный пример — евреи, принадлежность к которым, согласно «Галахе» (религиозному закону), определяется кровью. Хотя в современном мире несравненно более распространено определение этнической принадлежности по культуре и языку. Другое дело, что, как показывает практика, свобода выбора этничности и даже выбора принадлежности к «политической» нации значительно преувеличена: в первом случае это, обычно, выбор между национальностью отца и матери (то есть между кровью), во втором случае гражданство главным образом приобретается по праву рождения (за исключением, конечно, иммигрантских наций).

Но и сама концепция «политической» нации, с позиции которой ведется критика этнического национализма и биологического определения этничности, не имеет научного характера, а представляет культурно-идеологическую конструкцию — либеральный миф (56).

Еще раз повторю: главные аргументы против биосоциального понимания этничности носят не научный, а культурно-идеологический и моральный характер. Однако эти табу настолько влиятельны, что деформируют логику научного поиска и даже здравый смысл.

Характерный и яркий образчик такой интеллектуальной деформации представляет работа С. В. Лурье «Историческая этнология» (М., 1998). В авторской концептуализации этничности основополагающее место отводится так называемым «этническим константам» — внелогическим понятиям, структурообразующим элементам этнического бессознательного. По мысли Лурье, не имеющие конкретного содержания константы проявляются в форме трансферов — переносов на те или иные реальные объекты



и ситуации, возникающие в истории (57). Любой мало-мальски знакомый с историей психологии человек без труда обнаружит, что в содержательном плане «этнические константы» совпадают с юнговскими архетипами.

Вольно предположить, что петербургский автор, ничего не зная о концепции К.Г. Юнга, самостоятельно пришел к идентичным выводам. Истории науки известно немало таких примеров, в том числе в гуманитарных дисциплинах. Однако обширный историографический раздел и подробные историографические справки работы Лурье ставят под сомнение презумпцию талантливого дилетанта, независимо повторившего однажды сделанное научное открытие. Не вызывают сомнений как хорошее знакомство автора с историей психологии, так и ее явные симпатии к психоаналитическому направлению. Юнг почему-то составил исключение, его имя даже ни разу не упоминается. И эта странная фигура умолчания при одновременном тождестве «этнических констант» и юнговских архетипов слишком очевидно указывает на возможный источник теоретического «вдохновения» Лурье.

Впрочем, в данном случае меня занимали не вопросы научной этики, а интеллектуальное качество теоретизирования Лурье, которое характеризуется глубокой внутренней противоречивостью и нелогичностью. С одной стороны, утверждение о том, что составляющие основу этничности «этнические константы» не усваиваются в процессе социализации, то есть носят врожденный характер, подразумевает биологическую сущность этничности. С другой стороны, тем же автором категорически отрицается возможность биологической трактовки этноса («говорить об этносе как о биологической общности бессмысленно») и декларируется его социальная сущность («этнос — это социальная общность») (58). В то же время авторское понимание этой «социальной общности» не только носит расплывчатый и бездоказательный (в части фундаментальных положений приводимой социологической трактовки) характер, но и включает выводы прямо противоположного, биологического свойства (59). Де-факто Лурье доказывает биосоциальную природу этноса, номинально отрицая саму возможность биологического подхода.

Подобная шизофреническая ситуация могла возникнуть только в культурном контексте, табуирующем определенный вектор теоретизирования вне зависимости от его собственно научной стороны.

Тем не менее работа Лурье важна в историографическом отношении. Она содержит систематизированный обзор ведущих теоретических течений в этнологии, этнопсихологии, культурологии и изучении традиции. Однако введение в научный оборот устоявшегося, «старого» теоретического знания не тождественно созданию нового. Претензия Лурье на самостоятельный теоретический вклад во многом обесценена внутренней противоречивостью и логической непоследовательностью ее концептуализации. Во многом, но все же не полностью: некоторые наблюдения и замечания автора о русской истории проницательны и оригинальны, и в дальнейшем я буду к ним обращаться.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. См., например: *Филиппов В. Р.* Критика этнического федерализма. — М., 2003. С.21.
2. Впервые книга опубликована в 1983 г., ее русское издание увидело свет в 2001 г. под названием «Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма».
3. Критический разбор концепции Б. Андерсона и взглядов Э. Смита см. в историографическом обзоре: *Коротеева В. В.* Теории национализма в зарубежных социальных науках. — М., 1999. С.64–82.
4. *Хантингтон С.* Кто мы? — М., 2004.
5. *Чешко С. В.* Человек и этничность // *Этнографическое обозрение*. 1994. № 6. С.35.
6. *Тишков В. А.* О феномене этничности // *Тишков В. А.* Очерки теории и политики этничности в России. — М., 1997. С.70.
7. *Тишков В.* Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антропологии. — М., 2003.
8. *Элез А. Й.* Указ. соч. С.170, 104.
9. *Филиппов В. Р.* Указ. соч. С.15–49.
10. *Филиппов В. Р.* Там же. С.21.
11. *Авдеев В. Б.* Расология. Наука о наследственных качествах людей. — М., 2005.
12. *Левонтин Р.* Человеческая индивидуальность: наследственность и среда. — М., 1993. С.149.
13. *Спицын В. А.* Биохимический полиморфизм человека. Антропологические аспекты. — М., 1985. С.106–107 (также см. С.105).
14. *Левонтин Р.* Указ. соч. С.59.
15. *Хитъ Г. Л.* Дерматоглифика народов СССР — М., 1983. С.40, 25.
16. См. главу «Историческая геногеография Восточной Европы» в книге «Восточные славяне. Антропология и этническая история» (2-е изд. — М., 2002).
17. *Рычков Ю. Г.* *Яцук Е. В.* Генетика и этногенез // *Вопросы антропологии*. 1980. Вып.64. С.30, 31, 28.
18. Там же. С.33.

19. Какую возможность открывают дерматоглифические материалы. (См.: Хитъ Г.Л. Указ. соч., Хитъ Г.Л., Долинова Н.А. Расовая дифференциация человечества (Дерматоглифические данные). — М., 1990.)
20. Хитъ Г.Л., Долинова Н.А. Указ соч. С.5. Тот же самый вывод см.: Хитъ Г.Л. Указ. соч. С.37,184.
21. Бромлей Ю.В. К характеристике понятия «этнос» //Расы и народы: Ежегодник. — М., 1971. С.25–26.
22. Rakowska-Harmstone Teresa. The Dialectics of Nationalism in the USSR //Problems of Communism. 1974. Vol.23. №4. P.8. (Приводится по: Tolz Vera. Russia. — L.—N.Y., 2001. P.204.) При этом стоит отметить, что доля национально смешанных семей в СССР была довольно высока, составив к 1970-м гг. 13,5% всего количества семей. В РСФСР такие семьи составили 10,7% от общего числа, на Украине — около 20%, в Казахстане и Латвии — около 21%. (См.: Козлов В.И. История трагедии великого народа: Русский вопрос. — М., 1997 С.194.)
23. Восточные славян. Антропология и этническая история. 2-е изд. — М., 2002. С.16, 32, 312.
24. Хитъ Г.Л. Указ. соч. С.79.
25. Тарантул В. Геном человека: энциклопедия, написанная четырьмя буквами. — М, 2003. С.304.
26. Яблонский Л.Т. Монголы в городах Золотой Орды (по материалам мусульманских некрополей) //Проблемы антропологии древнего и современного населения советской Азии. — НСБ, 1986. С.15.
27. См.: Савельев С.В. Стереоскопический атлас мозга человека. — М., 1996.
28. Цит. по: Элез А.Й. Указ. соч. С.109.
29. См.: Шмерлина И.А. Биологическая метафора в социологии /Рец. на кн.: Biology as Society, Society as Biology: Metaphors /Ed. by S. Massen, E. Mendelsohn, P. Weingart. Dordrecht, 1995 //Социологический журнал. 2001. №4.
30. Chomsky N. Cartesian Linguistics: A Chapter in the History of Rationalist Thought. — N.Y., 1966.
31. См.: Быховская И.М. Homo somatikos: аксиология человеческого тела. — М., 2001. Также см. статью Ф. Саразина в «Новом литературном обозрении» (2005. №71).
32. Бутырская М.Л. Язык тела: природа и культура (эволюционные и кросс-культурные основы невербальных коммуникаций человека). — М., 2004.
33. Халдеева Н.И. Сравнительные антропозстетические исследования в России //Вестник антропологии. 1998. Вып.4. С.68, 70, 79.
34. Цит. по: Лурье С.В. Историческая этнология: Учебное пособие для вузов. — М. 1997. С.127.
35. Восточные славяне. С.234.
36. См.: Сухарев А.В. Расово-биологический аспект психической адаптации человека //Расовый смысл русской идеи. Вып.2 /Под ред. В. Б. Авдеева, А. Н. Савельева. — М., 2003.
37. См.: Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. «Русская система» как попытка понимания русской истории //Политические исследования (Полис). 2001. №4. С.42–43.
38. См.: Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. — Л., 1990. С.12.
39. Токарев С.А. Начало фрейдистского направления в этнографии и истории религии //Избранное. Теоретические и историографические статьи по этнографии и религиям народов мира. В 2-х томах /Отв. редакторы-составители С.Я. Козлов, П.И. Пучков. Т.2. — М., 1999. С40.
40. Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. — М., 1994. С.125.
41. Юнг Карл-Густав. О психологии восточных религий и философий. — М., 1994. С.158.

42. См.. Юнг К.Г. Понятие коллективного бессознательного //Бог и бессознательное. — М., 1998.
43. Юнг Карл-Густав. О психологии восточных религий и философий. С.100.
44. Юнг К.Г. Отношения между Я и бессознательным //Юнг К.Г. Собрание сочинений. Психология бессознательного. — М., 1994. С.210.
45. См.: Коростелев А.Д. Парадоксы этнической идентичности //Идентичность и толерантность. С.88–89.
46. Гроф С. За пределами мозга: Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии. — М., 2002. С.212.
47. Подробно об этом см.: Гроф С. Указ. соч.; Он же. Области человеческого бессознательного: опыт исследований с помощью ЛСД. — М., 1994.
48. Цит. по: Лурье С.В. Историческая этнология. С.77
49. Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. — М., 1997
50. Элез А.Й. Указ. соч. С.189–190, 175.
51. См.. Гумилев Л.Н. Указ. соч. С.17
52. См.. Коротеева В.В. Указ. соч. С.11–15.
53. Этой точки зрения придерживаются Э. Смит, П. Горски и А. Гастингс. Разбор их взглядов см. в четвертой главе книги: *Graham D., Thompson A. Theorizing nationalism* /Ed. by J. Campling. — Basingstoke: N.Y. 2004. Рецензию на книгу см.. Свободная мысль-XXI. 2005. №6. С.212–214.
54. О взглядах Э. Смита и Р. Брубейкера на этот счет подробнее см.: *Коротеева В.В.* Указ. соч. С.77–81, 121–122.
55. Чешко С.В. Указ. соч. С.35.
56. Доказательства мифологизированности понятия «гражданская нация» см. в: *Коротеева Виктория.* Существуют ли общепризнанные истины о национализме? //Pro et Contra. Лето 1997. Т.2. №3. С.192–196.
57. См.: *Лурье С.В.* Историческая этнология. С.223–225; *Лурье Светлана.* В поисках русского национального характера //Отечественные записки. 2002. №3. С.62–63.
58. См.. *Лурье С.В.* Историческая этнология. С.40, 41.
59. Разбор теоретических противоречий работы Лурье см. в: *Элез А.Й.* Указ. соч. С.239–243.

---

## Глава 2

### БЫТЬ РУССКИМ

Понимание этничности, которое предложено в предшествующей главе, дает недвусмысленный, хотя и шокирующий ответ на сакраментальный вопрос, кто есть русские. С научной точки зрения, русские — это те, в чьих венах течет русская кровь. Русские — гомогенный в расовом отношении тип: «типичные европеоиды, по большинству антропологических признаков занимающие центральное положение среди народов зарубежной Европы и отличающиеся несколько более светлой пигментацией глаз и волос и менее интенсивным ростом бороды и более крупными размерами носа» (1). (В связи с последним стоит указать на ошибочность расхожего суждения о русской курносости.) Представление об общем для всего русского населения антропологическом типе подтверждается также краниологическими данными; «морфологическое единство русских выявляется и при анализе обобщенных дерматоглифических данных» (2).

Хотя интенсивное смешение восточных славян с другими народами составляло существо их стратегии территориальной экспансии, в этом процессе преобладала однонаправленная ассимиляция — *ассимиляция в русскость* (чаще добровольная, чем вынужденная), а не ассимиляция русских. «Восточные славяне, в основном, мирно сосуществуя с аборигенами, постепенно заселяли все большие территории. При этом часто ход исторического развития приводил к постепенному усваиванию местным неславянским населением многих хозяйственных навыков, а затем и — языка славян, приводя к ассимиляции аборигенов». Автохтонные народы ассимилировались в русскость вплоть до исчезновения с этнической карты, как это произошло, например, с мерей, муромой и мещерой, известными теперь лишь по летописным источникам и топонимам. «В результате складывалось население, которое считало себя славянским, но несло в своем расовом составе многие черты местных

антропологических типов» (3). Успех и масштабы ассимиляции стали безусловным признанием культурного превосходства, политической гегемонии, исторического успеха и биологической силы русского народа.

Расширяя диапазон культурных реакций и социальных моделей русских, обогащая их генетически, ассимиляция в то же время вела к постепенному уменьшению иноэтничных примесей и повышению гомогенности населения Русской равнины. Краниологические материалы XVII–XVIII вв. обнаруживают, что локальные варианты отклонялись от основного для русских антропологического типа очень незначительно и проявлялись в пределах единого гомогенного типа (4). Существующие территориальные вариации современного русского расового состава не образуют, тем не менее, четко ограниченных друг от друга региональных типов (5).

Сразу же отмечу одно обстоятельство, очень важное для последующего изложения. Оно касается соотношения русских и украинцев: по антропологическим и генетическим данным — это родственные народы, но не один народ, более того, они вряд ли были одним народом. «Исходное ядро русского генофонда на карте... отчетливо противопоставляется ядру украинского генофонда... Коль скоро оба полярных генофонда — русско-белорусский на севере и украинский на юге — оказались, действительно, у генетических пределов восточнославянской общности, упрощенно можно соотнести эти пределы с венедской и антской ветвями раннесредневекового славянства» (6). Иными словами, культурная и историческая близость не может отменить того, что в биологическом смысле русские и украинцы — разные народы, хотя и находящиеся в ближайшем родстве: по обобщенным дерматоглифическим показателям «русские максимально близки и к украинцам, и к белорусам», а сама восточнославянская общность более гомогенна, чем западные и южные славяне (7).

Естественно предположить, что биологическое различие (включая различие в этнических архетипах), составило основание и исходную точку расхождения культурно-исторических траекторий русских и украинцев. В этом смысле устойчивое устремление украинцев к независимости и созданию собственного государства было вполне естественно. Другое дело, что возможность проявления этой внутренней интенции, не говоря уже о ее актуализации, в решающей степени зависела от историко-культурного контекста.

## «КРОВЬ» И «ПОЧВА»

Возможность объективного определения этничности не тождественна ее субъективному определению. Сами русские склонны определять свою этническую принадлежность по культурно-историческим и психологическим критериям. Образно говоря, «почва» для них важнее «крови».

Так, ответы респондентов на вопрос об обязательных признаках русского человека в социологическом опросе первой половины 90-х годов выстроились следующим образом (приведены в порядке убывания): «любит Россию, считает ее своей Родиной» — 87%; «любит русскую культуру, обычаи, традиции» — 84%; «говорит на русском языке» — 80%; «считает себя русским» — 79%; «имеет российское гражданство» — 56%; «имеет в паспорте запись — русский» — 51%; «имеет одного русского родителя» — 51%; «имеет русский характер» — 50% (все остальные признаки, включая принадлежность к православию, набрали меньше 50%) (8). Из этих ответов хорошо видно, что, хотя принцип «крови» имел устойчивое представительство (к «анкетно-паспортному» критерию стоит добавить 22% ответов о необходимости иметь «русскую внешность»), русская этничность определялась преимущественно по культурно-психологическим критериям и допускала самоприписывание — свободный выбор национальной принадлежности. При этом городские элитные группы наименее активно разделяли биологические критерии, имевшие наиболее широкое распространение среди пенсионеров, колхозников и, отчасти, в массовых городских группах. В целом же русское понимание русскости носило открытый и «включающий», а не закрытый и «исключающий» характер.

Похожие результаты дало проведенное приблизительно в это же время исследование Института этнологии и антропологии РАН: для русских в республиках в составе РФ (то есть живших зачастую в напряженной и конфликтной этнической среде) основным фактором внутригрупповой близости оказалась не кровь а язык, культура, родная природа, национальная психология и историческое прошлое (9).

Ситуация существенно не изменилась и в начале нового столетия. В 2001 г. в ответах на вопрос, кого можно назвать русским человеком, на первый план вышли суждения: «того, кто любит Россию» — 41%; «того, кто воспитан на русской культуре и считает ее своей» — 40%. Только 24% респондентов однозначно связали принадлежность к русскому народу с национальностью родителей (10). Хотя в последнее десятилетие наметилась отчетливая тенденция валоризации (повышения ценности) принципа «крови», особенно среди проходившего социализацию в постсоветскую эпоху молодого поколения, магистральным по-прежнему остается историко-культурное и психологическое определение русской этничности.

Однако парадокс в том, что даже рафинированно культурнические и максимально очищенные от «крови» определения русской этничности содержат имплицитные биологические характеристики.

Вряд ли открою секрет, заявив, что даже человек, блестяще владеющий русским языком и выросший в русской культуре, не будет признан русским подавляющим большинством наших соотечественников в случае резкого отличия его внешнего облика от того, который русские считают присущим себе. У визуального «чужака» не много шансов, что его сочтут русским, как бы он ни любил Россию, русскую культуру и русских женщин. И это никакой не расизм, а врожденный биологический механизм идентификации: человеческое лицо, антропологические признаки с незапамятных времен играли жизненно важную роль в формировании категорий идентичности. Насчет жизненно важной роли это несколько не преувеличение: визуальный «чужой» в древности не мог не восприниматься как угроза. Время, культура и цивилизация сгладили остроту реакций, но не элиминировали биологический механизм, обеспечивший выживание человека.

Общечеловеческая архетипическая оппозиция «мы–они» в случае с этнической группой реализуется, в том числе, через визуальное сравнение «нас» как фенотипической и этнической нормы с «ними» — отклонением от этой нормы. Причем фенотипическая норма неразрывно связана с эстетической оценкой: «мы», по упоминавшимся свидетельствам антропозстетики, подразумевается и идеалом красоты.



Формировавшийся в праистории фенотипическо-эстетический норматив и имплицитное соотнесение с ним «других» могут служить примером этнического архетипа как проявления базового общечеловеческого архетипа. Чужак фиксируется инстинктивно, без осознания различий. И чисто внешние, антропологические характеристики очень важны для этнической идентификации.

Однако внешние признаки — это *негативная* определенность, подспудное ощущение того, кто не есть «мы». А ведь «они» далеко не всегда заметно отличаются от «мы». Поэтому для этнической группы не менее важна *позитивная* определенность — ощущение того, кто есть «мы». В связи с чем весьма показательно, что атрибутирование русскости, то есть первичная рефлексия чувства внутригрупповой связи, выражается респондентами не только в неэтнических признаках общности языка и культуры, но и в таких «темных» критериях, как «русский характер», «национальная психология», «родная природа». Дать удобоваримую расшифровку этих терминов со слов респондентов не удастся, обнаружить «русский характер» наука не смогла и, вместе с тем, все, кто всерьез занимается этнической проблематикой, знают, что эти признаки «работают», позволяя с высокой точностью «вычислять» русских. В иноэтнической среде можно почувствовать, выделить соотечественника по множеству психологических, неуловимых нюансов. Но вот объяснить, *как* это происходит, рационализировать процесс подобной идентификации оказывается крайне затруднительным делом даже для ученых.

Теоретическим объяснением этой подсознательной психологической связи может служить концепция Л. Пая о «чувстве ассоциации» — бессознательной схеме, определяющей «возможность и характер или даже саму способность членов данной культуры (в данном случае культура понимается как тождество этничности. — В. С.) к коммуникации между собой, а следовательно, способность к коллективным действиям». Более того, благодаря этому чувству даже находящиеся по отношению друг к другу в состоянии скрытого или явного конфликта группы общества имплицитно согласовывают свои действия! (11) От себя добавлю, что общим основанием такого бессознательного группового единства оказываются врожденные этнические архетипы восприятия и действия.

Применительно к нашему случаю это означает, что преобладающие культурно-психологические критерии русской идентификации

в действительности имеют мощную биологическую подоплеку, а иллюзия свободного выбора русскости существует в силу неосознаваемого характера этой подоплеки. Разумеется, биологическая ассимиляция не единственный (хотя, возможно, наиболее важный) канал включения в русскость, присоединения к русским. Культурная ассимиляция также весьма важна. Однако в действительности эти пути чаще всего совпадали и дополняли друг друга: межэтнические браки вели к культурной ассимиляции в русскость, а культурная ассимиляция способствовала биологической.

По весьма приблизительным оценкам В.И. Козлова, за годы Советской власти к русским себя причислило около 15–20 млн. человек. По крайней мере половину этих ассимилянтов составили украинцы и белорусы, а главным каналом присоединения к русским были смешанные браки. Поэтому не стоит преувеличивать степень свободы перехода из одной этнической группы в другую: чаще всего это выбор национальности одного из родителей и/или смена национальности на генетически и культурно близкую, что имело место с политически мотивированной массовой записью украинцев и белорусов в «русских» в 1930-е гг. и противоположным процессом на Украине 1990-х гг.

Советский потенциал ассимиляции в русскость был весьма значителен. О его размерах можно судить по объему группы советского населения, сохранившей нерусскую национальную принадлежность, но принявшей русский язык в качестве родного. Таких русскоязычных в СССР по переписи 1989 г. насчитывалось до 15,8 млн. человек, причем основную их часть составили украинцы (8,3 млн.) и белорусы (2,9 млн.), то есть максимально близкие к русским в генетическом и историко-культурном отношении народы. В перечне принявших русский как родной язык важное место занимали также евреи (1,2 млн. человек), татары (1,1 млн.) и немцы (1 млн.) (12).

Таким образом, культурно-психологическое и биологическое определения русскости при своей внешней противоположности на практике в большинстве случаев совпадают. Говоря языком логики, объемы этих понятий не тождественны (не совпадают полностью), но в значительной части пересекаются.

Как же тогда быть с расхожим утверждением отечественной историографии о «крови», никогда не имевшей для русских первостепенного значения, что якобы и послужило ключевой предпо-

сылкой успеха русской территориальной экспансии, качественно отличавшейся от западной колонизации? Деконструкция этого влиятельного историко-культурного мифа будет осуществлена в последующих главах, сейчас же важно отметить следующее. Успех русской территориальной экспансии, относительно мирное сожительство русских с другими народами были обусловлены тем, что принцип «крови» имел не осознаваемый характер. В то же время для внешнего употребления активно использовался принцип «почвы» — культурно-психологическое определение русскости (конфессиональный признак — православие — также может быть включен в культуру), создавая у исследователей иллюзию легкого приобщения к русскости.

Однако эта интеграция никогда не была легкой, ведь смена идентичности — не важно, вынужденная или добровольная, — сопряжена с тяжелейшим психологическим кризисом. Не составляла ассимиляция и цель государственной политики. Российская империя следовала скорее линии поддержания этнического разнообразия, чем форсирования ассимиляционной политики. Русификация, обращение в православие использовались ситуативно, прагматически и никогда не носили долговременного характера. Включение элит покоренных русскими народов в имперскую элиту было важным элементом общегосударственной стратегии поддержания стабильности в полиэтнической Российской империи.

В то же время массы крестьянства — русского и иноэтничного — не смешивались между собой, даже живя бок о бок. Одной из причин этого было изменение поведения русских в имперский период. Если на ранних стадиях русской земледельческой колонизации браки с местным населением были весьма интенсивными, а метисация составляла стратегию выживания славян на местных землях, то в XVII–XVIII вв., судя по краниологическим данным, она в значительных масштабах имела место только в Сибири (13). Складывается впечатление, что в позднее средневековье русские минимизировали стратегию этнической метисации в Европейской России. Возможно, это было связано с тем, что крупные этнические группы, с которыми русские столкнулись в период имперского строительства (например, татары и башкиры) не проявляли склонности к ассимиляции. Вероятно, и сами русские, переживавшие с начала XVI в. беспрецедентный демографический подъем, не испытывали более потребности в метисации как неосознанной стратегии территориальной экспансии.

Другое дело, что часть состава нерусских этнических групп столь же инстинктивно следовала стратегии ассимиляции в русскость как средству присоединения к лидирующему народу, и русские им в этом не отказывали. Что ж, в любви всегда один целует, а другой позволяет себя целовать.

## РУССКИЕ АРХЕТИПЫ

Однако русскость это не только определенная биохимическая конституция, но и этнические архетипы восприятия и действия. В теоретическом отношении самую трудную часть исследования представляет выделение русских этнических архетипов, которые, актуализуясь в социальном пространстве и историческом времени, создавали неповторимый рисунок отечественной истории — более уникальной, чем любая другая из множества уникальных национальных историй.

Сложность не только в том, чтобы за внешним хаосом, калейдоскопом исторических событий разглядеть, обнаружить силовые линии архетипов — бессознательных *мыслеформ*, но и в том, чтобы дать им определение и название, а это вовсе не просто применительно к тому, что не имеет содержания. Здесь легко встать на путь подмены понятий, как это случилось с уже упоминавшейся С. В. Лурье.

В безапелляционной манере она перечислила этнические архетипы («этнические константы» в ее терминологии): «Прежде всего — это *«образ себя»*, или *«образ мы»* — т. е. определенное представление субъекта действия о себе, своих возможностях, своих сильных и слабых сторонах, своих намерениях. С образом себя в этнической картине мира почти всегда связывается *«образ добра»*. Затем — *«образ источника зла»*, того препятствия, которое необходимо устранить, чтобы установить желаемое положение вещей. Иногда этот образ конкретизируется в *«образ врага»*. *«Образ поля действия»* задает ту психологическую структуру пространства, в котором совершается действие. *«Образ способа действия»* определяет тот метод, которым достигается желательный результат. *«Образ условия действия»* формирует представление о том условии, той ситуации, которая необходима, чтобы действие было совершено. Наконец, *«образ покровителя»* оказывает воздействие

на формирование представления о той, внешней по отношению к «мы», силе, которая может помочь в победе над «злом»» (14).

В чем, собственно говоря, *этничность* этих «этнических констант»? Ведь все, перечисленное Лурье, составляет общечеловеческие архетипы, которые приложимы потенциально к любой, а не только к этнической группе. Что, группа, выделенная по религиозному, культурному или даже политическому признаку не имеет «образа мы», «образа покровителя», «образа способа действия» и т. д.? Конечно, имеет! Поэтому называть мыслеформы, имманентные всему человечеству, «этническими константами» (то есть тем, что присуще части человечества), да еще системой констант (сначала эту системность надо как минимум доказать), есть не что иное, как грубая теоретическая ошибка или заблуждение.

Лурье гораздо ближе подошла к пониманию этнического архетипа, когда попыталась выделить наиболее распространенные содержания, заполняющие матрицу архетипов (или, в ее терминологии, конкретные формы трансфера «этнических констант»). Однако и в этом случае то, что она полагала русской этнической спецификой, вряд ли может считаться таковым. Дабы не быть голословным, приведу выдержки из работы Лурье с собственными комментариями.

«Русский “*образ себя*” (мы-образ) существует как бы в трех ипостасях, но всегда очень связан с образом себя как *носителей добра*. (Напомню, в приведенной выше цитате того же автора говорится, что образ добра всегда связан с образом “мы”, так что это вовсе не отличительная черта русских, более того, к подобному отождествлению «мы» и добра тяготеет *любая* группа, а не только этническая. — В. С.). Эти три ипостаси можно представить следующим образом: *хранители и возделыватели добра* — крестьянская община, созидатели «великихстроек» и творцы космических ракет и т. д.; *миссионеры и просветители*, готовые всегда нести “свет миру”, в чем бы он ни заключался; *воины* — защитники добра, борцы со “злодеями” и покровители народов, которым зло угрожает». В этой цитате много патетики, но мало здравого смысла. Трудно обнаружить в мировой истории народ, время от времени не примерявший к себе эти три ипостаси, так что считать их отличительным признаком только русскости, русской истории, было бы в высшей мере претенциозно.

Столь же «высока» интеллектуальная цена других критериев русскости, «открытых» Лурье. Вот, скажем: «Любая война истолковывается (русскими. — В. С.) как оборонительная, любое внешнеполитическое действие является “вынужденной самозащитой”, любое действие на чужеземной территории — “освобождением” или “помощью”». А что, есть народы и страны, истолковывающие свои аналогичные действия иным образом? Как подметил в свое время неплохой поэт, но неудачливый историк О. Сулейменов: всюду есть министерства обороны, нигде нет министерства нападения.

Лурье полагает, что русское поле действия «мыслится как пространство без границ и препятствий». А как тогда быть с американским фронтиром, испанской и британской империями, предмет гордости которых состоял в том, что в них «никогда не заходит солнце»?

Или еще: «Враг (имеется в виду “трансфер” образа врага в терминологии Лурье. — В. С.) — этот тот, от которого надо защищаться, или, в еще большей мере, тот, от кого надо защищать». Да подобными «трансферами» история международных отношений густо испещрена с античности до наших дней! Вот и американцы начали последнюю войну против Ирака, «защищая» себя от терроризма, а иракский народ — от «кроважной диктатуры» С. Хусейна. Более того, значительная часть населения США в самом деле *так* думала.

Может быть, русская «изюминка» в следующем: «Способом действия... является “служба”, “служение”, т. е. то, что представляется русским выполнением какого-то нравственного долга перед высшим добром»? (15). Однако если «высшее добро» — эвфемизм Бога, то такого рода «служение» характерно для всех верующих людей; если это некий безрелигиозный этический идеал, то здесь по части «служения» первое место удерживает конфуцианская этика; в «служении» идеалу государства прусская государственная машина (вдохновившая Макса Вебера на формулирование идеала рациональной бюрократии) даст изрядную фору русским; в «служении» господину беспрецедентен кодекс «Бусидо». В общем, и по части «служения», «службы» русские не имеют этнической монополии.

Вместе с тем среди множества интеллектуальных трюизмов попадаются отдельные «жемчужные зерна». Богатый потенциал

таится в идее Лурье о государственности как «этнической константе» (16) или, иначе говоря, в утверждении, что государство и составляет глубинную бессознательную и специфически русскую ментальную структуру. К этой необычной мысли я вернусь несколько дальше, сейчас же отмечу, что, хотя предпринятый Лурье поиск русских «этнических констант» оказался безрезультатным, ее работа в то же время служит отличным интеллектуальным полигоном для демонстрации трудностей, с которыми сталкивается исследователь, пытающийся построить операциональную схему русской истории, исходя из гипотезы об этнических архетипах.

Естественно предположить, что успех русской территориальной экспансии был в значительной мере связан с русским архетипом восприятия пространства. Но сам этот архетип не удастся лаконично определить, поэтому приходится прибегать к языку метафор, описаний и полагаться на интеллектуальную интуицию.

Возможно, русские воспринимают пространство как «пульсирующее»? Отечественная история неоднократно демонстрировала способность русских сжиматься, а затем расширять свое пространство, причем тенденция к экспансии заметно коррелировала с витальной силой русского народа. В то же время русское пространство — качественно неоднородное в психологическом отношении. В процессе распада Советского Союза выделились территории, которые русские считают «своими», «чужими» и «серыми» (переходными). Безусловно «чужой» оказалась среднеазиатская, закавказская и прибалтийская периферия бывшего СССР. «Серые» земли — Украина и Белоруссия. Но и на территории Российской Федерации есть места, которые русские не держат за откровенно «чужие», однако не считают и вполне «своими». Например, значительную часть Северного Кавказа.

Даже Сибирь, считающаяся залогом русского могущества и синонимом нашей необъятности, вплоть до XIX в. воспринималась не как собственно Россия, а как ее азиатская колония. Окончательное превращение Сибири в часть России — не в политико-административном, а в ментальном и социокультурном смысле — произошло только при Советах. И даже если последние пятнадцать лет отказ от любых форм государственной стратегии в отношении Сибири заслужил ей репутацию «брошенной», «ненужной» территории, она все равно остается «родной» землей.

Интериоризация пространства, включение его в русскую ментальную карту не было проекцией лишь административно-политических размежеваний, расовой, этнической и культурной гетерогенности. Нетрудно заметить, что ось «родной» земли — от Смоленска до Владивостока — протекает в относительно гомогенном ландшафте, противоположность которому составляют Кавказские горы, среднеазиатские пески и (в меньшей степени) прибалтийские дюны. Д. Ливен точно подметил, что русская территориальная «экспансия (не считая Кавказа и Средней Азии) происходила главным образом в рамках одной и единой экосистемы. В отличие от англичан, голландцев, испанцев и португальцев русские до XIX в. не сталкивались с новыми мирами. Не создавала проблем для биоиммунитета даже Сибирь...» (17).

Это наводит на мысль о зависимости степени и даже самой возможности «природнения» (и, следовательно, глубины политической и экономической интеграции) осваиваемого пространства от его природно-ландшафтного наполнения. А русский ландшафт, как отмечалось в первой главе, включен в русский генофонд. «Русское национальное сознание... уверенно отождествляет природу средней полосы России как оптимальную для жизни...». «Наш генофонд так давно и тщательно вписан в природную зональность России, что она стала восприниматься национальным сознанием как важнейшая часть жизненного и духовного благосостояния народа и его генофонда» (18).

Иными словами, русский эталонный ландшафт осознанно или имплицитно накладывается на территорию, где действуют русские. Чем ближе она к эталону, тем выше у нее шанс оказаться интериоризованной, «природненной» русскими. (В этом свете неожиданно пронизательным оказывается постсоветский анекдот о том, как украинцу советуют спилить березы во дворе дома, чтобы «москаля» не сказали: «Вот они, исконно русские земли!»).

Может быть, поэтому великороссам удалась интериоризация Сибири (тайга начиналась почти сразу к востоку от Москвы и тянулась вплоть до Тихого океана), и не могло удаться «природнение» ландшафтно и климатически чужеродных (да еще и с гораздо более высокой, чем в Сибири, плотностью аборигенного населения) Средней Азии и Кавказа? Это предположение не призвано элиминировать множество иных факторов и обстоятельств русской экспансии. Я лишь хочу подчеркнуть, что эти (равно как и любые



другие) «объективные факторы» — экономика, институциональная структура, демографическая динамика, безземелье, уровень технологий — результируются в человеческих поступках, поведении людей в истории *не напрямую*, а проходя сложную *цепь опосредований* в человеческой психике. А эти опосредования формируются уже по законам самой психической деятельности: дотеоретические (обыденные) представления, а также идеи, ценностные ориентации и культурные модели выстраиваются вдоль силовых линий ментальности — архетипов.

Архетипы можно сравнить с осью, на которой вращается колесо истории: ось остается неподвижной, хотя колесо каждый раз оказывается в новом состоянии; но именно неподвижность оси обеспечивает движение колеса.

К слову, не только русские ощущали внутреннюю связь территории и ландшафта. Близким примером могут служить французы: хотя их колонизация Алжира носила массовый характер, а по историческим срокам совпадала с освоением русскими Средней Азии, они так и не стали считать Алжир частью Франции. А вот Эльзас и Лотарингия в массовом сознании всегда оставались французскими (19).

Надо честно признать, что русским очень повезло с демографической разреженностью Сибири: к моменту появления там Ермака ее аборигенное население оценочно составляло всего 200–300 тыс. человек, находившихся на более низкой, чем русские, стадии социально-экономического, военного и культурного развития. В то время как испанским конкистадорам и англосаксонским колонистам противостоял несравненно более мощный человеческий потенциал.

Продолжая поиск русских архетипов, отмечу, что в разнообразных интерпретациях и концепциях русской истории существует, пожалуй, единственный пункт всеобщего согласия, общенаучный консенсус: признание исключительной роли государства (с максимально широким диапазоном оценок этой роли) в русской истории и отечественном бытии. Это значение настолько велико, бесспорно и исторически устойчиво, что известный политический психолог Е. Б. Шестопал назвала отечественное общество «государство-центрическим» и резюмировала обширное исследование современного политического сознания в России следующими словами: «Государство и государственная власть нам (русским. — В. С.) совер-

шенно необходимы не столько функционально, сколько *психологически* (курсив мой. — В.С.)» (20). Эта мысль перекликается с упомянутой выше идеей Лурье о государстве как русской «этнической константе» — бессознательном условии русского действия в истории.

Здесь стоит пояснить, что имеется в виду не набивший оскомину стереотип о «врожденном» государственничестве русских, а захваченность, тематизированность отечественного сознания государством вообще — в его как положительных, так отрицательных коннотациях. В этом смысле государственноцентрическим оказывается и знаменитый «бессмысленный и беспощадный» русский бунт, ведь он направлен против государства! С.В. Лурье с пронзительной точностью ухватила, что только прирожденные государственники способны предстать в облике государствоворцов (21).

Русское народное государственничество и столь же народное антигосударственничество (массовый анархизм) выступают двумя полюсами, напряжение между которыми составляет нерв отечественной истории. Даже беглый взгляд без труда обнаружит, что тема «государства», «власти» находилась в постоянном фокусе интеллектуальных дискуссий, культурной и идеологической жизни России.

Поскольку государство вообще (и в России, в частности) представляет собой довольно позднее историческое образование, то говорить о государстве как русском этническом архетипе было бы по меньшей мере странно. Более точным будет утверждение, что этническую специфику русского народа составляет выраженный с особой четкостью и полнотой общечеловеческий архетип власти, реализацией которого как раз и является государство. Русская власть и отечественное общество ближе всего подошли к воплощению метафизического, предельного образа власти, как его формулировал Платон. В сущности, осмысление владычества сущего и составляет центральную задачу метафизики (22).

К пониманию метафизической природы русской власти вплотную приблизились Ю.С. Пивоваров и А.И. Фурсов, использовавшие сам этот термин для ее характеристики. Но даже если для них он и значил больше, чем яркую метафору, то это значение не развилось в новый интерпретационный подход. Признание специфического характера русской власти не исторической предпосылкой, а историческим результатом — критическим фактором ее форми-

рования исследователи сочли ордынское нашествие на русские земли, без чего, по их мнению, вряд ли было возможно объединение русских земель в едином государстве и формирование русского самодержавия (23) — недвусмысленно опровергает трактовку русской власти как метафизической. Ведь метафизика имеет дело с первопричинами и предельными вещами, метафизические образы первичны по отношению к человеческим действиям, они и есть платоновские архетипы — идеи, существующие вне пространства и времени.

Перебросив мостик от платоновских к юнговским архетипам, мы обнаружим власть, разлитую в русском коллективном бессознательном, что означает внутреннюю предуготовленность русских к строительству *такого* государства и *такой* власти, которые и получили название «русских». Дело не в том, что у других народов не было такого социального инстинкта — инстинкт власти носит общечеловеческий характер, а в том, что у русских он оказался гораздо сильнее, чем у их соседей. «Если у народа не действует государственный инстинкт, то ни при каких географических, климатических и прочих условиях, этот народ государства не создаст. Если народ обладает государственным инстинктом, то государство будет создано **вопреки** географии, **вопреки** климату и, если хотите, то даже и **вопреки** истории. Так было создано русское государство» (24). В одной этой фразе трезвомыслящего наблюдателя отечественной истории больше теоретической глубины, чем в сотнях книг академической историографии.

Были бы монголы, не было бы монголов, принципиальная возможность формирования гегемонистской державы северной Евразии крылась в русской психе, а внешние факторы лишь способствовали (или препятствовали) актуализации внутреннего потенциала.

К слову, Л.В. Милов ~~доказательно продемонстрировал~~, что специфический характер русской власти оформился задолго до монгольского вторжения, которое лишь обострило, проявило в гипертрофированном виде некоторые из ~~уже~~ присущих ей свойств (но не создало новые!) (25). Образно говоря, монголы оказались повивальной бабкой самодовлеющей русской власти, но сама эта власть была зачата и выношена до них.

О гипертрофированном властном (государственническом) инстинкте русского народа по делу и без дела, с одобрением или

порицанием не упоминал, пожалуй, только ленивый. А. И. Фурсов в «Колоколах истории» (М., 1993) проникновенно и точно описал, как коммунистическая власть интуитивно использовала властный инстинкт (этнический архетип в моем толковании) русского народа для политической социализации и укрепления самое себя: расплодившееся в стране Советов великое множество начальников и начальничков всех рангов — от ЖЭКа до союзной бюрократии — сублимировало внутреннюю фундаментальную потребность русского человека, стабилизируя тем самым социальную конструкцию, воздвигнутую коммунистами.

Можно небезосновательно иронизировать по поводу того, что в Москве 1920 года — не самого легкого для коммунистической правления года — из 1 млн. оставшихся в городе жителей почти четверть (231 тыс. человек) состояла на государственной службе! (26). Но в этом и проявилась глубинная, интуитивная мудрость нового режима: дав городскому маргиналу вкусить от таинства власти, она обеспечила его лояльность в критический для себя период. Не мог же «привластный» (очень меткое словцо Фурсова) человек выступать против собственной воплощенной мечты, пусть даже воплощение ее было убогоньким.

Россия — подлинно «властецентричный» мир, и смена систем и исторических эпох несколько не меняет (и не способна изменить) доминантной психологической ориентации русского человека: любой посетитель любого «присутственного места» посткоммунистической России может саги слагать о глубоком упоении, подлинном пароксизме наслаждения властью, испытываемом мельчайшим начальником в присутствии просителя.

Но отношениями господства/подчинения густо пропитан мир и за формальными рамками бюрократии — отечественная повседневность. Обратите внимание: если в сети повседневных, обыденных коммуникаций вы оказываетесь или выглядите хоть в чем-то, хоть на миг уязвимым или зависимым, вам непременно, в девяти случаях из десяти дадут это почувствовать — вербально или невербально. Это отражает превалирующий в России стиль общения и коммуникаций, парадоксально переплетающий униженность, подлобострастие, с одной стороны, и грубость, разнузданное хамство — с другой.

Не Левиафан отечественной бюрократии породил знакомое всем нам самоупоение и садизм — грубо откровенный или изы-

сканно рафинированный — власти, ее пренебрежение подвластным людом, а подсознательная, мощная, непреодолимая тяга русских людей к власти, к господству породила отечественный бюрократический этос. Этот тот яркий случай, когда институт воплощает дух и повседневное умонастроение общества.

В психологической перспективе постоянное и упорное противостояние русского народа власти выглядит парадоксальным бунтом против самого себя, желанием побороть непреодолимую внутреннюю жажду властвования. Но от себя не убежишь: каждый раз после кровавых судорог восстанавливалась та же самая русская власть, пусть стилизованная на новый лад. Как в позднем советском анекдоте: как ни пытался рабочий собрать для жены швейную машину из вынесенных с завода швейных машин деталей, всякий раз у него получался пулемет.

## БЕССОЗНАТЕЛЬНАЯ ЭТНИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

Если верна максима о наших недостатках как продолжении наших достоинств, то и у русского инстинкта власти нетрудно обнаружить фундаментальное положительное измерение. Глубинная психологическая нить, связующая русских людей с властью (и между собой), не рвалась даже тогда, когда страна, шла, что называется, вразнос. Не только Л. В. Милов обратил внимание на «странную так называемую «феодальную раздробленность», при которой сложилась иерархия удельных князей, очередность восхождения их на киевский стол, единое законодательство» (27). Россия, в силу необъятности своих пространств открывавшая прекрасные возможности обособления, создания на ее территории немалого числа русских государств (по примеру Германии или Италии), никогда не знала сколько-нибудь влиятельного и массового великорусского этнического сепаратизма. Феодалная раздробленность была делом тех, кого сейчас называют властвующей элитой, в то время как низовое русское общество (даже в Новгороде Великом) склонялось в пользу общерусского единства и моновласти.

Это предпочтение носило скорее бессознательный и имплицитный, чем явный и отрефлектированный характер, на него влияло множество стратегических и ситуативных факторов и обстоятельств. Но в протяженной исторической ретроспективе прослеживается

отчетливая линия поведения *масс* русских людей — как в том, чего они добивались, так и в том, чему они препятствовали и чего избегали. Приведу на сей счет обширную, но точную и яркую выдержку из И. Л. Солоневича.

«В Смутное время Строгановы имели полную техническую возможность организовать на Урале собственное феодальное королевство, как это в аналогичных условиях сделал бы и делал на практике любой немецкий барон. Вместо этого Строгановы несли в помощь созданию центральной российской власти все, что могли: и деньги, и оружие, и войска. (От себя добавлю: нести несли, но рассматривали это дело, равно как жертвовавшие на первое и второе ополчения нижегородские купчины, в качестве крайне рискованной, зато потенциально очень прибыльной финансовой операции. И расчет оправдался: после воцарения Романовых займы были возвращены отнюдь не с христианской лихвой. — В. С.)

Ермак Тимофеевич, забравшись в Кучумское царство, имел все объективные возможности обрубиться в своей собственной баронии и на всех остальных наплевать. Еще больше возможности имел Хабаров на Амуре... если бы он обнаружил в себе желание завести собственную баронию, а в своих соратниках — понимание этого, для немцев само собою понятного желания. О Хабарове мы знаем мало. Но можно с полной уверенностью предположить, что если бы он такое желание возымел, то соратники его посмотрели бы на него просто, как на сумасшедшего. Уральские люди, вероятно, точно так же посмотрели бы на Строгановых, если бы те вздумали действовать по западно-европейскому образцу. <...>

Даже и те русские, которые ухитрились угнездиться в Северной Америке — в нынешней Аляске и Калифорнии, и те ни разу не пытались как бы то ни было отделиться, отгородиться от центральной русской власти и завести свою собственную баронию» (28).

Здесь можно, конечно, возразить, что британские носители «миссии белого человека» и испанские конкистадоры, несмотря на крайнюю географическую отдаленность от метрополии, также не помышляли о политическом разрыве с ними, так что русские в этом смысле отнюдь не уникальны. Однако исторические ситуации радикально отличались. Для испанцев и англосаксов связь с метрополией имела критически важный характер ввиду колоссального разрыва в демографических потенциалах: местное насе-

ление Британской Индии, Центральной и Южной Америки на порядок превосходило белых поселенцев. Поэтому политический контроль и экономическая эксплуатация новых территорий не могли осуществляться без постоянной связи с имперской базой.

Североамериканские колонисты встали на путь борьбы за политическую независимость от метрополии только после того, как было основательно очищено от «краснокожих» пространство Нового Света. По подсчетам некоторых авторов, образование США сопровождалось самым страшным в человеческой истории геноцидом — уничтожением 100 млн. (!) коренных жителей (29). Даже если эти цифры колоссально преувеличены, в любом случае масштабы произошедшей резни намного превосходили все жестокости — реальные и вымышленные — русской истории.

Но русские в Сибири изначально находились в чрезвычайно разреженном демографическом пространстве, а сухопутные коммуникации с Сибирью были неизмеримо труднее и тягостнее совсем не идиллических морских коммуникаций с Америкой. Тем не менее уже в первой половине XVIII в., то есть спустя немногим более столетия после начала хозяйственного освоения Сибири, русские составляли две трети ее населения. Но им и в голову никогда не приходило отделяться от «материковой» России! Так называемое «сибирское областничество» — отечественная версия территориального сепаратизма — исторически сравнительно поздняя и исключительно культурно-интеллектуальная конструкция, никогда не имевшая массовой поддержки.

Что, драйва русакам не хватило? Это тем, кто в поисках лучшей доли, фарта и добычи забрался на край света — край отнюдь не пасторальный, дикий и необжитой до сих пор? И горючего материала было предостаточно — сосланного «разбойного» и «политически неблагонадежного» элемента. Даже идеологический запал имелся: старообрядцам, непримиримо враждовавшим с официальной властью и церковью, Сибирь, казалось, предоставила уникальный шанс воздвигнуть на земле свое царство «древнего благочестия», альтернативное царству петербургского Антихриста. Была теоретическая возможность осуществить нечто аналогичное тому, что пуритане организовали в Северной Америке.

Но ни в Сибири, ни в других диких углах Великороссии не было и намека на влиятельный *русский* сепаратизм, хотя, казалось, условия для его рождения существовали более чем подходящие.

Страну периодически сотрясали крестьянские войны, восстания и городские бунты, на нее накатывался хаос Смут и иноземных нашествий, Россия переживала дворцовые перевороты и царевубийства, тотальное предательство правящего класса и гражданскую войну. Но Бог миловал русских от того, чтобы «дом разделился в себе самом» — от великорусского же сепаратизма.

Почему было так, а не иначе? Вот кульминационное и резюмирующее место начатой выше выдержки из Солоневича: «Поведение Строгановых и Хабаровых объясняется не только их собственными личными свойствами, но и тем, что и н ы е свойства не нашли бы решительно никакой поддержки: и уральские, и амурские землепроходцы повесили бы и Строгановых и Хабаровых, если бы те вздумали играть в какую бы то ни было самостоятельность» (30).

Отсутствие великорусского этнического сепаратизма, удивительная способность русских к «перезагрузке» властной матрицы после тяжелейших системных кризисов, разлитое в отечественной повседневности гипертрофированное властолюбие не только доказывают наличие специфического русского этнического архетипа — мощного инстинкта власти. Они также показывают, что этот архетип служил бессознательной психологической связью между русскими — связью, ежечасно и ежеминутно проявлявшейся в ходе отечественной истории, и которую Л. Пай концептуализировал как «чувство ассоциации». Выглядит это таким образом, что люди, не сговариваясь, ведут себя схожим образом, их действия укладываются в общее русло, устремляются в одном направлении. Правда, чтоб обнаружить очертания этого русла необходимо рассматривать не ситуацию здесь и сейчас, а поведение масс людей в протяженной исторической ретроспективе.

## О КОНСТАНТАХ ВОСПРИЯТИЯ ВНЕШНЕГО МИРА

Интересный теоретический ракурс открывает обращение к упомянутому общечеловеческому архетипу «мы—они», «свое—чужое». Этнические модификации этого архетипа в снятом виде присутствуют в *геополитических кодах* — так современная политическая география определяет относительно устойчивые страновые (то есть сложившиеся в тех или иных странах) картины внешнего мира и представления о способах взаимодействия с ним (31).



Поскольку эти коды складываются под влиянием как топологических констант (географическое положение страны), устойчивых исторических стереотипов (традиционная картина мира, представление о традиционных друзьях и «извечных» противниках), так и несравненно более динамичных экономических и политических факторов, возникает аналитический соблазн отделить константы национального, странового отношения к внешнему миру от сиюминутного и преходящего. Иначе говоря, нащупать ядро геополитического кода, разглядеть за идеологическими помехами и политическими абберациями «силовые линии» русского сознания, конфигурирующие внешнеполитическое видение отечественного общества.

Такие геополитические ядра формировались в процессе истории, их нельзя называть этническими архетипами в разделяемом мною понимании этого термина. Невозможно вообразить генетически врожденное отношение к конкретному народу (стране). Но вполне реалистично представление о том, что исторически воспроизводящиеся взаимные отношения создают устойчивый образец, модель восприятия «другого». Это похоже на глубокую колею, из которой теоретически можно выбраться, но, как хорошо известно любому автомобилисту, совсем не просто сделать это практически.

Другими словами, существует отложившаяся в национальной ментальности историко-культурная предрасположенность (не архетипическая предопределенность!) к выстраиванию определенных типов геополитических кодов. Ее можно концептуализировать как *хабитус* (понятие, введенное П. Бурдьё) — не (вполне) осознаваемую устойчивую предрасположенность к определенному социальному поведению, что близко к понятию *паттерна* в психологии.

## ЗНАЧЕНИЕ ВИТАЛЬНОЙ СИЛЫ

Если этнические архетипы метафорически можно представить как магнитные линии, вдоль которых выстраивалась активность народов в истории, то сама возможность этой активности в значительной мере зависела от *витальной силы* народа. Я использую этот непривычный термин как интегральную характеристику спектра явлений, находящихся на стыке биологии и социальности. Демографическая динамика и способность восстановления жизнеродно-

го потенциала, ассимиляторская сила и высокая жизнестойкость, адаптация к суровым природно-климатическим условиям и невыносимой жизни, психическая энергия, моральная и экзистенциальная сила — все эти, присущие в той или иной мере этносу, свойства, не могут быть объяснены в рамках только социальных или биологических наук. Речь должна идти о неких закономерностях функционирования этноса именно как биосоциального явления, которые я маркировал термином «витальная сила». В похожем, хотя не идентичном смысле Л. Н. Гумилев использовал термин «пассионарность», завоевавший, несмотря на крайне скептическое отношение к нему этнологии, популярность в обыденных представлениях и даже научном дискурсе.

В отличие от Гумилева я не нуждаюсь в более чем сомнительной гипотезе о космической природе пассионарности — внеземном энергетическом импульсе, порождающем «пассионарный толчок» (32). Вместе с тем надо признать, что современное состояние науки не позволяет объяснить глубинные причины и характер функционирования биосоциальных групп. Поэтому предложенное мною раскрытие понятия «витальная сила» представляет нечто среднее между эмпирическим обобщением и научной гипотезой.

Судя по истории России и Европы, витальная сила обратно пропорциональна успеху и масштабам социального творчества. Ее надлом происходил по мере разворачивания государственного строительства и территориальной экспансии. Применительно к истории нашего Отечества можно уверенно утверждать, что, достигнутая в советскую эпоху вершина мощи и мирового влияния страны оказалась тем роковым пиком, с которого начался спад русской этнической силы.

Как бы ни чурался современный социогуманитарный дискурс постановки вопроса о биологической стороне человеческой истории, игнорировать ее первостепенное значение невозможно.

В контексте исторического анализа общепризнанна важность демографической динамики. Д. Ливен в сравнительно-историческом очерке современных (в смысле относящихся к эпохе Модерна) империй исходил из презумпции решающего значения демографии для их судьбы (33). В методологии Большого времени школы «Анналов», которая отчасти составляет и методологию моего исследования, демографии уделяется большее значение, чем полити-

ческой динамике. В оптике Большого времени XX век оказывается не эпохой двух мировых войн, нескольких революций, краха колониальной системы и т. д., а временем взрывного роста населения в некоторых регионах Земли, началом изменения расового и этнического состава населения Европы и т. д.

Однако демографические процессы не могут быть поняты только как результат воздействия природных (география, климат) и антропогенных факторов. По всей вероятности, они имеют собственную внутреннюю логику, не сводимую к внешним влияниям и, более того, порою иррациональную с этой точки зрения. Как объяснить взрывной рост великорусского населения с начала XVI в. по конец XVIII в., то есть в промежуток времени, включавший церковный раскол, Смутное время, тяжелейшие для населения петровские реформы, непрекращавшиеся войны, неурожаи и прочие типичные для России беды и напасти? И все же за этот отнюдь не вегетарианский период численность русских увеличилась в четыре раза, с 5 до 20 млн. человек! В течение того же времени численность населения Франции и Италии, находившихся в несравненно более благоприятных климатических (а Франции — и в политических) условиях, выросла несравненно меньше: французов — на 80%, итальянцев — на 64% (34). Причем Россия, Франция и Италия имели в то историческое время близкий тип воспроизводства населения.

Если природные и антропогенные факторы не только не благоприятствовали, а лишь препятствовали и мешали русским, то остается предположить, что высокая русская демографическая динамика служила именно компенсацией неблагоприятных внешних обстоятельств. Так, восстановление рождаемости до довоенных значений после I мировой и гражданской войн произошло у русских стремительно. Эти тенденции с высокой вероятностью предполагают биологическую интерпретацию: вероятно, работал не расшифрованный наукой биосоциальный механизм.

Без этого механизма не было бы и Российской империи, ведь взрывной рост русского населения пришелся именно на эпоху формирования основного ее тела, когда засевшая в лесах Московия превращалась в евразийского гиганта и вершителя судеб Европы. А для этого требовались люди, очень много людей. Людские ресурсы империи сыграли в ее геополитическом успехе не меньшую роль, чем необъятные пространства. Возможность почти неисчерпаемого пополнения вооруженных сил компенсировала техническую

отсталость, просчеты политического и некомпетентность армейского руководства, оказавшись решающим фактором успеха в затяжных войнах — от Северной до Великой Отечественной.

Никогда в истории ни у кого не было шансов взять верх над русскими в тотальной войне на русской территории. Подчеркиваю: над русскими. Ядро офицерского корпуса и основной состав армии во всех ее исторических модификациях составляли именно русские — даже тогда, когда они оказались относительным этническим меньшинством в общей численности населения империи. В условиях постоянных войн (из *каждых* трех лет своей истории два года Россия находилась в состоянии войны) выковался самой стойкий и выносливый в мире солдат — русский, которого, по словам Бисмарка, «мало убить, его еще надо повалить» (35).

Отсюда понятно, что дело не сводилось к одной лишь демографии — численности и динамике русского населения. Не меньше, если не больше значили русская стойкость и выносливость — как в бою, так и в мирное время, которое по своей тяжести мало чем уступало военному лихолетью. Эти качества не могут быть сведены только к морали и психике — собственно биологическая сторона русской стойкости была не менее важной. «Главная качественная особенность современной географии болезней сельского населения (европейской части России. — В.С.) — уменьшение заболеваемости к северу, можно думать, задана именно в позднем палеолите отбором на *высокую жизнестойкость* (курсив мой. — В.С.) с приближением к границе ледникового щита» (36). *Генетически детерминированная* жизнестойкость составила важнейшую предпосылку русского освоения пустынных и суровых пространств северной Евразии.

Конечно, аборигенные народы Арктики значительно лучше русских приспособлены к жизни на Севере. Однако подобная уникальная специализация составляет их единственное историческое и культурное достижение.

Биологическая подоплека заметна в большевистской революции и социалистической модернизации страны. Отечественное общество первой половины XX в. было молодым в прямом смысле этого слова: в конце XIX — первой трети XX вв. приблизительно половину населения европейской части России составляли люди в возрасте *до 20 лет* (37) — они и были горючим материалом революции, костяком победившей германцев Красной армии и ударной силой социалистического строительства. Можно смело утвер-

ждать, что советское общество имело не только социальный, но и биологический возраст, где биология во многом предопределила успех социального творчества.

Биологическая сила русского народа была неразрывно сопряжена с его психической силой, нервной энергией. Эти понятия, используемые в психологии для характеристики индивидуальных особенностей, можно смело экстраполировать на этнос. Взятые вместе собственно биологическая и психическая сторона составляют витальное качество народа, которое не сводимо к сумме социальных и культурных характеристик. Не приписывая этому витальному качеству значения самодовлеющего фактора исторического процесса, нельзя, тем не менее, не признать его важность — особенно в больших хронологических промежутках и в переломных фазисах истории.

## МЕХАНИЗМ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В то же время в поисках внутреннего механизма исторического развития я обращаюсь к гораздо более «субтильной» материи — культуре и ментальности, которые находятся в фокусе так называемых «культурных» теорий. Хотя типология теорий на «культурные» и «акультурные» была предпринята в рамках изучения Современности и модернизации, с некоторыми поправками и ограничениями она применима к концепциям истории, в чем легко убедиться, выяснив кардинальное различие этих теоретических подходов.

«К «культурным» теориям относятся такие, которые объясняют возникновение и развитие Современности в категориях культуры, т. е. прослеживая изменения в понимании того, что есть благо, человек, природа, общество как смысловые принципы организации человеческого общежития». В более широком смысле эти теории фокусируются на конкретных исторических обществах, исходя из презумпции их уникальности, и рассматривая их развитие как в высокой степени органичное и спонтанное, происходящее на собственной основе и вытекающее из внутренних источников. С этой точки зрения изменения культуры и ментальности предшествуют и выступают необходимой предпосылкой других изменений. Причем под культурными и ментальными сдвигами

понимается не появление новых культурных течений, теорий, а изменение в дотеоретическом, повседневном знании о социальном мире.

«“Акультурные” теории... описывают модернизацию и Современность в понятиях, являющихся нейтральными по отношению к рассматриваемой культуре. Они отражают не ее собственное изменение из одного состояния в другое, но осуществление некоторых закономерностей, принципов или формирование определенных институтов, являющихся универсальными, способными трансформировать любое “традиционное” общество и приходящими ему на смену. Такими закономерностями, принципами и институтами могут быть “индустриализация”, или “секуляризация”, или “демократизация”, или “утверждение научной рациональности” Они могут также братья теми или иными “акультурными” теориями в различных комбинациях» (38). «Акультурные» теории воплощают восходящий к XIX в. сциентистский дух — восторжествовавший в западном мире стиль мышления, утверждающий, что все культуры, общества и страны должны пройти в своем развитии общие, универсальные стадии (одни — раньше, другие — позже) и прийти к общей цели (коммунизм, либерализм и свободный рынок и т. д.).

Может показаться, что в контексте исторической науки естественный и безусловный приоритет принадлежит «культурным» теориям, акцентирующем внимание на историко-культурном контексте. Однако на деле в отечественной историографии русской истории ситуация выглядит прямо противоположной: среди бытующих в ней *теорий* преобладают как раз «акультурные», то есть рассматривающие отечественную историю как сферу проявления и реализации культурно и исторически нейтральных России универсалий, выработанных в диапазоне от стадильной теории О. Конта и учения К. Маркса об общественно-экономических формациях до концепций модернизации как вестернизации, теорий демократического транзита и т. д. В современной российской историографии отечественной истории «акультурная» парадигма чаще всего выражается в попытках адаптации «универсалий» (включая категориальный аппарат) к отечественной почве.

Альтернативная теоретическая позиция выглядит удручающе слабой: оригинальной и относительно успешной попыткой формирования автохтонной теории среднего ранга может быть названа упоминавшаяся теория «русской системы» А. И. Фурсова и Ю. С. Пи-

воварова. Исследование В. П. Булдакова о «Красной смуте» может служить примером удачной реализации одной из «культурных теорий» (восходящее к школе «Анналов» направление изучения исторической ментальности) на отечественном материале. Вот, пожалуй, и все.

Появившиеся в отечественной историографии новые оригинальные интерпретации и концепции исторических феноменов, проблем и периодов, как правило, имеют локальное значение, не носят трансисторического характера, не позволяют вскрыть сквозную логику отечественной истории. Более того, отечественная историография чуждается теоретизирования и даже концептуальной ясности, спонтанно придерживаясь позитивистской позиции, что во многом обесценивает ее незаурядные достижения.

В центре адаптации «культурных» теорий к истории оказывается проблема традиции. В современной науке она имеет две интерпретации. В трактовке, восходящей к одному из «отцов» современной социологии Т. Парсонсу, «традиция» выступает антитезой «современности», «традиция» и «современность» ассоциируются с определенными типами обществ, а переход от «традиционного» общества к «современному» или модернизация оказывается универсальным законом человеческого развития. Подобная концептуализация традиции, лежащая в русле «культурных» теорий, безосновательно приписывается М. Веберу. Хотя Вебер ввел в научный оборот категории «традиционализм» и «современность», у него они были идеальными типами, то есть аналитическими инструментами, и не представляли собою обобщений или описаний типов обществ, а потому не могли быть связаны последовательностью изменений (39).

«Культурные» теории склоняются к трактовке традиции как интегрального явления, включающего в себя неразрывно связанные традиционализм и модернизм (в другой терминологии — тенденции «институционализации» и «экспансии», или «консервативную» и «креативную» составляющие традиции). Противостояние между этими *двумя сторонами* традиции носит не абсолютный, а относительный характер, их имманентный конфликт составляет механизм саморазвития человеческой истории. Проще говоря, сохранение и изменение оказываются двумя сторонами одной медали, при этом возможность изменений не привносится извне, а имманентна культуре и социальной сфере.

В рамках этого подхода такое уникальное историческое событие, как возникновение Современности — принципиально нового в истории культурного, институционального и социополитического порядка — предстает в двойственном свете. С одной стороны, формирование современности составило экспансионистскую, креативную сторону внутреннего конфликта традиции и тем самым способствовало ее расширению и развитию. С другой стороны, будучи подверженной институционализации и тривиализации, современность сама превратилась в ригидную традицию.

В контексте моего исследования традицию в самом общем виде можно определить как культурный, социальный и институциональный порядок, рассмотренный и оцененный с точки зрения обыденного разума.

Общий вывод из этой концептуализации довольно непривычен для гуманитариев, привыкших оперировать псевдобеберовской оппозицией «традиционных» и «современных» обществ: *традиционны все общества, но их традиции различны* (причем это различие касается не только конкретного содержания традиций, но и текущего, ситуативного баланса в них прогрессистского (модернистского) и консервативного культурных комплексов, тенденций экспансии и институционализации); современность — видоизменение и развитие различающихся традиций.

Последнее утверждение находит подтверждение в концепции множественности современностей (*multiple modernities*) одного из крупнейших западных социологов, автора замечательных по своей глубине работ по традиции Ш. Эйзенштадта. Он убедительно продемонстрировал существование различных — социально, институционально и культурно реализовавшихся — версий современности. Хотя эти версии сформировались (и продолжают формироваться) вследствие конституирующего влияния западной современности, они в ряде случаев вышли за пределы исходной модели, стали альтернативой Западу и даже отрицанием его. В то же время кристаллизация современных взаимодействующих цивилизаций идет таким способом, когда «заимствование происходит на условиях занимающих» (40), что предполагает селекцию — явную или имплицитную — заимствований с точки зрения заимствующей традиции, играющей роль фильтра и подгоняющей заимствования «под себя». Пределы, направленность и сама возможность заимствований задаются принимающей традицией, и нарушение ее имманентных ограничений (в случае навязанной вестернизации или



форсированной модернизации) влечет за собой спектр разрушительных реакций.

Какова связь рафинированных «культурных» теорий с шокирующим биосоциальным пониманием этничности? Самая прямая! Существует обоснованное предположение о существовании «центральной зоны», «ядра» традиции, содержащего в свернутом виде ее ценности и символы (41). Однако в формировании культурного, институционального и социального порядка того или иного общества решающая роль принадлежала одной или нескольким этническим группам, что верно даже в отношении иммигрантских обществ, как С. Хантингтон продемонстрировал на примере США. И это значит, что «центральная зона» традиции, в свою очередь, тяготеет к этническим архетипам этого ключевого этноса (которые составляют бессознательную точку кристаллизации ядра традиции) и окрашена в его цвета.

Поэтому можно сказать, что «культурный» механизм исторических изменений, развитие традиции, в конечном счете, регулируется и направляется этническими архетипами. Разумеется, это в высокой степени абстракция, выражающая «очищенную» от приходящих обстоятельств и потенциального влияния других традиций данного общества линию исторического развития. Наиболее рельефно она проявляется как раз не в спокойное время, а в ситуации радикальной ломки. Именно тогда появляется шанс обнаружить глубинную преемственность нового и старого порядков. Внешне, на феноменологическом уровне выглядящие взаимным отрицанием, они связаны ноуменально — общим ядром.

Более того, несколько забегаю вперед, укажу, что в случае отечественной истории сама форма ломки, коренного обновления традиции составляет русскую этническую специфику.

Предпринятая концептуализация русской этничности не самоцель. Настало время показать, что она способна служить методологическим основанием операциональной схемы отечественной истории.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Восточные славяне. С.54.

2. Там же. С.74.

3. Там же. С.59.

4. Там же. С.15–16, 313 и др.

5. *Дерябин В.Е.* Методика статистического межгруппового анализа антропологических данных: рассмотрение смешанного набора признаков //Вопросы антропологии. 1995. Вып.88. С.14.

6. Восточные славяне. С.134.

7. Там же. С.78.

8. *Клямкин И.М., Лапкин В.В.* Русский вопрос в России //Полис, 1995, №5. С.87 (таблица 4). В данном случае представления россиян анализировались без учета их этнической принадлежности. Но поскольку в выборке, как и в России в целом, русские составляли подавляющее большинство, то на чистоте полученных результатов это вряд ли сказалось.

9. *Дробижнева Л.М., Аклаев А.Р., Коротеева В.В. и др.* Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 90-х годов. — М., 1996. С.313.

10. 10 лет российских реформ глазами россиян. Аналитический доклад /Институт комплексных социальных исследований РАН; Российский независимый институт социальных и национальных проблем. — М., 2002. С.77

11. *Лурье С.В.* Историческая этнология. С.160.

12. См.. *Козлов В.И.* Указ. соч. С.221, 223.

13. См.. Восточные славяне. С.15–16, 313.

14. *Лурье Светлана.* В поисках русского национального характера. С.63. Также см.: *Лурье С.В.* Историческая этнология. С.225.

15. Приведенные цитаты см. в: *Лурье Светлана.* В поисках русского национального характера. С.63–65.

16. *Лурье С.В.* Историческая этнология. С.260.

17. *Фурсов К.А.* Указ. соч. С.220.

18. Восточные славяне. С.234.

19. См.. *Колосов Владимир.* «Низкая» и «высокая» геополитика: образы зарубежных стран в представлениях российских граждан //Отечественные записки. 2002. №3. С.38.

20. Куда испаряется власть? Интервью с Е. Шестопал //Родная газета. 2003. №30 (21 ноября). С.11.

21. *Лурье С.В.* Историческая этнология. С.276.

22. См.. *Исаев И.А.* Politica hermetica: скрытые аспекты власти. — М., 2002. С.12,14.

23. См.: *Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И.* Русская Система: генезис, структура, функционирование (тезисы и рабочие гипотезы) //Русский исторический журнал. Лето 1998. Т.1. №3. С.20, 27, 28.

24. *Солоневич Иван.* Указ. соч. С.147.

25. См.: *Милов Л.В.* Указ. соч.

26. См.: *Горянин Александр.* Указ. соч. С.199.

27. *Милов Л.В.* Указ. соч. С.558.

28. *Солоневич Иван.* Указ. соч. С.149–150.

29. См.. *Горянин Александр.* Указ. соч. С.81.

30. *Солоневич Иван.* Указ. соч. С.150.

31. О геополитических кодах см.: *Колосов Владимир.* Указ. соч. С.34–35; *Туровский Ростислав.* Политическая география: Учебное пособие. — М.—Смоленск, 1999. С.65–70.

32. Трагикомическая история поиска Л.Н. Гумилевым научных доказательств космической природы «пассионарности» описана в: *Коренько Владимир.* Этнонациона-

лизм, квазиисториография и академическая наука //Реальность этнических мифов /Под ред. А. Малащенко и М.Б. Олкотт. — М., 2000. С.41—43.

33. *Фурсов К.А.* Указ. соч. С.217.

34. Данные взяты из: *Горянин Александр.* Указ. соч. С.55.

35. В феврале 1996 г автор этих строк на конференции в Вашингтоне беседовал с помощником директора ЦРУ, одним из лучших знатоков России в американском разведывательном сообществе. Тот упорствовал в своем желании понять, почему русская армия продолжает успешно воевать в Чечне, несмотря на бездарное командование, ужасное материальное обеспечение, предательство политического руководства и обструкцию со стороны российских СМИ. По его словам, ни одна армия мира, кроме русской, не способна воевать в подобных условиях.

36. Восточные славяне. С.240.

37. См.: Население России в XX веке. — М., 2000. Т.1. С.14; Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги. — М., 1992. С.105.

38. *Капустин Б.Г.* Указ. соч. С.80, 82—83.

39. См.: Там же. С.118—119.

40. *Эйзенштадт Ш.Н.* Множество современностей в эпоху глобализации //Русский исторический журнал. 1998. Осень. Т.1. №4. С.362.

41. См. об этом подробнее историографический обзор в: *Лурье С.В.* Историческая этнология. С.183—187.

---

---

## Глава 3

# РУССКИЕ ПРОТИВ ИМПЕРИИ

и

72

Хотя, согласно древней мудрости, плоть слаба, а дух силен, всякий дух нуждается в оболочке плоти. И чем дерзновеннее и возвышеннее его притязания, тем в более сильном теле он нуждается для их осуществления. Отечественная история также не может быть понята без анализа витальной силы, включая ее биологический аспект, русского народа.

В этом смысле заслуживает самого пристального внимания взрывной рост численности великорусского населения на протяжении четырех веков, с начала XVI в. В течение первых трех столетий, по конец XVIII в., число русских увеличилось в 4 раза, с 5 до 20 млн. человек, а затем, на протяжении XIX в., еще более чем в два с половиной раза: с 20–21 до 54–55 млн. человек. Любые возможные неточности в подсчетах не меняют порядка цифр. Это была поистине феноменальная, беспрецедентная для тогдашнего мира демографическая динамика, тем более, что речь идет не о численности населения стремительно расширявшейся, включавшей в свой состав новые территории Российской империи вообще, а только о динамике русских, взятых без украинцев (малороссов) и белорусов. Причем на старте демографической гонки русская позиция выглядела довольно слабой: в начале XVI в. великороссы численно уступали итальянцам более чем в два, а французам — более чем в три раза: соответственно 5 млн. русских против 11 млн. итальянцев и 15,5 млн. французов. К началу XIX в. позиции более-менее выровнялись: 20 млн. русских против 17 млн. итальянцев и 28 млн. французов.

Отсюда понятно, как непросто было вынести России затяжные наполеоновские войны. Хотя составлявшее 37 млн. человек население Российской империи превышало население Франции,

косяк русской армии составляли великороссы, в то время как «корсиканский узурпатор» кроме французов опирался и на людские резервы покоренной им Европы. Так что победа над Наполеоном была обеспечена не только численным превосходством, но, прежде всего, стойкостью и мужеством русских солдат.

К началу XX в. русские уже стали третьим по численности народом мира — 55,7 млн. человек, уступая (правда, значительно) китайцам и народам Британской Индии, зато опережая немцев (немногим более 50 млн.) и японцев (44 млн. человек). Общее число подданных Российской империи (129 млн. человек) было почти равно численности населения трех крупнейших европейских государств — Великобритании, Германии, Франции и превышало число жителей США. При этом надо отметить, что XIX в. вообще ознаменовался резким — со 180 до 460 млн. человек — ростом населения Запада, вызвав беспрецедентную дотоле европейскую миграцию, в том числе в колонии.

Но даже на таком фоне русские и Россия рельефно выделялись размерами абсолютного годового прироста населения. По этому показателю Россия в начале XX в., возможно, уступала только Китаю. Причем на российские показатели не влияла иммиграция, которая в промежутке между началом XIX и началом XX вв. компенсировалась эмиграцией. В Соединенных Штатах включавший миграцию годовой прирост населения уступал российскому.

Среди тогдашних ведущих государств Великобритания (с Ирландией) по показателю прироста населения в два с лишним раза уступала Германии и отставала от Японии. С большой уверенностью можно предположить, что хорошая демографическая динамика коррелировала с формировавшейся в германском и японском обществах начала XX в. атмосферой национального оптимизма, агрессивного жизнеутверждения и стремления к демонстрации силы. В то время как очень низкий прирост населения Франции предвещал ей нелегкое будущее.

Высокая демографическая динамика русских во многом была следствием преимущественно аграрного характера русского общества, несравненно менее урбанизированного чем западные и даже ряд нерусских народов Российской империи. Обратной стороной чего была высокая детская смертность: в конце XIX в. показатели детской смертности среди великороссов были почти в два раза

выше, чем у латышей, эстонцев и молдаван, почти в полтора раза выше, чем у украинцев, белорусов и евреев, и существенно выше, чем у татар, башкир и чувашей. Не всегда высокими физическими кондициями отличался и человеческий материал: по причине физической непригодности в России освобождалось от призыва на действительную службу 48% призывников, в то время как в Германии только 3%, а во Франции — 1%. Вероятно, одной из главных причин подобного положения дел служила неразвитость национальной системы здравоохранения.

В то же время нельзя не отметить, что по самоубийствам до-революционная Россия стояла на одном из последних мест в мире (сейчас, кстати, на одном из первых); довольно редкими в ней были и половые преступления, а это надежные показатели психического и морального здоровья нации (1).

Психическую устойчивость отечественного общества, в особенности интеллигенции, и без того отличавшейся сильнейшим невропатическим синдромом (2), подорвали испытания, выпавшие на его долю в начале XX в., прежде всего, первая российская революция, русско-японская и, особенно, I мировая война, радикально отличавшаяся от прежних вооруженных конфликтов. В критической ситуации 1917 г. истерия интеллигентских кругов оказалась чем-то вроде опаснейшего вируса, поразившего психически ослабленное русское общество.

Это утверждение далеко не метафора: существует весьма аргументированная и восходящая к одному из основоположников социальной психологии Г. Лебону теория, что масштабные радикальные социальные движения имеют своей подоплекой нечто вроде психических эпидемий — быстрое «заражение» масс людей психической неустойчивостью и специфическим эмоциональным зарядом. Поэтому революционная волна выносит наверх — и это исторически зафиксировано — множество психопатологических личностей, играющих роль своеобразных индукторов революционного энтузиазма и безумия. Однако все это еще предстояло России впереди, в фазисе разрушения империи.

В то же время на стадии ее строительства витальная сила русских, одним из важнейших проявлений чего была демографическая экспансия, послужила, вероятно, ключевой предпосылкой превращения находившейся на северо-восточной окраине ойкумены Московии в вершившую судьбы Европы Российскую империю.

Дело не только в том, что неисчерпаемые людские ресурсы обеспечили формирование самой большой европейской армии, снабдили рабочими руками строительство Петербурга и создание промышленности.

Повышение плотности населения на основной исторической территории обитания русских при невозможности интенсификации сельскохозяйственного производства вело к их оттоку на новые территории в поисках пашни, более благоприятных условий жизни и ведения хозяйства. «Объективные условия плотной заселенности Европы открывали для русских лишь путь на Юг, Юго-Восток и Восток Евразийского континента, путь опасный, трудный, но единственно возможный» (3). Первым эшелон русской территориальной экспансии была крестьянская колонизация, осуществлявшаяся вопреки противодействию московской власти, стремившейся прикрепить крестьян к земле. И только вслед за мужиками приходило государство, беря под свое крыло уже освоенные русскими земли.

Таков, в самом общем виде, был механизм русской экспансии, первоначальный толчок которой дала русская витальная сила, проявлявшаяся не только в высокой демографической динамике, но и в способности выстоять, наладить жизнь и хозяйство в тяжелейших условиях. «Российские крестьяне-земледельцы веками оставались своего рода заложниками природы <...> Даже при условии тяжкого, надрывного труда в весенне-летний период он (крестьянин. — В.С.) чаще всего не мог создать почти никаких гарантий хорошего урожая. Многовековой опыт российского земледелия, по крайней мере с конца XV по начало XX века, убедительно показал практическое отсутствие сколько-нибудь существенной корреляции между степенью трудовых усилий крестьянства и мерой получаемого им урожая» (4). Уникальная способность русских жить и развиваться в ситуации постоянного предельного напряжения, помимо недюжинной физической силы и цепкости требовала также высоких морально-психических качеств, экзистенциальной силы.

Именно витальная сила превратила русских в тягловую лошадь строившейся империи. Великорусские крестьяне были закабалены сильнее других народов и, в среднем, хуже обеспечены землей. Русские несли основную тяжесть налогового бремени: в конце XIX — начале XX вв. налоговое бремя жителей русских

губерний было в среднем на 59% больше, чем у населения национальных окраин. Даже перестав быть количественным большинством, русские все равно поставляли больше всего рекрутов в армию.

Русские в целом не представляли собой этнический субъект имперского господства. Имперская ноша русского народа не компенсировалась какими-либо политическими или культурными привилегиями и преференциями его трудящемуся большинству. В конце XIX в. доля грамотных среди русских составила лишь около 25%, что было втрое ниже, чем у народов Прибалтики, финнов, евреев, значительно ниже, чем у поляков, а в Уфимской губернии — даже ниже, чем среди татар. На православных русских не распространялась имперская веротерпимость, они не имели свободы религиозного выбора. В регионах преобладающего польского помещичьего землевладения русские крестьяне находились на положении граждан второго сорта, подвергаясь тотальной дискриминации (5).

То, что русские не были привилегированной этнической группой империи, а ее историческое территориальное ядро не было метрополией, составляло типологическую черту сухопутных континентальных империй: в Османской и Габсбургской империях также не существовало разделения на метрополию и периферию и правления имперской нации над зависимыми колониями.

На последнее стоит обратить особое внимание в связи с влиятельным отечественным историко-культурным мифом о качественном превосходстве российской имперской модели сожительства народов над всеми современными ей формами организации пространства и населения — как в морских колониальных, так в сухопутных континентальных империях. Идея морального превосходства русского цивилизаторского влияния в Азии в сравнении с колонизаторским опытом Запада до сих пор составляет одну из «священных коров» отечественной историографии: жестокости, жадности и чувству расовой исключительности западных европейцев противопоставляются справедливость, патернализм, толерантность, открытость расовому и этническому смешению, якобы свойственные русским. Если Запад завоевывал, жестоко покорял, беспощадно ассимилировал и эксплуатировал народы, то в Россию народы входили «мирно и добровольно», «ни один народ, доверивший ей свою судьбу, не исчез с карты мира», их самобытность сохранялась, большинство национальных общностей не подверга-



лось дискриминации (а нередко даже имело преференции) — таков преобладающий в публицистике (причем не только патриотического толка) и академической литературе сравнительно-исторический взгляд (6).

В действительности отечественная ситуация никогда не была столь благодатной. Хотя в Российской империи «отношения между различными народами носили заметно менее расистский характер, чем, скажем, в Британской» (7), история русской территориальной экспансии испещрена насилием — возможно, не столь масштабным, как осуществлявшееся западными европейцами, но не менее вопиющим. Довольно упомянуть резолюцию императрицы Анны Иоанновны на реляции В. Беринга о «славных» свершениях его экспедиции в Восточной Сибири: «Дай Бог, чтобы грядущие дни не увидели славы столь разрушительной» (8). Надо полагать, самодержица всероссийская знала цену «бескровному» русскому освоению Азии.

Безосновательны суждения о чуждости расизма русскому обществу. В отечественном дискурсе XIX в. нередки утверждения и теоретические построения (причем исходившие от ученых прогрессистской репутации), которые в наше время однозначно классифицируются как расистские. Это рассуждения о высших и низших расах и племенах, о расовых различиях как движущей силе истории, об опасности расового смешения и др. Конечно, их можно объяснить заметной «натурализацией» гуманитарного дискурса середины XIX — начала XX вв. вследствие влияния на него биологии (особенно учения Дарвина о естественном отборе), а также общей нагруженностью интеллектуально-культурного контекста эпохи идеями борьбы, неравенства и т. д. Но даже самые благожелательные современные интерпретации не в состоянии элиминировать отчетливую расистскую (иначе невозможно оценить идею качественного превосходства одних рас и этнических групп над другими) струю в отечественной науке и интеллектуально-культурной жизни XIX в. Поэтому «неудобные» сюжеты и высказывания игнорируются, делается вид, что ничего подобного в России не было и быть не могло.

В контексте поставленной проблемы логика массовых социальных и культурных практик (проще говоря, поведение русского народа) более важна, чем логика элитарного дискурса. Народная (в смысле спонтанная, не регулируемая и не направляемая адми-

нистративно) политика русского человека в имперский период отечественной истории следовала — скорее инстинктивно, чем осознанно — линии этнической и расовой эндогамии. Вот как характеризовал ее на примере Сибири основатель отечественной антропологической школы, прогрессивный ученый А. П. Богданов: «Может быть, многие и женились на туземках и делались оседлыми, но большинство первобытных колонизаторов было не таково. <...> Идеал у русского человека вовсе не таков, чтобы легко скрутить свою жизнь с какою-нибудь “поганью”, как и теперь еще (в последней трети XIX в. — В. С.) сплошь и рядом честит русский человек иноверца. Он будет с ним вести дела, будет с ним ласков и дружелюбен, войдет с ним в приязнь во всем, кроме того, чтобы породниться, чтобы ввести в свою семью инородческий элемент. <...> Часто поселяне различных племен живут по соседству, но браки между ними редки, хотя романы часты, но романы односторонние: русских ловеласов с инородческими камеями, но не наоборот» (9). Наблюдений подобного рода не мало: часто фиксировались ситуации, когда русские и, скажем, татары или башкиры жили в одном селе десятилетиями, между ними складывались прекрасные отношения, но этнического смешения не происходило.

Сожительство и сосуществование, но не смешение и слияние. Этот исторически сформировавшийся русский *modus vivendi*, — к слову, очень похожий на современную доктрину американской этнической политики, известную под названием «салата» (этнические «кусочки» перемешаны, но не теряют свои качества), — был обусловлен континентальным характером Российской империи и преимущественно крестьянским характером ее колонизации. «Практически беззащитные, рассчитывающие в большинстве случаев на себя, а не на покровительство государственной власти, русские переселенцы не имели никакой возможности ощущать себя высшей расой» (10). В отличие от бриттов и французов на колониальных территориях, русское крестьянство не могло игнорировать аборигенные народы, отделившись от них стенами сел-льментов или, тем более, открыто манифестировать расовое и этническое превосходство. Живущие в стеклянном доме не могли бросаться камнями в соседей.

Русская формула этнического сосуществования носила гибкий и исторически вариабельный характер: на ранних этапах отечественной истории русские придерживались стратегии метиса-

ции, позже они предпочитали эндогамию, не отказывая в то же время инородцам в возможности ассимилироваться в русскость.

Наряду с главенствовавшей тенденцией ассимиляции инородцев в русскость существовала прямо противоположная, хотя далеко не столь распространенная тенденция «обынородчивания» — культурной ассимиляции русских, перенимавших обычаи, язык и образ жизни туземных народов. Отношение власти и общественного мнения к этому было отрицательным, а стремление к документальной фиксации таких случаев свидетельствует об их редкости: то, что носит повсеместный характер и воспринимается как само собой разумеющееся, вряд ли специально отмечалось бы современниками.

Для правительства полиэтнической империи сотрудничество с элитами покоренных народов, их включение в имперскую элиту не было совсем уж безальтернативным, но выглядело более дешевым и прагматичным путем стабилизации империи, чем их уничтожение.

Важно понимать, что русская терпимость и относительно мирный характер имперской экспансии были не только следствием рациональных калькуляций, но и, не в меньшей степени, следствием силы и внутреннего превосходства, ощущавшихся русскими. Как точно подметил Д. Ливен, «легче быть терпимым, когда чувствуешь свою силу, чем когда чувствуешь свою слабость и угрозу себе» (11).

Высокая терпимость в отношении этнических и религиозных групп не составляла уникальное достояние России, а была общей чертой континентальных империй. Христианское население Балкан приветствовало османское владычество, принесшее ему мир, порядок и ограничившее жестокою эксплуатацией со стороны местных элит. Турецкая система была гораздо более терпимой к своим иноэтничным подданным, чем многие христианские государства к «собратьям во Христе». Появление хрестоматийных «турецких зверств» относится ко времени кардинального ослабления турок (составлявших демографическое меньшинство в собственной империи), капитального проигрыша Османов в конкуренции с европейскими державами и Россией, а также формирования национализма этнических групп внутри империи (как национализма покоренных народов, так и собственно турецкого). Поэтому турецкие «жестокости» (к слову, весьма преувеличенные) были проекцией нараставшей турецкой слабости, а не силы.

В то же самое время находившаяся в типологически близкой ситуации Габсбургская империя избрала средством решения национальных проблем мирный путь — расширение политических и культурных прав входивших в нее народов.

Россию среди континентальных империй выделяла особая тяжесть русского бремени. В имперском строительстве русские парадоксально оказались заложниками собственной силы.

К началу XX в. обозначился предел русской силы (имея в виду ее узко биологический аспект), что было связано с изменением этнодемографического баланса. Если в 1800 г. доля великороссов составляла 54% от численности населения империи, то столетие спустя, по переписи 1897 г. она (согласно языковому критерию) уменьшилась уже до 44,3% (17,8% составили малороссы и 4,7% белорусы). Что это значило и значило ли вообще что-нибудь?

На одном полюсе находится общий постулат о решающем значении демографии в истории современных империй и его конкретизация в виде утверждения, что снижение доли русских до уровня менее половины численности населения страны «определенно способствовало гибели империи» (12). И хотя взаимосвязь демографического фактора и судьбы Российской империи остается в этих обобщающих утверждениях нерасшифрованной, существует очевидная корреляция между кризисным положением всех трех континентальных империй и падением во всех них доли создававших их народов значительно ниже 50% общей численности населения. Этнические турки в середине XIX в. составляли лишь 40% населения Османской империи, которая к 1900 г. уже давно считалась «больным человеком Европы». В воспринимавшейся современниками слабой и обреченной «двухосновной» Габсбургской монархии немцы в начале XX в. составляли менее четверти населения (вместе с венграми — 44%; по совпадению столько же, сколько русские в Российской империи). Да и Россия, скрывавшая за блеском внешней мощи и бурным промышленным развитием острейшие проблемы и внутреннюю слабость, драматически проявившуюся с началом XX в., не выбивалась из этого ряда.

На другом полюсе находится точка зрения, полностью игнорирующая факт снижения доли русских в империи, как не имеющий значения для понимания ее исторической траектории. Вероятно, это связано с имплицитным или эксплицитным отождествлением трех восточнославянских народов — великороссов, малороссов

и белорусов, общая доля которых в численности Российской империи составляла успокоительные 66,8%, то есть две трети населения. Тем более что в тогдашней имперской классификации все восточные славяне назывались русскими. Этот взгляд оказался исторически настолько устойчивым, что даже в 1990-е гг. подавляющее большинство русских относило русских и украинцев к одной нации (13).

Но если внутривосточнославянская дифференциация и в самом деле не имела значения, то как объяснить беспрецедентную жестокость государственной политики русификации украинского населения, начиная с 1860-х гг.? По оценкам историков, ни одна этническая группа Российской империи (включая поляков) не сталкивалась с таким настойчивым стремлением имперских властей полностью подавить развитие национального языка и культуры (14).

При всем желании русских царей трудно назвать русскими националистами, а их политику охарактеризовать как проводившуюся в русских этнических интересах. Осмысление политики в национальных категориях не было свойственно имперской верхушке, правительство и образованные классы игнорировали или даже отрицали политическое значение нерусского национализма в имперском пространстве. По некоторым наблюдениям, нечувствительность к национальной проблематике вообще была характерна русским, вероятно, не вполне понимавшим силу и природу национальных чувств (15).

Составившее существенный элемент внутренней политики при двух последних царях — Александре III и Николае II — акцентирование русских национальных традиций во многом носило характер стилизации, подчеркивая даже не столько своеобразие, сколько само существование автохтонной культурной традиции в постоянном явном и имплицитном сравнении России с Западом. В социополитическом плане цель этой политики заключалась, особенно заметно при последнем монархе, в восстановлении политической стабильности и внутреннего единства страны. Русский народ казался — другой вопрос, обоснованно или нет — залогом этой чаемой стабильности.

Политика русификации и обращения в православие никогда не составляла устойчивую линию и, тем более, доминанту внутренней российской политики, ее смысл можно понять только

в контексте имперских приоритетов — сохранения политической стабильности, территориальной целостности и поддержания статуса великой державы. «Перед ними отступали все остальные (приоритеты — В. С.) — национальные, религиозные, экономические и прочие» (16). Прагматичное отношение к русификации обусловило ее неустойчивость и ситуативность: она проводилась в той мере и там, где, как предполагалось, укрепляла политическую стабильность и территориальную интеграцию, и сворачивалась, если ее результаты оказывались противоположными (17).

Еще меньше оснований рассматривать русификацию в качестве ассимиляторской стратегии формирования русской (российской) политической нации и средства трансформации Российской империи в русское национальное государство (*nation state*) по образцу европейских наций-государств. Подобная концептуализация представляет собой примитивную колонизацию прошлого — приписывание историческим персонажам и институтам не свойственных им целей и мотивов. В общеметодологическом плане это чистой воды телеология: рассмотрение истории конкретных обществ как движения в общем русле и к предзаданным целям.

Разумеется, западный опыт не мог не повлиять на практику и интеллектуальный дискурс Российской империи, для которой конкуренция с Западом и способность отвечать на его вызовы составляла в некотором смысле центральную задачу. Относительная эффективность западных наций-государств (составлявших, между прочим, ядра морских колониальных империй) в сравнении с континентальными империями, а также постоянное соотнесение России с Западом, приведшее к заимствованию западного концептуального языка, естественным образом вели к тому, что концепт «национального государства» тематизировал русский интеллектуальный дискурс. Более того, отечественные интеллектуалы предпочитали определять Российскую империю как русское национальное государство, несмотря на ее этническую, расовую и культурную гетерогенность. Отчасти эта позиция воплотилась в употреблении слов «русский» и «российский» как синонимичных и взаимозаменяемых, хотя за ними все же стояли разные понятия: термин «российский» имел скорее политическую и территориальную коннотацию, а термин «русский» — этническую (18). Таким образом, выражения вроде «русский поляк» или «русский еврей (вместо «российский поляк» или «российский еврей») и, тем более, «рус-

ское (а не российское) государство» воспринимались как вербальное отражение и закрепление русского этнического доминирования (говорить о котором вряд ли возможно), что вызывало негативную реакцию.

Однако реальность Российской империи не желала укладываться в прокрустово ложе дискурсивных образований русских интеллектуалов. Отечественным государственным мужам приходилось решать ключевую для страны проблему — сохранение политической стабильности и территориального единства полиэтнической империи — в усложнявшейся международной и внутренней ситуации. Основывавшаяся на принципе династической лояльности старая имперская идеология уже не обеспечивала лояльности подданных — ни отечественной интеллигенции, ни даже низших слоев общества. В то же время способная интегрировать русских и нерусских в некое подобии имперского гражданства политическая и социальная модернизация проводилась крайне непоследовательно ввиду стимулированной ею антигосударственной активности и сопротивления части местных этнических элит, опасавшихся подрыва своих позиций.

Относительно успешным институтом приобщения к имперскому гражданству после военной реформы 1874 г. стала российская армия, но и в этом случае правительству даже к 1914 г. так и не удалось заставить горцев Северного Кавказа нести регулярную воинскую службу (19). Хотя немало кавказских дворян было офицерами и генералами императорской армии, это не относилось к простым горцам. Пресловутая «Дикая дивизия» (официальное название — «Кавказская туземная») составляла исключение из правила.

Были ли альтернативы? Теоретически одну из них мог составить европейский путь ассимиляторского строительства политической нации и превращения если не всей империи, то ее ядра в русскую нацию-государство. В течение долгого времени безразличная к национальным различиям имперская политика жила уверенностью, что, рано или поздно, в конечном счете, инославные и иноверные подданные империи сами сольются с русскими, перейдут в православие. Но это будет естественный, органичный процесс, который не нуждается в форсировании и подталкивании, надо лишь поставить всех подданных в равные условия. Видимо, по этой причине государство никогда не вело активной миссионерской

деятельности: обращение в православие было предоставлено промыслу Божьему, а Бог, как подразумевалось, находился на стороне русских.

Однако это чувство исторического оптимизма выглядело хоть в какой-то мере реалистичным, пока в империи существовало русское демографическое большинство, потенциально способное расстроить в своем национальном теле иноэтничные примеси. В XIX в. изменилась не только демографическая ситуация. Стало понятно, что ряд нерусских народов (например, поляки, финны, грузины, армяне, татары), обладавших развитой национальной идентичностью и влиятельными элитами, не испытывал желания добровольно влиться в русское море.

Более того, выяснилось, что даже украинцы, будучи православными, все же не великороссы и не торопятся таковыми стать. Различие между двумя народами было не только очевидно, но и имело важное политическое значение, иначе им вряд ли занималась бы полиция. Ведь именно ее материалы позволили А. Ф. Риттиху провести в 1867 г. этнографические границы между русскими, украинскими и белорусскими поселениями, тогда как в этнографической карте 1851 г. все эти районы были маркированы, как населенные «русской национальностью» (20). Украинскую идентичность царское правительство рассматривало с точки зрения ее сепаратистского потенциала, который выглядел тем более опасным, что им могли воспользоваться такие геополитические конкуренты России, как Австро-Венгрия, владевшая Галицией, и Германия. Даже если угроза украинского сепаратизма серьезно преувеличивалась — в начале XX в. число приверженцев украинской идеи вряд ли превышало несколько тысяч человек интеллигенции, да и то больше в Галиции, в то время как киевская или харьковская газета на украинском языке едва могла собрать 200–300 подписчиков — сам этот факт был равносильен признанию самостоятельной украинской идентичности, имевшей массовое, низовое основание в малороссийском крестьянстве. Вопрос заключался лишь в актуализации существовавшего потенциала.

Естественное, органичное, подобное природному процессу обрусение империи не выглядело более реалистической перспективой. Форсированная масштабная ассимиляция в русскость потребовала бы жестоких мер, включая этнические чистки и даже, возможно, геноцид (наподобие геноцида армян в Османской импе-



рии), что было совершенно неприемлемо для европеизированной аристократической российской элиты и самоубийственно для страны. В этом случае на императиве политической стабильности и территориальной целостности России можно было ставить жирный крест.

Накануне 1914 г. национализм нерусских народов в действительности не представлял серьезного вызова стабильности режима и целостности империи. В программах российских политических партий начала XX в. (отражавших, надо полагать, актуальные тревоги отечественного общества) «национальный вопрос не был вопросом первостепенной важности» и находился в тени социальной проблематики. Государственное единство страны составляло *sine qua non* партийных программ, различия касались лишь степени, возможности и самой целесообразности политической автономии тех или иных регионов в рамках единого государства (21). Так что, следуя правилу не будить лихо, пока оно тихо, правительство благоразумно воздерживалось от форсированной и масштабной ассимиляции.

Но и противоположная ассимиляции политика — расширение политических и культурных прав входивших в империю народов с перспективой создания имперской федерации по образцу Австро-Венгрии — выглядела в отечественных условиях еще более невероятной. Политическая легализация статуса русских как ядра государства поощрила бы русский национализм, что, в свою очередь, стимулировало бы развитие нерусского антиимперского национализма и создало капитальную угрозу единству империи. В то же время не было второго такого народа, который можно было поставить рядом с русскими и быть уверенным в том, что его политический аппетит не вырастет. Но и сама идея федерации, вызывавшая исторические реминисценции с феодальной раздробленностью накануне монгольского вторжения, составляла кошмар имперского правительства и отечественных интеллектуалов.

В общем, идеального решения сложных проблем не существовало, а политика «старой» империи представляла собой неустойчивое сочетание элементов всех гипотетических стратегий. Очевидным было лишь одно: Россия остро нуждалась в том, чтобы в массовом, низовом основании имперской пирамиды находился краеугольный камень стабильности. Казалось, эта роль самой историей отведена русскому народу.

То внимание, которое два последних царя уделяли «русскому фактору», было вызвано если не рациональным пониманием, то интуитивным ощущением прямой зависимости между силой и стабильностью монархии, с одной стороны, и силой и стабильностью русского населения, с другой. Важно, что на первом плане здесь находился не этнический, а социополитический аспект, точно так же как в предпочтении Николаем I остзейского дворянства русскому. На дворе стояла новая историческая эпоха, когда политика из исключительной прерогативы элиты, спускаясь вниз, все больше превращалась в занятие масс.

Отсюда становится понятным смысл яростной русификации Украины. Мотивация была исключительно социополитической: если бы удалось ассимилировать в русскость 18% малороссов, то русские составили бы в империи подавляющее большинство, 62%, а потенциальный очаг сепаратизма просто исчез. Восстановление демографического русского большинства казалось имперской власти надежным залогом политической стабильности. Можно сказать, что украинцам не повезло дважды: по причине исторической, этнической и культурной близости к русским, что облегчало их ассимиляцию, а также потому, что они оказались второй по численности этнической группой империи.

Однако и сами русские к началу XX в. уже не соответствовали возлагавшимся на них надеждам стабилизирующего фактора империи. Несмотря на их витальную силу, уменьшение доли русских в населении империи вело к пропорциональному увеличению имперской ноши. Среди описаний этой ситуации доминировали политические и социальные (противостояние трудящихся и эксплуататоров, власти и общества и т. д.), но появились также первые попытки ее концептуализации в этнических категориях.

Рождение массового, низового русского национализма в лице «черной сотни» составило важную часть формирования феномена русской политики как борьбы различных политических и социальных субъектов за власть. В этом — европейском смысле — политика появилась в России лишь в начале XX в., со значительным опозданием после ее рождения на Западе. Крушение старой культурной системы (условно, династической лояльности, имперской идентичности и православия) и рождение новой чаше интерпретировалось в политических и социальных терминах.

При этом этническая концептуализация была не менее радикальной, чем социополитическая. Наметившаяся тенденция биологического определения русскости (пусть в расширительной трактовке русскости как восточного славянства) означала фундаментальный культурный сдвиг, радикальную трансформацию русского самосознания.

Магистральная идея «черной сотни» о наделении «русской народности» (восточных славян) преимущественными правами с целью укрепления имперского единства (современным научным языком ее можно определить как стремление национализации политики), объективно несла не менее разрушительный по своим последствиям заряд, чем программы леворадикальных политических сил. И не только потому, что этническая исключительность подрывала базовый принцип континентальной империи — равенство подданных. В протяженной ретроспективе, включающей дореволюционную и советскую историю, очевидно, что *континентальная полиэтническая политика могла существовать только за счет эксплуатации русских этнических ресурсов*. Не было решительно никакой возможности придать ей колониальный статус, то есть обеспечить существование русских за счет эксплуатации инородцев. Возможно было лишь обратное.

Таким образом, «черная сотня» (в более широком смысле — любой русский национализм имперского толка) воплощала фундаментальный парадокс отечественной политики: ратуя за сохранение государственного тела, манифестируя себя консервативной силой, хранительницей законности и порядка, она фактически бросала радикальный вызов имперскому единству, законности и порядку. В то же время факт появления национализма, требовавшего для русских преференций, отражал серьезное неблагополучие русского национального тела. Здесь уместно хрестоматийное психологическое объяснение: как известно, внешняя агрессивность выражает внутреннюю слабость. В начале XX в. некоторые русские почувствовали (то было именно интуитивное ощущение, а не рефлексия), что предел силы русского народа близок к исчерпанию. В этом смысле русские националисты оказались историческими провидцами, хотя предлагавшиеся ими рецепты лечения болезни выглядели не менее смертоносными, чем сама болезнь.

В отечественной истории начала XX в. «черная сотня» осталась нереализовавшейся возможностью «могильщика империи».

Ее массовая поддержка была ограниченной, наибольшее число избирателей она получила в западных провинциях страны, где существовал острый этнический (и одновременно социальный) конфликт крестьянства с польскими помещиками и мелкими еврейскими предпринимателями.

Значит ли это, что русский этнический фактор не имел важного значения в социополитической динамике начала XX в., что эта динамика определялась прежде всего внеэтническими причинами? Убежден, что эта устоявшаяся, канонизированная в историографии точка зрения нуждается, как минимум, в серьезной корректировке, если не в ревизии.

Отправной точкой новой интерпретации может послужить хорошо известное, проходящее красной нитью через отечественную историю противостояние имперского государства и *русского* народа. Впервые эта проблема была поставлена ранними славянофилами, концептуализировавшими конфликт как противостояние Власти и Земли и сфокусировавшими внимание на его социокультурном и этническом содержании. Впоследствии славянофильская модель была вытеснена более привычной нам концептуализацией социального и политического свойства, интегрировавшей, вместе с тем, славянофильскую идею социокультурного раскола отечественного общества, начиная с эпохи Петра I. Подобная интеграция облегчалась совпадением культурных и социополитических (классовых) размежеваний.

Впоследствии этническая составляющая (в смысле учета русской этнической специфики) была полностью вычеркнута из возобладавшей теоретической модели, сконцентрировавшейся на политических и социальных проявлениях конфликта, в действительности составлявших его внешнюю, экзотерическую сторону. В то же время внутренняя, эзотерическая сторона, что называется, выпала «из кадра». Между тем перманентное противостояние государства и народа с полным основанием можно интерпретировать как конфликт идентичностей — имперской и русской этнической.

Нигде и никогда государство не существует только как система институтов, административных и социополитических практик. В государственное «тело» вдыхает жизнь низовое, массовое признание. «Только широко разделяемые ценности, символы и принимаемый общественный порядок могут обеспечить низовую (базовую) легитимацию и делают государство жизнеспособным» (22).

Проще говоря, в массовом сознании должны сложиться образ государства и представление о принадлежности к нему, обеспечивающие лояльность общества в отношении государства.

Формирование государственной идентичности — поначалу спонтанное, затем — все более целенаправленное, начавшееся задолго до петровских времен, с Петра I составило чуть ли не главное содержание активности государства в идеологической сфере. Основными элементами государственной стратегии идентичности были: надэтнический, государственный патриотизм, преданность суверену (великому князю московскому — царю — императору всероссийскому), равенство всех подданных. Эти скрепы должны были объединить все народы, всех подданных вне зависимости от этничности, социального статуса и вероисповедания для обеспечения политической стабильности, территориальной интеграции и неуязвимости России перед лицом внешних угроз.

Осуществление политики государственной идентичности в имперской России трудно назвать успешным. Не получилось главного — отделить фигуру монарха от государства, а государство от Отечества. Петровские декларации на сей счет остались всего лишь риторикой, в то время как в реальности монарх продолжал воплощать государство, государство же отождествлялось с Отечеством (выступление против самодержца было не только государственным преступлением, но и, выражаясь более поздним языком, «изменой Родине»). Даже столетие спустя, в доктрине «официальной народности» графа Уварова — хронологически первой попытке сформулировать общенациональную светскую идеологию — центральное место занимало понятие «самодержавия». Стоявшее на первом месте в уваровской триаде «православие» — третируемое властью, подчиненное имперским интересам и включенное в государственную машину — находилось в откровенно мизерабельном состоянии. Ну а что такое «народность» вообще было не очень понятно. Скорее всего, она представляла отечественный ответ принципу национальности и фактору национализма, открытых Великой французской революцией; в любом случае это понятие играло вспомогательную роль в идеологической конструкции.

Формирование образа «Отечества» происходило в связи и в контексте государственной стратегии идентичности, но, в значительной мере, как антитеза ей. Существо этого различия точно

схватил Николай I известной фразой о немцах, служащих императору и русских дворянах, служащих России.

Вследствие драматического социокультурного раскола петровской эпохи у русской знати и русского народа также оказались разные отечества. «Русские дворяне... в некотором смысле... являлись, пожалуй, первыми сознательно патриотически настроенными россиянами. Но... российская знать по многим критериям в корне отличалась от российских крестьян, как, впрочем, и от купечества, и духовенства. Для дворянства Россия определялась прежде всего империей, элитными школами, гвардейскими полками и царским двором. Даже поместья знати были островками европейской культуры в океане — как тогда считалось — полуварварства» (23).

Для отечественной элиты и интеллигенции Россия идентифицировалась со всем сложным и гетерогенным имперским пространством. Для массы русского народа на первом месте находилась локальное пространство — «малая родина» (место рождения и жизни). Образ *России как географического целого* и его идентификация с *Родиной* (с большой буквы!) стал формироваться лишь к концу XIX в. По иронии судьбы этот процесс был значительно интенсифицирован I мировой войной, но окончательное его завершение произошло лишь в советскую эпоху (24).

Но если у русского крестьянства не было представления о реальной России, у него существовал ее идеальный образ, воплощавшийся в понятии «Святой Руси» — земле, где живут русские. Здесь территориальная и этническая идентичности фактически сливались.

В целом государственная стратегия идентичности оказалась довольно успешной в отношении элиты и образованных слоев отечественного общества и значительно менее успешной на его нижних этажах. Что не значит, будто у русского народа отсутствовал образ государства — таковой, безусловно, имелся, но он сформировался как спонтанная антитеза государственной политике идентичности и был связан с русской этнической идентичностью.

По аналогии с государственной идентичностью можно сказать, что этническая идентичность (отечественной исторической науке более привычен термин «этническое (национальное) самосознание») — образ собственной этнической группы, представление о принадлежности к ней и лояльность в отношении этой груп-

пы. Принципиальное различие состоит в том, что, в отличие от государственной идентичности как *sine qua non* состоявшегося или, тем более, успешного государства (института, возникшего исторически), этническая идентичность не составляет непременно условия существования примордиальной этнической группы. Тракуемая в биосоциальном ключе этничность может существовать и без осознания принадлежности к ней, без образа этнической группы, основываясь на чувстве ассоциации — бессознательном взаимодействии членов этнической группы. В этом смысле формирование этнической идентичности означает не появление самой этнической группы, а рождение рефлексии этой группы о себе самой, о том, что она представляет.

Относительно времени оформления русской этнической идентичности (то есть появления устойчивой рефлексии о русских) особых разногласий нет — чаще всего ее формирование датируют XVI–XVII вв. Но существуют различные точки зрения насчет силы этой идентичности или, иначе говоря, степени ее сформированности и значения во внутрироссийской жизни. По мнению известного отечественного историка Н. И. Цимбаева: «Подданные московского государства одинаково именовали себя «холопами великого князя», но были лишены сознания своей этнической принадлежности к единому народу. Они ощущали себя прежде всего ростовцами, рязанцами, поморами и *лишь затем* — москвитями или *русскими* (курсив мой. — В. С.; то есть получается, сознание принадлежности к единому народу, вопреки первому утверждению, все же было, хотя и находилось на втором плане). В XVI веке да и век спустя, областные особенности и сложившееся на их основе областное единство заслоняли собой сознание великорусского единства» (25).

Внутренняя противоречивость этой цитаты обретет удовлетворительное разрешение, если вспомнить теоретический постулат о множественности и ситуативности идентичностей: областные (локальные) идентичности не исключают более крупных идентичностей — этнических и государственных. В противном случае пришлось бы допустить, что, будучи мужчиной (половая идентификация), нельзя одновременно быть русским (этническая идентификация) или москвичом (локальная территориальная идентификация). Не существует и устойчивой, раз навсегда заданной иерархии идентичностей: та или иная выносится на первый план

(оказывается более важной) в зависимости от конкретной ситуации. Скажем, в общении с иностранцами или за границей этническая и страновая идентичности, безусловно, занимают ведущее положение, а в общении внутри России они уступают первенство локально-территориальным идентичностям. Не это ли объяснение отмеченной Н. И. Цимбаевым слабости общерусской этнической идентичности в сравнении с локально-территориальными?

Тем более что в сравнительно-историческом контексте английский исследователь обнаружил прямо противоположное — сильную русскую этничность и гораздо менее выраженные различия региональных диалектов, чем во Франции или Германии (26).

Историки единодушны в том, что основное содержание русской этнической идентичности, главный русский идентитет вплоть до начала XX в. составляло православие. Забавным образом эта научная позиция выглядит, с одной стороны, академическим подтверждением формулы Ф. М. Достоевского о православии как ведущем критерии русскости («русский человек не может не быть православным»), а с другой — питает уже упоминавшийся историко-культурный миф об «особом» (индифферентном к этничности) типе бытия, сложившемся в России. И то, и другое, с моей точки зрения, представляет мистификацию или затянувшееся интеллектуальное недоразумение.

В действительности не переход в православие превращал в русского, а русскость предопределяла православный выбор. До открытия принципа национальности (а это было именно теоретическое открытие объективно существовавших этнических различий, а не их конструирование), трансфер этничности происходил на другие понятия и ситуации, а его вектор определялся господствующей культурной системой эпохи. Для пред-Модерна естественным и наиболее вероятным выглядел перенос этничности на религию и династические лояльности.

Мощный стимул трансферу этничности на православие дала длительная монгольская оккупация Руси, а также давление со стороны католического Запада и языческой Литвы. Оказавшись в кольце иноверцев русские неизбежно осмысливали ситуацию этнического противостояния в религиозных категориях. Вряд ли случайно призыв постоять «за землю русскую» возродился во второй половине XIV в. в сочетании с призывом постоять за «веру православную», указывая на отождествление русскости и право-



славия (27). А в первой половине XV в., после Флорентийской унии и падения Византии русское государство вообще оказалось единственной в тогдашнем мире независимой православной державой, что усилило чувство вселенского одиночества и избранничества русских.

В каком-то смысле они очутились в положении евреев — единственного в мире (после разгрома хазаров) народа, исповедовавшего иудаизм. Русские были единственным *независимым* народом ойкумены, исповедовавшим православие. Как и для евреев, для русских их уникальная конфессиональная принадлежность стала отчетливой проекцией этничности, формой саморефлексии (этническим самосознанием до открытия принципа национальности) и подтверждением избранничества.

Русское православие не только представляло классическое «воображенное сообщество» Б. Андерсона, то есть объединение людей, которые не могут взаимодействовать непосредственно и представляют свою общность в абстрактной форме. Его характеристики приближались к тем свойствам, которые Андерсон приписывал воображенному сообществу «нации»: ограниченность и суверенность (28). Русское православие не просто осознавало, но культивировало свою особость и отграниченность от других воображенных сообществ. Не чужда была русским и идея православного народа как источника власти.

В сущности, формула «суверенитета нации», появление которой связывают с Великой французской революцией, была не формированием принципиально новой политической реальности, а лишь теоретическим открытием принципа полноты власти, известным еще со времен античных греков и фигурировавшим в дискурсах под другими названиями.

Значит ли это, что все православные были русскими? Отнюдь. Конфессиональная (православие) и этническая (русскость) общности не были тождественны, но в большинстве случаев они совпадали. Нерусские среди православных вряд ли составляли значимое меньшинство. В тогдашнем историческом контексте смена религии фактически означала смену этничности, поэтому культурная ассимиляция чаще всего шла бок о бок с биологической и в перспективе одного-двух поколений иноэтничный элемент растворялся в русском «плавильном тигле».

Характерно, что русские не стремились навязывать православие другим народам, а для последних (за исключением, возможно, евреев и язычников) крещение не являлось важным условием нормального существования в веротерпимом имперском пространстве. В отличие от Османской, в Российской империи можно было сделать успешную карьеру, не меняя вероисповедания. В своей политике отечественные правители исходили из явного или имплицитного убеждения, что нерусские подданные царя постепенно примут русскую религию, язык и образ жизни народа, обладающего превосходством и наделенного великой миссией. Другими словами, расчет делался на органичную и добровольную ассимиляцию в русскость.

В то же время жестокое государственное преследование отпадения от православия объяснялось стремлением власти сохранить этническое ядро империи и, главное, нейтрализовать русскую этническую оппозицию имперской власти. Боялись, прежде всего, массового перехода крестьянства в раскол, воплощавший идеологическую и (судя, по активному участию раскольников в крестьянских восстаниях и бунтах) политическую оппозицию имперской власти. Несмотря на все преследования (а до реформ Александра II положение раскольников было несравненно хуже, чем, скажем, лютеран и иудеев) раскольники сохраняли значительное влияние в отечественном обществе: по некоторым оценкам, к началу XX в. староверы составляли от одной пятой до четверти великорусского населения (29).

Раскольники были лишь вершиной айсберга, представляя наиболее четкое, завершенное и радикальное выражение преобладавшей в русском народе массовой этнической оппозиции российскому государству и имперской идентичности. На доминировавшем культурном языке эпохи эта оппозиция осмысливалась в религиозных категориях. Религиозно-мифологическое ядро этнической оппозиции составляла ассоциировавшаяся с русским народом концепция «Святой Руси» (не случайно она впервые была артикулирована в народной культуре именно в XVII веке — веке религиозного раскола), противопоставленная народному же видению имперского государства (возможно, в народном сознании образ имперского государства в какой-то мере ассоциировался с концепцией «Москвы — третьего Рима») (30).

Это размежевание носило и горизонтальный характер: «Святая Русь» была метафорой, олицетворением простого народа; правящие и образованные слои связывались с имперской идентичностью, с государством. Обращаю внимание, что здесь реконструируется именно народное, массовое видение ситуации, не задававшееся дифференцированными оценками реального положения дел.

Для понимания социальной (в том числе революционной) динамики в имперской России принципиально важны два обстоятельства. Первое: у массового русского антигосударственного протеста имелось мощное религиозно-мифологическое ядро, составлявшее ключевой элемент досоветской русской идентичности. И потенциальный успех любой политической силы в имперской России в решающей степени зависел от способности достучаться до этого ядра, пробудить таившиеся в нем энергии. Второе: в более широком плане можно предположить, что корни *любых* форм и проявлений русских антигосударственных выступлений, в конечном счете, восходят к русской этничности, даже если на внешнем, феноменологическом уровне эти связи не всегда прослеживаются.

Может показаться, что автор этих строк солидаризуется с теоретической позицией, обнаруживающей системообразующую черту российской цивилизации в ее перманентном расколе, давлении низовой, массовой архаики на высокую культуру и цивилизованные формы жизни (31). Однако моя позиция радикально иная: я не склонен абсолютизировать раскол власти и общества, имперского государства и русского народа, придавать ему извечный (архетипический) характер. За расколом обнаруживается глубинное единство той же власти и того же народа, их конструктивное и успешное взаимодействие.

Власть и народ, простолюдины и образованные классы были объединены вероисповедным единством, которое носило во многом формальный характер: декоративное христианство вестернизированной элиты и народное православие (фактически двоеверие) крестьянства, чем дальше, тем больше выглядели разными религиями. Общество скреплял по вертикали мощный и влиятельный религиозно-культурный миф национального избранничества, русского мессианизма. Он выражался в разных формах («Святая Русь», «Москва — III Рим», имперская миссия и др.), ему в равной мере были подвержены элитные (32) и массовые слои. Более того,

как точно подметила С. В. Лурье, даже апеллировавшее к *исключительной* отсталости России отвержение русской уникальности парадоксально имело мессианскую подкладку (33). Наконец, объединяющим началом выступала фигура самодержца — своеобразного медиатора между государством и народом. Однако наряду с институциональными и культурными скрепами имелись еще и глубинные ментальные связи — не столь заметные, зато очень действенные, обнаруживающие себя в духе национальной истории.

Если не может устоять дом, разделившийся в себе самом, то каким образом в ситуации вечного противостояния власти и народа была создана огромная и довольно эффективная империя, а Россия стала успешной (в рамках Большого времени) страной? Эти исторические достижения нельзя объяснить давлением власти на народ, ведь русский народ был отнюдь не по-христиански смирен, безропотен и покорен власти, а, наоборот — язычески буен, своенравен и мятежен. И все же Россия, природа и история которой в избытке предоставляли возможности для сепаратизма, никогда не сталкивалась с массовым, низовым великорусским сепаратизмом.

Вновь и вновь я подчеркиваю существование бессознательной этнической связи русских, объединявшей их поверх социальных и культурных различий, и обнаруживающейся в целом ряде основополагающих явлений отечественной истории.

С. В. Лурье вскрыла эту связь на примере русской крестьянской колонизации, показав, как «бегство народа от государства выливалось по сути в выполнение важнейшей по тем временам государственной функции — колонизации новых земель» (34). Это согласование действий не носило рационального характера, а получалось как бы само собой разумеющимся, органично вытекая из русской жизни.

Л. В. Милов обнаружил в крепостничестве не только жестокую форму эксплуатации, но и систему выживания российского общества в неблагоприятных условиях жизни (35). Крепостничество — беда и позор русской жизни — в то же время являлось функциональным институтом, сочетавшим интересы крестьянства, знати и российского государства в целях выживания общества и государства. Не будь у всех этих сторон, в первую очередь у крестьянства, глубинного, интуитивного ощущения общей заинтересованности, то вряд ли такой жестокий (хотя исторически необхо-

димый) институт отечественного бытия мог состояться и функционировать. С точки зрения крестьянства, его моральное оправдание составляла идея служения всех слоев и классов российского общества: тягла не мог избежать ни мужик, ни дворянин — всяк служил на своем месте. И поэтому освобождение дворянства от обязательной службы указом Петра III (при сохранении крепостнических порядков для низов) подрывало моральную санкцию существовавшего порядка.

Нельзя сказать, чтобы эта опасность не ощущалась имперскими элитами. Иначе трудно объяснить стремительное (в два раза) уменьшение доли крепостных людей в течение всего шести десятилетий, с Павла I до начала реформ Александра II. Тем не менее, как говорится в анекдоте, осадок остался: чувство глубокой несправедливости, затянувшейся почти на век и допущенной в отношении, в первую очередь, русского народа, явно не способствовало его лояльности власти. Ведь именно в корневой, исторической России объемы и тяжесть крепостной зависимости были больше, чем на других территориях империи, где и освобождение крестьян произошло раньше.

Но даже в острейших антагонизмах сохранялась глубинная связь народа и государства. Выступление против актуального государства всегда шло с позиции — эксплицитной или имплицитной — идеального государства, сущее отрицалось с точки зрения должного. В яростных крестьянских войнах, в бунтах и хаосе Смут прослеживается образ чаемого народом социального и политического порядка, который носил стихийно-демократический характер. «Русская земля» мыслилась федерацией самоуправляющихся крестьянских миров с формирующимися снизу вверх (то есть путем делегирования власти) нестеснительными централистскими инстанциями. Царь — да, но мужицкий. Не правда ли, эта модель не так уж далека от западной идеи «суверенной нации»? Не случайно С. Зеньковский назвал подобные взгляды «концепцией христианской демократической нации» (36).

Народный нормативистский образ государства противопоставлялся актуальному имперскому государству — жестокому организатору социального порядка сверху вниз, подчинявшего интересы и жизнь русского народа фискальным и военным нуждам империи.

Народная, субстанционально демократическая альтернатива представляла кардинальный вызов самому существованию имперского государства, оставляя слишком мало места для компромиссов между империей и русским народом. Материально небогатая, чрезвычайно обширная, этнически и культурно гетерогенная континентальная сухопутная империя существовала благодаря эксплуатации русских этнических ресурсов. Со стороны это бремя выглядело почетным и ответственным, но вряд ли оно импонировало низовому люду. И совершенно точно не принесло счастья русскому народу. «Победные парады в Берлине и в Париже, в Вене и в Варшаве никак не компенсируют тех страданий, которые принесли русскому народу Гитлеры, Наполеоны, Пилсудские, Карлы и прочие. Победные знамена над парижскими и берлинскими триумфальными арками не восстановили ни одной сожженной избы» (37).

Фундаментальный парадокс отечественной истории состоял в том, что империя была проекций русской витальной силы и, в то же время, питаясь русскими соками, подрывала и истощала эту силу. «Политические, экономические и культурные институты общества, которое могло бы стать русской нацией, были уничтожены или истощены потребностями империи, тогда как государство слабело от отсутствия этнической субстанции, неспособности по большей части вызвать к себе лояльность даже русских, не говоря уже о нерусских подданных» (38). То была подлинно роковая связь, которая на исходе XX в. привела к истощению русских сил и окончательной гибели империи.

В начале XX в. практически линейная зависимость между состоянием русской этничности и империи не осознавалась подавляющим большинством отечественных интеллектуалов и политическим классом, не формулировалась хотя бы в виде интеллектуальной проблемы. Во многом это непонимание было вызвано таким специфическим свойством человеческой психики, как склонность онтологизировать, придавать извечный характер актуальным (сейчас и здесь) ситуациям: политический строй подвергался нападкам, но Российская империя выглядела незыблемой, а русские казались неисчерпаемым резервуаром ее могущества.

Доминировавшее в начале XX в. осмысление ситуации в социальных и политических категориях (рабочие vs буржуазии, общество vs самодержавия) было верным лишь для внешнего, феноме-

нологического уровня русской истории и не задевало ее внутреннюю пружину, главный нерв — состояние и эволюцию русской этничности.

Исключения все же были и, по иронии истории, к ним относились силы, противостоявшие прогрессистскому натиску и имевшие в обществе репутацию реакционных. К интуитивному пониманию решающего значения русской этничности для судьбы империи, подошел Николай II, что обнаруживается в его попытках укрепить их связь, реанимируя старые (и уже растерявшие свою жизненную силу), допетербургские образцы взаимодействия власти и общества. Ощущение важности русской силы как ключевого фактора имперского порядка в стране было присуще и «черной сотне».

Накануне гибели «старой» империи русским в массе своей не было характерно ощущение имперского перенапряжения, которое столетие спустя стало капитальной причиной гибели СССР. Они чувствовали себя победоносным, полным сил и уверенно смотрящим в будущее народом, чему немало способствовала высокая демографическая динамика русского населения. Когда в 1899 г. Отделение этнографии Императорского русского географического общества занялось изучением вопроса о патриотизме простого народа (в современном понимании это был социологический опрос), то преобладающий тон ответов резюмировался следующей фразой: «В народе существует глубокое убеждение в непобедимости России» (39). Хотя поражение в русско-японской войне подорвало этот массовый оптимистический пафос, нет оснований сомневаться, что, в отличие от конца XX в., в его начале русские совсем не собирались распрощаться с империей, не были готовы «отряхнуть ее прах» со своих ног.

Но что на деле могло означать осуществление русского народного утопического идеала государства, как не гибель империи? Взыскивавший грядущего «царства любви и истины» радикальный народный утопизм вел к радикальному же разрушению существовавшего порядка. Но и любая другая — даже самая умеренная — модернизация имперской политики в демократическом русле с неизбежностью подводила к роковому для нее вопросу: за чей счет она будет существовать?

Невозможно представить, чтобы в демократической стране русские (численно превышавшие любой другой народ империи),

в здравом уме и твердой памяти голосовали за продолжение собственной дискриминации. Точно так же им было бы невозможно отказаться от своей культурной исключительности, мессианизма и права первородства в государстве, которое они создали, считали своим и ответственность за которое никому не намеревались передать. И что же, такая гипотетическая демократия с русским лицом (несравненно более русским, чем принципиально надэтническая власть «недемократизированной» империи), с полученными демократическим путем преференциями для русских была бы покорно и безболезненно принята нерусскими народами, вкуче превосходившими русских численностью? Притом, что некоторые из этих народов имели традицию собственной национальной государственности, а ряд нерусских элит питал далеко идущие амбиции, первоначальный толчок которым был дан еще в лоне «старой» империи, расширившей горизонт интегрированных элит. В условиях политической модернизации демократического толка можно легко вообразить усиление и трансляцию этих амбиций на низовой, массовый уровень.

Существует нечто вроде «закона колониальной неблагодарности», как назвал его Д. Ливен: если империи осуществляют цивилизаторскую миссию, заботясь об образовании и развитии включенных в них народов (а Российская империя занималась этим всерьез, хотя, конечно, и не в таких масштабах, как наследовавший ей Советский Союз), то эти народы рано или поздно выступят против модернизировавшей их империи.

Не было бы спасением и формирование российской политической нации: все нации европейских государств, формировавшиеся из более однородного, чем Российская империя, этнического материала, тем не менее прошли через жесткую ассимиляцию, которая в России объективно была невозможна.

Уверенно можно утверждать, что в Российской империи *никакая* последовательно демократическая модель не имела шансов реализоваться, а включение демократических элементов в имперскую политику лишь подрывало ее целостность и распаляло политические аппетиты, провоцируя «революцию ожиданий». Политическая стабильность и территориальная целостность империи или свобода и демократия без империи — этот невыносимый выбор преследовал страну на протяжении двух последних столетий. И он же поставил русских перед «дьявольской альтернативой»: бунто-



вать против имперского государства во имя русского этнического идеала или подчиниться этому государству, отказавшись от русской мечты. В исторической ретроспективе хорошо заметно, что спектр реализовавшихся в стране в течение двух-трех последних веков массовых социополитических реакций группировался вокруг двух этих полюсов, а не растягивался между ними.

В отечественной историософии эта ситуация отсутствия реальных (а не гипотетических) компромиссов была точно схвачена концепцией о слабости, неукоренненности «срединного пути» в России, о русской истории как шарахании от полюса рабской покорности и обожествления государства к полюсу разрушительного беспощадного антигосударственного бунта и наоборот.

Такая полярность была вызвана не врожденной «дефектностью» русской этнической субстанции, якобы лишенной демократических потенций (таковые как раз имелись) и «обрекающей» русских на диктатуру (история скорее опровергает, чем подтверждает идею обреченности тех или иных народов на определенное политическое устройство и тип ценностей), а фундаментальной логикой сосуществования империи и русского народа.

Двигающиеся от одной крайней точки к другой «качели» задавали внутренний ритм отечественной истории. В этом смысле большевистская революция может служить бесподобным примером его умелого политического использования: поначалу, когда большевики шли к власти, они разжигали страсти, направляя русскую бунтарскую, анархическую стихию против актуального государства. Затем, когда сами стали властью, беспощадно ее обуздывали. Впрочем, общество, к тому времени вволю вкусившее кровавой вакханалии и разрухи, пришло к осознанию банальнейшей из истин: даже плохое государство лучше его отсутствия. Но не большевики запустили эти «качели», они оказались единственной политической силой, интуитивно уловившей логику русских исторических циклов и воспользовавшейся ею, что делает честь их интеллектуальным и волевым качествам, хотя не может не навлечь морального осуждения.

А вот режим Б.Н. Ельцина играл лишь на одной — анархической фазе цикла, в то время как государственническую оседлал его преемник, президент В.В. Путин.

Составляя внешнюю антитезу, государственнический и бунтарско-анархический полюса соединены осью государства, указы-

вающей на их глубинное родство. «Даже в своих крайних антигосударственных проявлениях русские оставались, по своей сути, государственниками. Да и кто, кроме прирожденных государственников, способен предстать в облике государствоборцев? У тех народов, у которых парадигма государства была менее выражена в сознании, не найдется никогда народного анархизма» (40). Государство для русских — не парадигма сознания, а бессознательная структура — русский этнический архетип.

Именно бессознательный характер русской этнической связи объясняет, почему удерживалась на плаву вибрировавшая от социального и политического напряжения Россия, почему ее не только не разорвало между двумя полюсами, но, наоборот, она поступательно и успешно развивалась в течение сотен лет. Ведь взгляд на отечественную историю с некоторой дистанции, с отстраненной (назовем ее объективистской) позиции однозначно свидетельствует: по всем объективным условиям наша страна не имела шансов стать одним из ведущих государств современного ей мира, ее вообще не должно было возникнуть. И если она состоялась и оставалась, вплоть до последнего времени, успешной страной, значит, этому существует рациональное объяснение — но кроющееся не вовне, не во внешних обстоятельствах, а внутри нас, русских.

Следуя максиме о недостатках как продолжении достоинств, в самих себе, а не в чьих-то кознях и заговорах должно искать корни собственных бед и поражений. Как, в таком случае, объяснить периодически случавшиеся в отечественной истории колоссальные срывы, ставившие под вопрос само существование России? И главный из срывов имперской России — в начале XX в.?

В моей теоретической модели его фундаментальной причиной послужило не социальное и политическое напряжение — современная историография, в общем, не склонна считать этот фактор решающим для крутого изменения исторической траектории страны — а культурное и этническое отчуждение между верхами и низами общества, обрушившее их бессознательное взаимодействие, и, тем самым, придавшее объективно не столь уж серьезным конфликтам неразрешимый характер.

Начавшееся с петровской культурной революции (а, в некотором смысле, еще с церковного раскола середины XVII в.) расхождение между верхами и низами общества привело к тому, что на исходе Российской империи привилегированное сословие и низ-

шие классы жили в различных культурных контекстах и пространственно-временных континуумах. Достаточно сравнить циклическое время и локальное, замкнутое пространство крестьянской общины с линейным временем и большим, разомкнутым пространством европеизированной элиты.

Парадоксально, но факт: это чудовищное размежевание усугублялось той культурной картиной мира, которую сфабриковали и разделяли русские образованные слои! Как известно, славянофилы резервировали право называться народом только за крестьянством. Из понятия «народ» исключалась не только вестернизированная элита, в моральной и культурной коррумпированности западным образом жизни подозревались городские слои населения *in toto*. В этом смысле славянофильская интерпретация народности, питавшаяся концепцией *Volkish* немецких романтиков, оказалась гораздо радикальнее, чем у немецких учителей: те никогда не исключали образованные слои немцев из германского народа.

С подачи славянофилов крестьянство стало представляться квинтэссенцией русскости. В национальном литературоцентричном дискурсе эта позиция окончательно возобладала усилиями великой русской литературы, в которой со второй половины 40-х годов XIX в. важное место заняли фигуры олицетворявших «народ» крестьянина и «маленького человека», противопоставленных вестернизированной элите (41).

В русских радикальных политических кругах «исключающая» концепция нации славянофилов (в основе которой лежало культурное размежевание) была совмещена с восходящей к временам революционного террора во Франции конца XVIII в. тенденцией исключения из нации политических оппонентов. Вследствие этого в последующих социальных и политических практиках победившего большевизма человек элитарной (читай: западной) культуры с высокой вероятностью оказывался потенциально нелояльным «власти трудящихся».

Но если значение культурного разрыва для объяснения причин русской смуты начала XX в. неоднократно фиксировалась историографией, то важность его сопряжения с этническими разграничениями до конца еще не осмыслена. Между тем, основывающееся на анализе предреволюционной культурной ситуации утверждение, что узкая прослойка вестернизированной элиты и автохтонное трудящееся большинство оказались фактически раз-

личными народами, имеет не только метафорический, но и прямой смысл.

Тот факт, что в конце XIX в. среди потомственных дворян великороссы составляли лишь треть, по численности существенно уступая взятым вкупе польским шляхтичам, остзейским баронам и грузинским князьям, обычно интерпретируется как доказательство полиэтнического характера Российской империи и невозможности определения русскости по крови. По данным переписи населения Российской империи 1897 г. только половина из 1,22 млн. потомственного дворянства обоего пола считала своим родным языком русский, то есть по этому важному критерию этнической идентификации лишь половина правящего сословия империи имела номинальную этническую связь с русским народом. В то же время русское крестьянство — главная опора и тягловая сила империи — в имперский период отечественной истории сохраняло этническую гомогенность. Таким образом, по мере строительства империи формировался не только культурный, но и *этнический* разрыв между интернациональной по своему составу (и преимущественно нерусской) имперской элитой и основной частью русского народа.

Даже если владения большинства нерусских дворян находились за пределами этнической России — в Прибалтике, Грузии, на территории Царства Польского — это сглаживало, но не снимало остроту конфликта. Этнические нерусские занимали важные позиции в чиновничьем аппарате и армейском корпусе, что резко повышало шансы русских подданных империи встретиться с ними.

На высших ступеньках административной лестницы это были прежде всего немцы (напомню, что немец в России исторически вообще был синонимом иностранца). В XVIII–XIX вв. они составляли более 17% высшей имперской бюрократии, причем их концентрация была наиболее высока в ключевых ведомствах. «Даже в [18]80-е годы, в период наибольших успехов панславистской пропаганды, около 40% постов в высшем командовании занимали русские немецкого происхождения. В некоторых министерствах их доля была еще выше: в Министерстве иностранных дел — 57%, в военном министерстве — 46%, в Министерстве почт и телеграфа — 62%. В целом треть всех высших государственных чиновников, армейских и морских офицеров и членов Сената были лицами немецкого происхождения, в то время как немцы составляли не более 1% населения России». Объяснение этого обстоятельства

административной компетентностью немцев, их политической лояльностью именно институту российской монархии, а не стране — России — грешит неполнотой. Более важно, что, будучи этнически чуждыми основной массе населения, германцы выглядели наиболее эффективным орудием его эксплуатации и подавления: «Некоторые цари, например Николай I, совершенно справедливо полагали, что немцы — более подходящее орудие для проведения угнетательской и непопулярной политики, чем русские...» (42).

Более того, самоидентификация с иностранцами, этническое отчуждение от управляемого большинства со времени петровских реформ составляли сознательную стратегию российского правящего сословия, включая его русскую часть! (43) В тех европейских государствах, где аристократия также включала значительные иноэтнические группы, культурная (не социальная) дистанция между нобилитетом и простым народом уменьшалась (в Англии уже в XIV в. французский язык был в значительной мере вытеснен английским). В России же она драматически увеличивалась, и это различие культивировалось.

Социополитическое и культурное отчуждение между верхами и низами наложилось на этническое размежевание, придав вызревавшему конфликту дополнительный драматизм и, главное, характер национально-освободительной борьбы русского народа против чуждого ему (в социальном, культурном и этническом смысле) правящего слоя.

Не только для русских из низших слоев общества социальные отношения приобрели очевидный оттенок национального угнетения. Даже члены правящего сословия переживали глубокое унижение в связи с немецким засильем (достаточно вспомнить знаменитое прошение покорителя Кавказа генерала Ермолова: «Государь, произведите меня в немцы!»). Роль немцев в российском обществе была настолько значительна, что в отечественном литературоцентричном дискурсе русские национальные свойства определялись как антитеза немецким: русская душевность и человечность, спонтанность и непринужденность, безалаберность и коллективизм противопоставлялись немецкому порядку и бездушию, рационализму и прагматизму.

По иронии истории, ощущение национальной зависимости и уязвимости резко усилилось в образованных классах в конце XIX в., когда Россия начала колоссальный экономический рывок.

Оборотной стороной бурной российской индустриализации, беспрецедентного роста хозяйственной мощи оказалась критическая зависимость страны от иностранных инвестиций, внешнего капитала, западного технологического и управленческого опыта.

Российская элита осмысливала ситуацию как новый драматический вызов *извне*, со стороны традиционного альтер эго России — Запада, и предлагала спектр ответов на него. Но для основной массы населения главный вызов исходил *изнутри* — от вестернизированного правящего сословия, воплощавшего социальное угнетение, культурное отчуждение и во многом этнически чуждого простым русским. Присущее правящей элите стремление выглядеть, как иностранцы, усиливалось большой долей нерусских в ее рядах.

Не удивительного, что русская низовая масса воспринимала имперскую элиту как чуждую, почти оккупационную силу. «Крестьяне старались избегать любых встреч с представителями государственной власти, как огня боялись попасть в суд, хотя бы в качестве свидетелей, государственным учреждениям не доверяли, в их легитимности сомневались, а при появлении представителя власти в деревне прятались по избам». «Отношение народа к властям порой напоминало отношение к оккупантам» (44).

В течение всего лишь трех месяцев после Февральской революции в России были сожжены и разграблены все без исключения помещичьи усадьбы — вне зависимости от степени либерализма их хозяев и прогрессивности методов ведения хозяйств, на штыки были подняты сотни офицеров — многие из которых в ходе войны в подлинном смысле слова стали братьями по оружию мужикам в серых шинелях. И это слишком явно указывает: в перспективе народного мнения российская элита представляла собой не просто иное сословие, а иной — чужой и враждебный — народ. Со своими так не поступают.

Глубинную психологическую подоплеку смуты начала XX в. очень точно уловили евразийцы, назвавшие ее «подсознательным мятежом русских масс против доминирования европеизированного верхнего класса ренегатов» (45). Отсюда не так уж далеко до оценки революции как национально-освободительного восстания русского народа.

Симптоматично, что в советском пропагандистском языке большевистская революция поначалу называлась именно «(Вели-

кой) *Русской революцией*», вызывая неизбежные коннотации с русской этничностью. Это тем более примечательно, что коммунистическая политика, мягко говоря, не благоволила к народу, давшему имя революции. И лишь спустя десять-пятнадцать лет после самого события было канонизировано тщательно очищенное от всяких этнических коннотаций наименование «Великая Октябрьская социалистическая революция».

Русский этнический бунт возглавила одна из наиболее вестернизированных по своей номинальной доктрине политических партий — большевистская, для которой любая национальная проблематика была третьестепенна по отношению к социальной, члены которой гордились своим интернационализмом, и доля нерусских в руководстве которой была, вероятно, наибольшей в сравнении с любой другой общероссийской политической партией. Однако это была лишь внешняя сторона. В действительности именно большевики оказались наиболее созвучны — причем в значительной мере произвольно, спонтанно, а не вследствие сознательного и целенаправленного подстраивания — глубинной, внутренней музыке русского духа.

Во-первых, большевизм был результатом интеграции на русской почве рафинированного западного марксизма с автохтонной народнической традицией. Возник новаторский синтез — «марксистский по начальному импульсу, но позаимствовавший у народников идею о революционности крестьянства, о руководящей роли небольшой группы интеллигентов и о “перепрыгивании” буржуазной стадии исторического развития для перехода непосредственно к социалистической революции. Пожалуй, более разумно считать большевизм той формой революционного социализма, которая лучше всего приспособлена к российским условиям...» (46). Большевизм был адаптирован к отечественной почве несравненно лучше любой другой заимствованной идеологии (например, кадетского либерализма).

Во-вторых, составлявшая мифологическое ядро марксизма мессианская идея избранничества пролетариата удачно корреспондировала с мощным и влиятельным религиозно-культурным мифом русского избранничества, русского мессианизма. Общая мифологическая матрица позволяла без труда транслировать марксистскую доктрину в толщу русского народа. Тем более что

у него имелась собственная версия мессианского мифа — «Святая Русь», отличная от мессианизма верхов.

Хотя мифы мессианского избранничества исторически существовали у многих народов, порою (например, среди религиозных евреев и многочисленных фундаменталистских протестантских сект США) сохраняя силу и по сей день, русский случай начала XX в. выделяется тем, что, обладавший огромной энергией, еще не выродившийся низовой, стихийный мессианизм русского народа срезонировал с кабинетными идеологическими формулами. Этот резонанс, в подлинном смысле слова разрушивший старый мир, можно было бы счесть всего лишь историческим совпадением, уникальной конstellляцией обстоятельств (такое уж, мол, русское счастье), но имелась еще одна причина гармоничного созвучия большевизма русскому духу.

В-третьих, аутентичная марксистская идея разрушения старого государства и вообще отрицания института государства, его замены самоуправлением трудящихся слишком удачно совпадала с радикальной русской крестьянской утопией «мужицкого царства». Уже двух таких совпадений было бы достаточно для вывода: тенденция, однако... Но эта тенденция массового сознания еще и выражала русский этнический архетип — тематизированность русской ментальности властью, государством, который большевики исключительно умело и эффективно, хотя, скорее, бессознательно и спонтанно, чем осознанно и целенаправленно, использовали сначала для разрушения «до основанья» старой власти, а «затем» для строительства новой — несравненно более сильной, чем разрушенная.

Из этих замечаний следуют два важных вывода. Первое. Россия действительно была готова к революции больше других стран, но готовность эту определяли, в первую очередь, не социально-экономические условия, а социокультурные факторы и состояние русской ментальности. Никогда и нигде никакие «объективные» обстоятельства (в качестве которых чаще всего фигурируют экономика, институты и социальные факторы) не детерминировали непосредственно политику, а политика не выступала их «отражением». Превращение этих обстоятельств в факторы политики — «сложный процесс многоступенчатых опосредований, в котором идеи и ценности играют как раз решающую роль. То, как, к примеру, самый сильный экономический кризис предстанет в качестве



политического фактора и *предстанет ли вообще*, не предопределено собственной «экономической природой» этого кризиса, но инсигит от цепи идейных опосредований» (47). Другими словами, возможность революции в решающей степени определялась происходившим внутри «черного ящика» русской ментальности, где обрабатывались сигналы внешнего мира и формировались реакции на них. А работа ментальности (насколько вообще можно разобратся в этой сверхсложной теме) шла по имманентным (и этнически дифференцированным) закономерностям психики.

Второе. При всей внешней чуждости большевизма и большевиков России они оказались наиболее созвучны русской ментальности, что и послужило главной предпосылкой их политического успеха. Из чего, кстати, вовсе не следует, что большевики действовали в интересах русского народа и работали на его благо, но это уже совершенно другой вопрос. На стадии же прихода к власти им удалось оседлать и возглавить мощный русский (этнический в своей глубинном истоке, но проецировавшийся в социально-политическую сферу) протест против культурно и этнически чуждой русским власти, имперской элиты и, тем самым, против воплощавшейся ими империи.

Парадокс в том, что русские выступали против собственного детища, исторического плода своих вековых усилий. Вот уж точно: «я тебя породил, я тебя и убью». «Старую» империю обрушил не взрыв периферийных национализмов, сепаратизм и отпадение окраин, а бунт народа, который был ее историческим творцом, составлял ее главную опору и движущую силу.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Статистические данные взяты из: *Горянин Александр*. Указ. соч. С.55, 203, 208–209; *Бурдуков Павел*. *Орлов Александр*. Расовый смысл русской идеи. Вып.1. — М., 2000. С.219; *Козлов В.И.* О сущности русского вопроса и его основных аспектах //Русский народ: историческая судьба в XX веке. — М., 1993. С.55, 64; *Он же*. История трагедии великого народа. С.54; *Уткин А.И.* Запад и Россия: история цивилизаций. Учебное пособие. — М., 2000. С.26, 139, 187–188, 236.

2. *Донде А.С.* Из горнила революции (О книге В.П. Булдакова «Красная смута. Природа и последствия революционного насилия». — М.: Росспэн, 1997) //Русский исторический журнал. 2000. Т.III. №1–4. С.511.

3. *Милов Л.В.* Указ. соч. С.566.

4. *Милов Л.В.* Там же. С.568.

5. См.: Козлов В.И. История трагедии великого народа. С.49,51; Цимбаев Н.И. Россия и русские: Национальный вопрос в Российской империи //Русский народ: историческая судьба в XX веке. С.48; Хоскинг Дж. Россия: народ и империя (1552–1917). — Смоленск, 2000. С.55 и др.
6. См., например, введение и начало первой главы книги: Вдовин А.И., Зорин В.Ю., Никонов А.В. Русский народ в национальной политике. XX век. — М., 1998.
7. Хоскинг Дж. Указ. соч. С.56.
8. Цит. по: Чешков М. Россия/СССР и Восток: судьба исторической общности //Мировая экономика и международные отношения. 2003. №6. С.88.
9. Цит. по: Авдеев В.Б. Указ. соч. С.169–170.
10. Лурье С.В. Историческая этнология. С.163.
11. Цит. по: Фурсов К.А. Указ. соч. С.213.
12. Фурсов К.А. Там же. С.217; Ранкур-Лаферьер Дениэл. Россия и русские глазами американского психоаналитика. В поисках национальной идентичности. — М., 2000. С.103.
13. См.: Tolz Vera. Op. cit. P.264.
14. См.. Хоскинг Дж. Указ. соч. С.392; Tolz Vera. Op. cit. P.200.
15. Мнение Р. Пайпса. Приводится по: Лурье С.В. Указ. соч. С.165.
16. Хоскинг Дж. Указ. соч. С.56.
17. См., например: Tolz Vera. Op. cit. P.174–177
18. См.: Ibid. P.155–168.
19. Ibid. P.176.
20. См.: Ibid. P.199.
21. Подробнее см.: Вдовин А.И., Зорин В.Ю., Никонов А.В. Указ. соч. С.18–37.
22. Тишков В.А. Что есть Россия? (Перспективы нации-строительства) //Очерки теории и политики этничности в России. — М., 1997. С.115.
23. Хоскинг Дж. Указ. соч. С.172.
24. См.. Tolz Vera. Op. cit. P.177–181.
25. Цимбаев Н.И. Указ. соч. С.43.
26. См.. Tolz Vera. Op. cit. P.3–4.
27. См.. Вдовина Л.Н. Что есть «мы»? (Русское национальное самосознание в контексте истории от Средневековья к Новому времени) //Русский народ: историческая судьба в XX веке. С.10.
28. См.: Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. — М., 2001.
29. Хоскинг Дж. Указ. соч. С.86.
30. См.: Лурье С.В. Указ. соч. С.270; Цимбаев Н.И. Указ. соч. С.49; Tolz Vera. Op. cit. P.79.
31. Эта позиция обосновывается в работах А.С. Ахиезера и его единомышленников. См., например: Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. В 3-х томах. — М., 1991; Он же. Специфика российской политической культуры и предмета политологии (Историко-культурное исследование) //Pro et Contra. 2002. Лето. Т.7 №3; Ахиезер А.С., Давыдов А.П., Шуровский М.А., Яковенко И.Г. Яркова Е.Н. Большеви́зм как социокультурный феномен: Опыт исследования //Вопросы философии. 2002. № 5; Они же. Социокультурные основания и смысл большевизма. — НСБ., 2002 и др.
32. О заметном влиянии мессианского мифа на элитарный дискурс см. интересное и качественное исследование: Duncan Peter J.S. Russian Messianism. Third Rome, revolution, Communism and after. — L.—N.Y., 2000.
33. Лурье Светлана. В поисках русского национального характера. С.67–68.

34. Лурье С. В. Историческая этнология. С. 162.
35. Милов Л. В. Указ. соч. С. 561.
36. См.: Хоскинг Дж. Указ. соч. С. 86.
37. Колоневич Иван. Указ. соч. С. 184.
38. Хоскинг Дж. Указ. соч. С. 13.
39. Цит. по: Громыко М. М. Мир русской деревни. — М., 1991. С. 229.
40. Лурье С. В. Историческая этнология. С. 276.
41. Tolz Vera. Op. cit. PP. 85–87
42. Лакер Уолтер. Россия и Германия. Наставники Гитлера. — Вашингтон, 1991. С. 69.
43. На это, в частности, неоднократно обращал внимание Р. Уортман в книге «Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии» (В 2-х т. — М., 2004).
44. Лурье С. В. Историческая этнология. С. 261, 265.
45. Высказывание Н. С. Трубецкого цитируется по: Уткин А. И. Указ. соч. С. 324.
46. Хоскинг Дж. Указ. соч. С. 378.
47. Капустин Б. Г. Указ. соч. С. 272.

---

## Глава 4

# РУССКИЕ ПРОТИВ СССР

Результаты революций зачастую противоположны вызвавшим их ожиданиям. Итогом русского национального восстания против империи стало новое, несравненно более тяжелое ярмо для русских. В «старой» империи место и роль русских воспринимались как данность, нечто само собою разумеющееся. Новая власть озабочилась выработкой специальной стратегии в отношении русского народа. Ее политика питалась смесью таких чувств, как признание незаурядной русской силы, стремление ее использовать и, одновременно, страх перед народом, способным расправиться с новой властью и новым государством так же легко и ухарски, как он расправился со «старой» империей.

Задним числом, после гибели СССР можно с уверенностью утверждать, что эти опасения были небеспочвенными, хотя в историческом контексте 20-х — начала 30-х годов XX в. они приняли явно избыточную и иррационально жестокую форму преследования русской этничности. Сокрушительный удар был нанесен по олицетворявшему русский этнический принцип православию, жесточайшим преследованиям подверглись образованные слои старого русского общества, в ходе сталинской модернизации было безжалостно разрушено традиционное мировоззрение основной части русского народа — крестьянства.

Беспощадно подавлялись любые проявления русского национального самосознания. Малейшее указание на специфические русские интересы квалифицировалось как проявление «великодержавного русского шовинизма» с соответствующими жестокости той эпохи выводами, а на русских — «бывшую угнетающую нацию» — возлагалась коллективная ответственность за мнимые и реальные прегрешения царизма. Даже слова «русский» и «Родина»

были изъяты из употребления или использовались исключительно в негативном смысле, а проявление любого, даже научного, интереса к русскому народу рассматривалось как «контрреволюционная вылазка» (1).

Однако подчеркнуто русофобский фасад (трудно иначе охарактеризовать дискурс и социальные практики коммунистической власти в первое пятнадцатилетие ее существования) скрывал точно схваченное понимание кардинальной угрозы, которую русская стихия представляла институту государства и власти как таковым — вне зависимости от их социально-политического характера. Хаос хорош, чтобы прийти к власти, но долго держаться на нем так же невозможно, как и на штыках. Хотя Космос, возникает из Хаоса, но лишь через его обуздание и трансформацию.

А большевиками двигал пафос формирования кардинально нового в человеческой истории социополитического, экономического и культурного порядка-Космоса, радикально порвавшего со старым миром, отряхнувшего даже его прах. В контексте этой подлинно титанической (подразумевая античный миф о восстании титанов против богов) задачи русская этничность выглядела двойственно: с одной стороны, выступая в дореволюционной ретроспективе создательницей и опорой империи, она тем самым отождествлялась с подлежащим тотальному разрушению старым порядком; с другой стороны, русская стихия воплощала тот самый Хаос, который надлежало трансформировать, переплавить в новый Космос. Но в обоих случаях русскость подлежала преодолению.

Тем самым элиминирование русской этничности или, как минимум, подозрительное и настороженное отношение к ней имело серьезные основания с точки зрения устойчивости новой власти и в контексте большевистской доктрины. Но формы и проявления этой политики явно выходили за пределы разумного, характеризовались чрезмерностью и избыточной жестокостью.

Ряд обстоятельств придал этой политике заметный налет иррациональности. Во-первых, значительную роль в новой власти играли этнические нерусские, которые даже при самом искреннем и последовательном интернационализме не могли удержаться от бессознательной мести ассоциировавшимся с институтом царизма русским «угнетателям». Контраргумент, что иные нерусские коммунисты нередко вели себя как отъявленные русские империалисты и шовинисты (например, в хрестоматийной скандальной предыстории

образования СССР) не убедителен: они защищали не интересы русского народа, а принцип единого государства, где перед националами открывался несравненно более широкий социальный и культурный горизонт, чем в их собственных «удельных княжествах». Функционирование союзного государства обеспечивалось эксплуатацией русских (более широко — восточнославянских) этнических ресурсов в несравненно большей мере, чем существование «старой» империи.

Безусловный приоритет государственных интересов над этническими был характерен и высшей коммунистической элите русского происхождения. Более того, ее этничность вынуждала эту элиту к подчеркнутой демонстрации собственного интернационализма и пренебрежения русскостью, дабы не быть заподозренной в русском национализме. И такое положение дел сохранялось вплоть до последних дней существования СССР, о чем некоторые русские представители высшего эшелона советской элиты впоследствии с сожалением отзывались в своих мемуарах. В 1920-е же годы многие видные русские большевики были настроены откровенно русофобски, давая в этом смысле изрядную фору своим нерусским партайтгеноссен.

Во-вторых, критическая зависимость коммунистической власти (пока она не окрепла) от настроения и поведения русской массы провоцировала естественную компенсаторную реакцию. Люди, обязанные приходом к власти русскому мужику, испытывали по отношению к нему не чувство благодарности, а прямо противоположные эмоции, и своей жестокостью изживали пережитую ими унижительную зависимость. Здесь к месту вспомнить афоризм античных киников о благодарности как чувстве, свойственном собакам, а не людям.

В-третьих, в поведении первой генерации советской элиты явно прослеживался сектантский (а большевистская партия в дореволюционный период очень напоминала религиозную секту) комплекс: осознание себя в качестве носителей высшей истины, высокая харизматичность, чувство превосходства по отношению к автохтонному населению, ощущение избранничества и мессианизма. Вкупе с технократическим подходом и радикальным доктринальным утопизмом это порождало пренебрежительное и утилитарное отношение к русскому народу как строительному материалу нового мира, той *tabula rasa*, на которой напишут новые и красивые слова.

Коммунистическая стратегия в отношении русского народа, концептуализированная знаменитой ленинской формулой об интернационализме, который «должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически» (2), была далеко не случайностью и ситуативным пропагандистским лозунгом, не только доктринальным аспектом или рациональным расчетом. Она была устойчивым и глубоким психоэмоциональным убеждением и именно поэтому оказалась тем единственным «ленинским заветом», который последовательно выполнялся до последних дней существования коммунистической власти.

К середине 20-х гг. в основном сложилась и стала активно претворяться в жизнь партийная концепция ликвидации фактического неравенства республик. В практическом плане это означало приоритетное развитие национальных окраин и отсталых регионов за счет более развитых, в первую очередь великорусских и украинских. «На протяжении всех 20-х годов для национальных регионов был характерен более высокий удельный вес нового строительства, чем в целом по Союзу. Если в первую пятилетку (1928–1932 гг.) капиталовложения в новое строительство по отношению ко всей сумме капиталовложений в промышленность составили по СССР в целом 42,4%, то по республикам Закавказья этот показатель составил — 65%, по БССР — 58,3, по Казахской ССР — 63, по Туркменской ССР — 74,3%. Во второй пятилетке в восточные районы было направлено около половины всех капиталовложений, направляемых на новое строительство объектов тяжелой промышленности» (3). За финансовыми потоками из центра на окраины следовало перемещение предприятий и трудовая миграция, ведь собственных квалифицированных кадров в национальных регионах попросту не было.

Даже индустриализация Украины с ее преимущественно занятым в сельском хозяйстве местным населением на первых порах осуществлялась русскими руками: «...в середине [19]20-х годов на Украине доля русских среди рабочих промышленности была равна 35%, среди специалистов и руководителей, занятых в промышленном производстве, — 37%, что было выше доли русских в занятом населении республики в 3 раза». А на национальной периферии, например, в Грузии или, тем более в Узбекистане, доля русских

промышленном производстве во много раз превышала их долю в составе республик. Так, в Узбекистане середины 1920-х гг. русские, составлявшие всего 5% республиканского населения, в то же время давали 40% всех рабочих в промышленности и около 70% коммунистов (4).

Фактические «репарации» со стороны бывшей «угнетающей нации» не ограничились лишь начальной стадией социалистической модернизации, политика «перекачки» средств и ресурсов усилила магистральную тенденцию советского строя на протяжении всей его истории. Это не миф патристической историографии, а научный вывод, который имплицитно содержится и в работах ряда западных исследователей. СССР, как утверждается в одной из последних монографий по истории национальных отношений в довоенном Советском Союзе, представлял собой «империю аффирмативных акций» (5), то есть проводил сознательную и целенаправленную стратегию развития и поощрения советских национальностей, этнической периферии. Требовавшиеся для этого значительные ресурсы изымались у восточнославянского этнического ядра; в сущности, само это ядро и было главным ресурсом советского строя.

СССР действительно был «империей наоборот», то есть такой ударственной конструкцией, где номинальная метрополия ослаблялась и дискриминировалась в пользу периферии. И чем успешнее становилась страна, тем больший объем ресурсов откачивался, перенаправлялся от ее ядра к периферии.

Так, с начала 1970-х гг. Советский Союз вырубил около 1 млрд. нефтедолларов, одновременно в республики Средней Азии было вложено 150 млрд. рублей (по тогдашнему паритету покупательной способности рубль не существенно отличался от доллара) — и в основном не в развитие производства, а в фонды потребления, потому что среднегодовой прирост населения в этих республиках в 60–80-е гг. XX в. был в 3–4 раза выше, чем в России. В то же время местное население слабо участвовало в современных производствах: в новых промышленных центрах коренные жители составляли всего 20% против 50–60% в крупных и малых городах со старой промышленностью. Костяк инженерного и высококвалифицированного рабочего корпуса Средней Азии составили восточные славяне, а львиная доля в фондах потребления считалась многодетным азиатским семьям, причем сами эти семьи формировались преимущественно за счет той же России.



И среднеазиатская ситуация была не исключением, а лишь наиболее ярким и вопиющим выражением общего правила. Производство на душу населения в РСФСР было в 1,5 раза выше, чем в других республиках (при том, что рост капиталовложений из госбюджета в Кавказ и Среднюю Азию был в 5–6 раз больше, чем в русские регионы), а потребление — в 3–4 раза ниже, чем в Грузии, Армении, Эстонии. Правда, по причине демографического бума среднедушевые доходы в Средней Азии были ниже российских в 2–3 раза (6).

На протяжении всей советской истории именно России и русским суждено было служить мотором социалистического строительства и источником ресурсов для ускоренного развития национальной периферии. Эту жертвенную роль с ними делили украинцы и белорусы. Только три республики — РСФСР, УССР и БССР (возможно, еще Азербайджан) на исходе коммунистического строя были донорами союзного бюджета, все остальные республики — его реципиентами.

Это — красноречивый итог политики «равномерного размещения» промышленности, производительных сил в Советском Союзе. Ее частичные достижения и успехи не поколебали значения России и Украины как экономического ядра страны. В той мере, в какой эта политика удалась на национальной периферии, она была следствием преимущественных усилий восточнославянского этнического ядра, составлявшего костяк индустриальных рабочих и инженерного корпуса страны. На исходе советской эпохи «почти во всех республиках (кроме Белоруссии и Армении) в составе занятого русского населения... относительная численность работников индустриальных отраслей была выше, чем у коренных национальностей, особенно в республиках Средней Азии». Даже на Украине русские составляли более четверти всех занятых в индустрии (7).

И здесь не может не встать вопрос: стоило ли огород городить? Ведь цена доктрины «выравнивания» и «возмещения» выглядела чрезмерно высокой даже с позиции экономической целесообразности. Что уж говорить о русском народе, за счет которого она осуществлялась. С точки зрения его фундаментальных интересов, то была настоящая катастрофа. (Несколько забегаю вперед, укажу, что переживаемое русскими ощущение масштабной и устойчивой несправедливости, впоследствии послужило первопричиной гибели Советского Союза.)

О подлинном трагизме русской ситуации дает косвенное представление то обстоятельство, что против партийной политики решился выступить даже один из крупнейших советских руководителей, глава Совнаркома А. И. Рыков. «При обсуждении союзного бюджета он возражал против значительно более быстрого роста бюджетов остальных национальных республик по сравнению с ростом бюджета РСФСР и заявлял, что считает «совершенно недопустимым, что туркмены, узбеки, белорусы и все остальные народы “живут за счет русского мужика”» (8).

Однако у экономически нерациональной политики, — а в хозяйственном ракурсе целесообразнее выглядела первоначальная максимальная концентрация ресурсов и усилий в экономически развитых регионах, то есть в европейской России и на Украине, — были очень веские основания, причем не только доктринального толка (подразумевая идеи интернационального долга и грядущего слияния национальностей).

Первое из этих оснований парадоксально коренилось в русской культуре и русской идентичности. Мощный русский мессианизм никуда не исчез, а лишь облекся в новую — коммунистическую — форму. В советскую эпоху он имел два аспекта: внешний — «первое в мире государство рабочих и крестьян» прокладывало новые пути всему миру, всему человечеству и внутренний — русские приобщали к прогрессу народы северной Евразии, восстанавливали справедливость в отношении «аутсайдеров» истории. Помощь «братьям» внутри страны и вовне — была, в том числе, добровольно взятым на себя моральным долгом, а не только навязанным императивом. Как «старая» империя, так и Советский Союз существовали и развивались, опираясь не только на материальные ресурсы России и биологическую силу русских, но и, не в меньшей степени, на их символические, моральные, экзистенциальные ресурсы. Проще говоря, у русских брали потому, что они внутренне готовы были отдавать, а когда эта готовность иссякла, улетучился и Советский Союз.

Второе основание относится к сфере политической прагматики. Перед главными задачами континентальной политики — сохранением территориальной целостности, поддержанием политической стабильности и статуса великой державы — любая идеологическая доктрина отступала на второй план или адаптировалась к практическим потребностям решения этих задач.

Залогом стабильности «старой» империи ее власть считала этнических русских, в то время как периферийные народы рассматривались с точки зрения потенциальной или актуальной сепаратистской угрозы. Но держатели коммунистической власти собственными глазами могли наблюдать, что зеркало разбилось не по краям, а в центре: распад империи начался с номинальной метрополии и под натиском русских, а национальные окраины лишь воспользовались открывшимися возможностями. Поэтому в первое пятнадцатилетие советского строя формула внутренней стабильности изменилась: лояльность националов «покупалась» как противовес потенциальной угрозе государственности вообще и новой власти в частности, со стороны этнического ядра страны — русских.

Коммунистическая власть последовательно и целенаправленно поощряла развитие самосознания нерусских народов. Хотя впоследствии это направление советской политики ослабло, оно никогда полностью не исчезало и не сходило на нет. Результатом проводившейся с 1920-х гг. стратегии так называемой «коренизации» стало формирование амбициозных этнических элит и престижных институтов национально-государственных образований. В более широком смысле в Советском Союзе, представлявшем по форме федерацию народов, а не территорий, были созданы институциональные, экономические, кадровые и социокультурные предпосылки для формирования новых наций и возникновения национальных государств. Привязав национальную принадлежность к территории и введя ее паспортное установление, режим институционализировал этничность, следствием чего стало формирование наций и строительство «национальных домов» — квазигосударственных образований — даже там, где их исторически никогда не существовало.

Без повивальных усилий коммунистической власти у подавляющего большинства постсоветских независимых государств было не очень много шансов обрести собственное историческое бытие или же путь к нему оказался бы гораздо более длительным, трудным, извилистым и без гарантий на успех. Это относится не только к среднеазиатским государствам, Казахстану, Азербайджану и Белоруссии, которые лишь в новейших доморощенных мифах обладают собственной традицией государственности, но даже к Украине — одной из крупнейших (по территории и численности населения) стран Центральной и Восточной Европы.

«...Сегодняшнее украинское государство родилось благодаря коммунистам. Именно их тоталитарная рука, проведя в 20-е годы “большевистскую украинизацию”, подготовила истинное рождение украинской нации. И уже никакие откаты, никакие обратные русификации не могли ничего изменить. Дитя родилось в свой срок. Роды же в 1917-м могли оказаться преждевременными» (9).

В своей приверженности модернизации коммунисты пошли значительно дальше любой другой империи: общий уровень грамотности и среднего образования в советской Средней Азии оказался недостижимым для английских небелых колоний; местное население советских среднеазиатских республик играло несравненно более значительную роль в управлении, чем местное население британских колоний (10). Не говоря уже о бесспорных и общепризнанных заслугах коммунистического режима в сохранении малочисленных этнических групп и культурной самобытности.

Такая политика в отношении нерусских народов вдохновлялась не только духом Просвещения (а большевики, безусловно, были его носителями), внутренне противоречивой коммунистической доктриной, предполагавшей приход к «постепенному слиянию» наций через их «расцвет», развитие «национальной по форме, социалистической по содержанию» культуры, но и диктовалась, еще раз подчеркну, важными политическими соображениями, в первую очередь, императивом политической стабильности и территориальной целостности.

Однако со временем стратегическое видение ситуации изменилось: если в первое пятнадцатилетие советской власти этническая периферия казалась противовесом русским, то с начала 1930-х гг. коммунистические правители перестали испытывать всепоглощающие опасения в отношении русского этнического ядра, а этническая периферия начала возвращать себе статус наиболее опасного потенциального вызова стабильности и целостности страны. Хотя нейтрализации «русского национализма» (эвфемизм для обозначения русского самосознания) по-прежнему уделялось огромное внимание, русские небезосновательно отождествлялись со «страной Советов» в целом (а не отдельными ее частями), виделись ядром, надежным гарантом и опорой существования СССР.

В первой половине 30-х гг. в сталинском лексиконе появились такие непривычно комплиментарные характеристики русских, как «русские — это основная национальность мира», «русская нация —

«то талантливейшая нация в мире». Сталин, консолидировавший к началу 1930-х гг. власть, указывал на интегрирующую роль русского народа в истории и современности: «Русский народ в прошлом собирал другие народы. К этому же собирательству он приступил и сейчас» (11). Знаменитый сталинский тост за «здоровье русского народа» на торжественном приеме в Кремле 24 мая 1945 г. по случаю победы в Великой Отечественной войне был не случайным эмоциональным выплеском или началом «новой стратегии в этнополитической сфере» (12), а относительно давним и устойчивым (но до поры до времени скрывавшимся) представлением «красного цезаря» о месте и роли русского народа. Весьма примечательно, что все предшествовавшие 24 мая 1945 г. комплиментарные проговорки о русских (13) не публиковались, то есть не могли повлиять на официальный и массовый дискурсы, и звучали в застольных выступлениях Сталина. Последнее важно отметить в связи с известной способностью алкоголя ослаблять тормозящие центры и способствовать вербализации сокровенного, скрываемого. По русской пословице, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.

Сталинское потаенное эксплицировалось в произошедшем в первой половине 30-х годов радикальном изменении официального идеологического дискурса, новой образовательной и культурной стратегии. Вектор этих перемен можно определить как частичную реабилитацию русскости и восстановление государственного патриотизма. Содержание данного процесса описано в ряде научных работ (14), но вопрос о его причинах и пределах остается в историографии остро дискуссионным. Поэтому я сосредоточусь именно на этой стороне проблемы.

Характеризуя факторы, приведшие к фундаментальным и драматическим изменениям советской внутренней политики в 1930-е гг., стоит, на мой взгляд, на первое место поставить не то, что было, а то, чего не было. Русские вовсе не составляли капитальной угрозы коммунистическому режиму. Потому ли, что их подрывная, антигосударственная энергия иссякла в революции и гражданской войне или же в силу эффективности большевистской системы социального контроля — это уже не имело значения. Главное, они оказались в целом лояльны новой власти, не поднялись на новую «пугачевщину» даже в ситуации жестокой коллективизации и безропотно согласились тащить несравненно более обременительное

тягло, чем в «старой» империи. В общем, русского бунта можно было не бояться.

В то же время отказ от идеи непосредственной реализации мировой революции, переход к предполагавшей опору на собственные силы доктрине «социализма в одной стране» со всей беспощадностью и драматизмом поставил вопрос о политической устойчивости советского строя и, главное, о его способности осуществить форсированную модернизацию во враждебном окружении. Русские (более широко — восточные славяне) по своей vitalной силе, численности, экономическому потенциалу, культуре и историческому прошлому составляли стержень Советского Союза. Тем самым они оказались как залогом политической устойчивости, так и решающей предпосылкой ускоренного развития новой системы. Русские не были «основной» и «самой талантливой» национальностью мира, но, бесспорно, представляли самый важный народ СССР. И эту — ключевую роль русских нельзя было игнорировать, продолжая их прежнее неумное и жестокое трети-рование.

Тем более что феноменальная динамика нацистской Германии слишком очевидно продемонстрировала колоссальные возможности этнической мобилизации и слабость узко классовой идеологии. А ведь это было потенциально наиболее мощное европейское государство с организованным и влиятельным рабочим классом и сильной компартией. Большевизм и фашизм взаимно индоктринировали друг друга: фашисты почерпнули у большевиков важность социальных аспектов программы и революционный стиль действий, а коммунистам пришлось усвоить преподанный им урок важности национальных чувств.

К этому стоит добавить так называемую «революцию сверху» — давление подготовленных в годы советской власти значительных контингентов новых интеллектуалов и управленцев на административно-бюрократическую элиту первого послеоктябрьского призыва. Существенное отличие старой и новой элит среди прочего состояло в том, что если среди первой была высока доля этнических нерусских, прежде всего евреев, то вторую составляли преимущественно этнические русские (восточные славяне). Даже будучи вполне правоверными коммунистами-интернационалистами, они не могли полностью элиминировать собственные национальные чувства и безропотно принять господствовавшую в официаль-

ном дискурсе свирепую русофобию. Важность этой группы элиты была тем более значительна, что именно на нее Сталин опирался в борьбе с реальной и мнимой внутрипартийной оппозицией и конкурентами в высшем эшелоне коммунистического руководства.

Этническое измерение внутриэлитной динамики породило ее пропагандистские и академические интерпретации как сталинского «антисемитизма» и наступления «русского национализма». Между тем популярная тема сталинского «антисемитизма» откровенно мифологизирована. Как убедительно показал Г.В. Костырченко, не обнаружено ни тени, ни намек приписываемых «вождю народов» кровожадных планов массового репрессирования евреев и их выселения на Колыму; этнический состав арестованных по «делу врачей» также не позволяет рассматривать его как антиеврейское и, тем более, начало антиеврейской этнической чистки (15). Даже в пиковый 1937-й год сталинских репрессий доля арестованных евреев среди репрессированных не превышала их доли в численности страны (соответственно 1,8% арестованных евреев и 1,8% — их доля в населении СССР), так что нет оснований говорить о какой-то избирательности в этом отношении.

Хорошо известный политический прагматизм Сталина заставляет скептически воспринимать обвинения в его адрес в антисемитизме. Более того, в ином ракурсе приписываемая ему юдофобия парадоксальным образом оказывается защитой евреев! Высокая доля евреев среди руководства и следователей НКВД (21,3% на сентябрь 1938 г., а по некоторым данным — еще выше (16)) — чудовищной машины репрессий и насилия — не могла не провоцировать массовый антисемитизм. Значительная представленность евреев в административно-управленческом аппарате, культуре и искусстве придавала конфликту старой и новой советских элит опасное этническое измерение и выступала одним из ключевых факторов отчуждения общества от режима, что было чревато вспышкой русского национализма, направленного против евреев и будто бы покровительствовавшей им верховной власти. Опыт Германии не позволял Кремлю легко отмахнуться от подобных опасений. Так что когда в ключевых советских ведомствах происходило изменение этнического баланса, а евреев, работавших в средствах массовой информации, вынуждали брать псевдонимы, власть нейтрализовывала массовое недовольство и потенциальную угрозу внутриэлитного бунта, тем самым косвенно защищая евреев.

Таковы, вкратце, были основные (помимо выше перечисленных можно указать и другие, на мой взгляд, менее важные) причины, побудившие коммунистический режим отказаться от стратегии «выжженной земли» в отношении русской этничности. Что пришло взамен? Было бы непростительным заблуждением полагать, что началась национал-большевистская трансформация режима или, тем более, его перерождение в русском националистическом русле. Если в нем и было что «национальное», так это эксплуатация русских этнических ресурсов, а «русский национализм» сводился к включению в идеологический дискурс формулы о «старшем русском брате», обосновывавшей русскую жертвенность, а для самой жертвы служившей своеобразной анестезией, вербальной компенсацией.

Начиная с 1930-х гг., как при Сталине, так и при его преемниках, отношение к русскому фактору носило исключительно функциональный характер. Он использовался в той мере и в тех пределах, в которых это укрепляло базовые принципы режима (монополярная власть партии, коммунистическая идеология) и способствовало осуществлению главных государственных приоритетов, в общем, не изменившихся с дореволюционных времен: территориальная целостность, политическая стабильность, поддержание статуса великой державы. То, что называют национал-большевизмом, в действительности представляло собой возрождение традиционного государственного патриотизма — преданность Отечеству и служение государству, но с непременным добавлением: социалистическому Отечеству и советской Родине. Не говоря уже о верности делу коммунистической партии.

В сталинской интерпретации, величие, талант и первенство русского народа состояли в том, что он первым поднял «флаг Советов против всего мира», «первым вырвался из цепей капитализма, первым установил Советскую власть», «породил Ленина» (17). Староимперские идентитеты и символы, отдельные элементы дореволюционной культуры, новое «старое» (великодержавное) прочтение отечественной истории и даже патронировавшееся государством православие включались в советскую идентичность, довольно органично вплетались в новую социальную и культурную ткань, не меняя при этом социальной сущности режима и даже укрепляя ее.



Как и в «старой» империи, русские снова оказались неиссякаемым резервуаром ресурсов для экономического развития и военной машины, краеугольным камнем государственности, залогом территориальной целостности и стабильности. В то время как национальная периферия вновь стала восприниматься потенциальным вызовом стабильности и целостности страны. Потенциальная угроза периферийных национализмов и сепаратизмов нейтрализовывалась политикой «кнута и пряника»: покупка лояльности этнической периферии сочеталась с периодическими чистками и системой партийного контроля.

Такой подход — опереться на русских — выглядел в том историческом контексте *единственно возможной* формулой существования и развития СССР. Но именно он привел к грандиозному фиаско («крупнейшей геополитической катастрофе XX века» в формулировке президента В.В. Путина) — гибели Советского Союза!

Судьба СССР, подобно судьбе Российской империи, была предрешена русскими — их действиями или, точнее, их бездействием, нежеланием пальцем о палец ударить ради сохранения единства страны, считавшейся их Родиной. Никакие прибалтийские, закавказские и прочие периферийные национализмы не представляли (вопреки тому, что пишут их участники и апологеты) кардинальной угрозы единству СССР. Как только 19 августа 1991 г. в воздухе раздался лязг танковых гусениц, перебивавший звуки «Лебединого озера», местечковые националисты в ужасе начали собирать чемоданчики для отправки в Сибирь.

Так что же, поставив на русских, коммунистические правители СССР допустили ту же роковую ошибку, что и незадачливый Николай II? Если это было ошибкой, то ее вместе с Кремлем должны разделить крупнейшие интеллектуальные центры современного мира. Все известные западные прогнозы развития стратегической ситуации в СССР предрекали, что к началу III тысячелетия главный вызов «этническому доминированию русских» будет исходить с Юга — от бурно растущих народов Средней Азии и Кавказа. Западная схема о русских «хранителях империи», противостоящих потенциальному бунту этнической периферии, эксплицировала потаенное опасение Кремля.

Однако ее базовая посылка оказалась неверной: если бы русские оценивали собственный статус как этническое доминирование,

то СССР не прекратил бы своего существования столь бесславно и относительно бескровно. Оказавшиеся в похожей ситуации сербы Хорватии, Боснии и Герцеговины, Косовского края вели себя иным образом в первую очередь потому, что они действительно доминировали в Югославии, несмотря на все попытки маршала Тито их приструнить и обуздать.

Легко, но не мудро ругать прошлое за допущенные ошибки. В данном случае была не ошибка, а было естественное и органичное развитие отечественной истории, приведшее к очередной радикальной мутации русской традиции.

Характерное «старой» империи и послужившее первопричиной ее гибели фундаментальное противоречие между имперской и русской этнической идентичностями, между государством и русским народом в полной мере сохранилось и даже усугубилось в советскую эпоху. «Несомненно, Сталин в некотором смысле был русским националистом, возможно, даже самым удачливым. Однако в другом смысле... Сталин сделал максимальное возможное, чтобы уничтожить все исконно русское. При нем нео-Российская империя достигла своего апогея, как одна из двух мировых сверхдержав, тогда как русскую нацию довели до состояния почти унижительного» (18).

Взаимоотношения между государством и русской этничностью носили сложный и неоднозначный характер, не сводясь исключительно к конфликту. Так, Советская армия воплощала плодотворный синтез советского начала и русской этничности. Однако ситуация небогатого континентального полиэтнического государства, изо всех сил поддерживавшего статус великой державы, объективно оставляла слишком мало места для их компромисса. Если компромисс был ситуативен, то конфликт — постоянен, хотя зачастую латентен.

Даже предоставив русским новые возможности, открыв новые перспективы, советская система не сразу была «природнена» русским народом. Коммунистическая власть не питала на этот счет особых иллюзий. Чего стоит откровенное и саморазоблачительное признание Сталина западному собеседнику в критической ситуации осени 1941 г.: «Мы знаем, народ не хочет сражаться за мировую революцию; не будет он сражаться и за советскую власть... Может быть, будет сражаться за Россию» (19). Именно победоносная и кровопролитная Великая Отечественная война дала решаю-

ний импульс и послужила мифологическим основанием официальной стратегии отождествления русскости и коммунистического строя, Советского Союза.

Подобный взгляд имел веское основание в виде *симбиотических отношений* коммунистического строя и русской этничности. Питаясь русскими соками, советская система в то же время с максимально возможной полнотой проявила, актуализировала властный инстинкт (этнический архетип) русского народа. Хотя «каждая кухарка» так и не смогла управлять государством, она участвовала в отправлении тайнства власти на своем месте — в качестве комсомольского или профсоюзного активиста, члена добровольной народной дружины или комитета народного контроля, добровольного «стукача» КГБ или письмоводителя ЖЭКа и т. д. При Советском Союзе система организации власти не только «огрубилась» и упростилась, потеряв сложную имперскую дифференцированность и асимметричность. Властные отношения приобрели также характер всеобщности, они разворачивались как сверху вниз, так и по горизонтали, мириадами нервов пронизывая всю толщу отечественного социума. В общем, блестящее и исчерпывающее подтверждение концепции М. Фуко о власти, разлитой в пространстве человеческого бытия, а не концентрирующейся только в вертикальных связях.

В каком-то смысле советская система действительно оказалась самой демократической в мире — в ней доступ к власти, пусть микроскопической, обладала более значительная часть общества, чем в любой западной демократии. Обеспечив массовый доступ к власти, интегрировав миллионы людей во всеохватывающую систему властных отношений, коммунистический режим сделал гораздо больше, чем просто открыл перспективу вертикальной социальной мобильности. Он реализовал русский этнический архетип, нейтрализовав тем самым потенциальную несанкционированную социополитическую активность населения. Так было заложено массовое основание и обеспечена стабильность нового строя.

Ретроспективно легко понять, как много дала русским советская система. Никогда в отечественной истории — ни до, ни после — русский народ в массе своей не жил так сытно, обеспеченно и спокойно, как он жил с середины 60-х по середину 80-х гг. XX в., в пресловутую «эпоху застоя»; уровень жизни начала 1980-х гг.

выглядит сейчас несбыточным мечтанием для подавляющего большинства населения России. Но, в то же самое время, коммунистический режим, подобно энергетическому вампиру высасывавший из русских жизненные соки, подрывал их силу и разрушал краеугольный камень советского строя. Такова была диалектика взаимоотношений коммунизма и русского народа, не позволяющая принять позицию тождественности их *сущностных* интересов.

Если бы они и в самом деле совпадали, то коммунистическая власть не воспринимала бы любые манифестации русского этнического сознания (даже не русского национализма!) как угрозу режиму и Советскому Союзу. И вряд ли русский народ оказался бы главной движущей силой процесса «выхода» из коммунизма.

Несмотря на дифирамбы в честь «старшего брата», «талантливейшего русского народа» и пр., реальная политика коммунистической власти в отношении русского самосознания носила настороженно-агрессивный характер. [Весьма примечательно, что так называемое «ленинградское дело» возникло в разгар культурно-идеологической кампании за «русское первенство». Даже если его подлинную подоплеку составляла борьба за власть в высшем эшелоне коммунистического руководства, а вовсе не стремление повысить реальный статус РСФСР, сам выбор обвинения-предлога ясно давал понять советской элите, что впредь на эту тему нельзя даже думать, не то, что вслух заикаться.

Ревизия и частичное отрицание сталинского наследства преемниками «красного цезаря» не затронули, однако, выработанной им амбивалентной линии в отношении русской этничности. Как и прежде, приветствовалось и принималось лишь то, что, как казалось, укрепляло коммунистический строй и советскую страну — обобщенно это можно назвать государственным патриотизмом, государственной (общесоюзной) идентичностью. Но собственно русские этнические интересы оставались под подозрением, хотя режим уже не мог вернуться к политике brutального подавления естественных национальных чувств «народа-победителя» и вынужден был нехотя делать шаги ему навстречу, создавая в России некоторые культурные и информационные институты, существовавшие в других республиках, легализуя историко-реставрационное движение и т. д. Политика власти в отношении пробивавшегося из-под глыб русского самосознания колебалась между желательностью его нейтрализации и неизбежностью признания и учета русских интересов.

Судя по воспоминаниям брежневской эпохи и некоторым опубликованным документальным свидетельствам, по крайней мере с конца 1970-х гг. возрождение русского самосознания рассматривалось КГБ (регулярно докладывавшим свои соображения высшему советскому руководству) как одна из серьезных внутренних угроз политической стабильности в СССР. Чего стоит только приписываемая шефу всемогущего КГБ Ю.В. Андропову фраза: «Главная забота для нас — русский национализм; диссиденты потом — их мы возьмем за одну ночь» (20)!

Здесь стоит особо обратить внимание на то, что феномен, концептуализированный как «русский национализм», в действительности в строго научном смысле не был ни политическим (заявкой на власть), ни даже культурным (манифестацией культурного превосходства и исключительности) национализмом. Вряд ли возможно квалифицировать как националистические, требования предоставить русским те же самые права, что имели другие советские народы, поддержать русскую культуру, уделить больше внимания русской этнической специфике — а эти требования выглядели легитимными даже в советском контексте — и некое смутное почвенническое, неославянофильское умонастроение части отечественной интеллигенции.

Называть подобное «русским национализмом», как, например, поступил Н.А. Митрохин, отождествивший национализм и ксенофобию (21), то есть феномены, хотя и тесно связанные, но не тождественные, можно только в состоянии полной методологической беспомощности и интеллектуальной нетребовательности, помноженных на политическую ангажированность. Хотя любая идеология, в том числе национализм, включает «антиизмерение» (то есть то, против чего она направлена), указания только на это измерение недостаточно даже для так называемого «перечислительного подхода» к определению идеологии (в нашем случае — националистической). Это все равно, что пытаться определить рыбу, как живое существо, у которого нет легких, теплой крови, ног и т. д. Но что у рыбы есть?

Научная дефиниция требует позитивной определенности, то есть в нашем случае, как минимум, указания на то, чего требовал русский национализм, не говоря уже об установлении его родовой принадлежности и его *differentia specifica* — видовых отличий. И, конечно, *такое* понимание (точнее, непонимание) русского на-

ционализма, которое продемонстрировал Митрохин, не имеет ровным счетом никакого отношения к конструктивистской парадигме социальных наук вообще и конструктивистской теории национализма в частности. Это называется: слышал звон, да не знает, где он.

Методологическая беспомощность породила неадекватную концептуальную схему и обесценила собранный Митрохиным обширный фактический материал. Ведь фактов самих по себе, вне концептуальной схемы для науки не существует.

Советские «компетентные органы» были более аккуратны в своих квалификациях, чем некоторые современные «ученые», они (органы) вполне в декартовском духе стремились «определять значение слов». Иначе в арго советского чекизма не появился бы такой неуклюжий и странный термин, как «русизм»: в служебной записке председателя КГБ СССР Ю.В. Андропова в ЦК КПСС от 28 марта 1981 г. говорилось о необходимости «пресечь враждебные проявления «русизма», охватившего часть интеллигенции» (22). И появился этот термин не по причине табуированности слова «национализм» — в партийных постановлениях оно встречается совсем не редко, — а потому, что явление, с которым имели дело чекисты, не сводилось к национализму, а было гораздо шире.

Собственно националистическая составляющая в нем, безусловно, присутствовала, но ее масштабы не выглядели сколько-нибудь угрожающими советскому строю. В в аннотированном каталоге «58–10. Надзорные производства Прокуратуры СССР по делам об антисоветской агитации и пропаганде» (М., 1999), содержащем краткие сведения примерно о 60% всех заключенных, которые были осуждены за антисоветскую агитацию и пропаганду в период 1953–1991 гг., доля «русских националистов» составляет менее трех процентов (92 дела из трех с половиной тысяч)! Даже со всевозможными поправками, уточнениями и дополнениями, остается констатировать: политический русский национализм не представлял серьезного вызова режиму. В истеблишментарной среде его наиболее радикальные проявления не выходили за рамки разговоров о желательности «национализации политики» — эта формулировка Р. Брубейкера, на мой взгляд, точно концептуализирует максимальное выражение политических настроений отечественной интеллигенции русофильского толка.

Но даже робкие пожелания равенства русских с другими народами СССР, призывы к защите русской культуры и т. д., не говоря уже об идее «национализации политики», выглядели нескрываемой угрозой приоритетам территориального единства и политической стабильности СССР. Успешное функционирование Советского Союза еще в большей степени, чем существование «старой» империи, зависело от русских этнических ресурсов, и, выражаясь без обиняков, от готовности и способности русских жертвовать собой. Поэтому любые требования фактического равноправия русских с другими народами, а России — с другими республиками, подрывали советскую национально-государственную конструкцию. Любые манифестации русских этнических интересов, отличных от общесоюзных, ставили под сомнение стратегию отождествления русских с Советским Союзом (напомню, что в царской России русские не отождествляли себя со всем политическим и территориальным пространством страны), растворения русскости в советскости, подрывали политику элиминирования русской этнической идентичности в пользу гипертрофированной государственной идентичности.

Для осуществления подобного курса в СССР были созданы важные предпосылки как негативистского, так и позитивного плана. К первым следует отнести фактическое разрушение главного дореволюционного русского идентитета — православия, что было не только результатом целенаправленной богоборческой политики (несмотря на мощную атеистическую кампанию, в 1937 г. более 45% населения СССР заявили о своей вере в Бога), но и следствием социальной модернизации отечественного общества (в том же 1937 г. среди пожилых людей верующих было в два раза больше, чем неверующих, а среди неграмотных доля верующих составляла 74% (23)). Можно сказать, что масштабная секуляризация советского общества неизбежно произошла бы естественным путем, даже без политики насильственной атеизации. Однако для русских это в любом случае означало крушение культурной системы, в рамках которой они самоопределялись.

К позитивным же предпосылкам относилось формирование новой системы социокультурных и символических координат, позволявших переформулировать русскую идентичность. В СССР удалось не только успешно решить (вопрос о цене в данном случае не обсуждается) основные задачи индустриальной модернизации,

но и избавиться от ахиллесовой пяты старой России — ужасающего социокультурного разрыва между элитой, образованной прослойкой и основной частью населения, добиться социополитической и культурной однородности общества. В стране была сформирована вполне современная (в смысле принадлежности эпохе Модерна) система общих институтов и коммуникаций, возникла единая политическая мифология, символика и ритуал, общая политическая культура и др. По оценкам западных социологов, в частности С. Хантингтона, Советский Союз, начиная с 1960-х гг., был не менее современным обществом, чем Соединенные Штаты или Великобритания. Правда, он воплощал иную, отличную от них версию современности (24).

В этом контексте концепция «советского народа как новой исторической общности людей» оказалась не только идеологическим обоснованием советской этнополитической стратегии, но и теоретической концептуализацией феномена, который в каком-то (ограниченном) смысле выглядел отечественным субститутот западной «политической (гражданской) нации». Сходство состояло не только в том, что «советский народ» воплощал реально существовавшую идентичность. Хотя в общественно-политическом дискурсе термины «советская нация» и «советская национальность» никогда не использовались из-за опасений спровоцировать рост этнической напряженности по причине «отмены национальностей», за ними стояло подлинное историческое бытие. Более того, процесс конструирования «советского народа» во многом предвосхитил популярную на Западе конца XX в. (и пересматриваемую в настоящее время) политику мультикультурализма. Акцент на политическом единстве не исключал сохранения и даже поощрения этнического и культурного своеобразия «советских наций» и этнических групп, хотя и в жестких политико-идеологических рамках. Путь к «сближению и слиянию» наций проходил через их «расцвет», а культура должна была быть «социалистической по содержанию» и «национальной по форме». В целом советская национальная стратегия делала ставку на идейно-политическую, экономическую и социокультурную интеграцию, а не этническую и культурную ассимиляцию. Правда, как будет показано дальше, русские в данном случае составляли невыгодное для них исключение.

Кардинальное отличие от западной «политической нации» заключалось в том, что одновременно и наряду с формированием



принципиально надэтнической политической и гражданской идентичности режим не менее интенсивно занимался институционализацией этничности, оформлял новые этнонации и воздвигал для них «национальные дома» в виде советских союзных и автономных республик. Вкупе с такими достижениями социалистической модернизации, как урбанизация, распространение образования и искусственное культивирование местных элит, это создавало крайне благоприятную почву для появления и распространения местных национализмов и партикуляризов. По крайней мере с 1960-х гг. республиканские (как союзных, так и автономных республик) элиты стали искать новые источники своей легитимности в истории и традициях (порою откровенно конструируемых) так называемых «титulyных» национальностей. На общесоюзной арене они предпочитали выступать от имени этих национальностей (а не всего населения республик), разыгрывая козырную карту этнической лояльности на союзном административно-бюрократическом и ресурсном «рынке».

Эти притязания легитимировались рельефно выраженной связью «титulyных» национальностей с территорией «своих республик». В отличие от восточных славян и армян, расселявшихся по всей необъятной территории СССР, от «южных гор до северных морей», горизонтальная мобильность «коренных» народов Закавказья (кроме армян) и Средней Азии была весьма невысокой, а в Средней Азии территориальная миграция носила преимущественно локальный характер. Несмотря на значительно более высокую территориальную мобильность (в том числе по причине массовых репрессий сталинской эпохи) латышей, литовцев и эстонцев, для них также была характерна концентрация в «своих» республиках: в 1989 г. в них проживало более 95% всех латышей и литовцев, почти 94% эстонцев СССР (25).

Традиционная кремлевская политика сочетания репрессий, контроля и «платы» за этническую лояльность сдерживала, но не останавливали действие механизма «колониальной неблагодарности». Тем не менее, накануне 1985 г. вызов национальной периферии точно так же не представлял серьезной угрозы Советскому Союзу, как не представлял он угрозы Российской империи в 1914 г.

Читатель, вероятно, обратил внимание, что автор этих строк избегает использовать термин «империя» применительно к Советскому Союзу. Это связано не с сильными негативными и позитив-

ными коннотациями данного слова, а с затруднительностью научного определения советской политики. Состоявший из протонациональных государств и создавший субститут «политический нации», Советский Союз не был национальным государством. Обладая некоторыми отчетливо имперскими характеристиками (полиэтничность и полирасовость, обширная территория, глобальная миссия, значительное международное влияние, универсалистская идеология, по отношению к которой интересы любого народа занимали подчиненное положение и др.), он в то же время был слишком современным государством для того, чтобы безоглядно квалифицировать его как империю. Но если он был одновременно и тем, и другим, сочетая атрибуты национального государства и империи, то, в таком случае, он не был ни тем, ни другим — ни империей, ни национальным государством.

Эта «неведома зверушка», Советский Союз, оказался *принципиально новым* в истории продуктом человеческого творчества, не вписывающимся в дихотомию: досовременная (в смысле историко-логически принадлежащая предмодерну) империя — современное национальное государство. Человеческая история — открытый и непредсказуемый, а не закрытый и финалистский процесс, обреченный повторять однажды возникшие образцы и двигаться к предопределенным целям. Поэтому в вопросе о типе советской политики я солидаризуюсь с выводом А. И. Фурсова: ««Американский народ» и «советский народ» как «принципиально новые исторические общности людей» представляли собой историческую попытку, эксперимент создания такой формы властно-социальной организации, которая не является ни империей, ни национальным государством, а отрицает и то, и другое». И дальше: «...СССР (как и США) не был империей, а представлял собой совершенно особый тип политики, теорию и понятийный аппарат для которого еще предстоит разрабатывать» (26).

Однако любой гипотетической концептуализации советской политики придется иметь дело с очевидным противоречием двух главных измерений советской национальной политики — условно, имперским и национально-государственным. Чем дальше, тем заметнее они противоречили друг другу, а замазывать эту трещину выпало на долю русских. Им было не привыкать нести ношу хозяйственного груза и стратегической ответственности, но сейчас от них требовалось чуть ли не без остатка раствориться в «советском

нроде», полностью отказаться от собственной самости ради государства и режима. Это было связано не только с традиционной ролью русских как стового хребта государственности и преобладавшим влиянием русской культуры, но и с тем, что, составляя относительное, а вместе с украинцами и белорусами «квалифицированное» (больше двух третей) большинство советского населения, они неизбежно оказывались ядром «советского народа». Формировавшаяся «в СССР новая историческая общность людей, благодаря гигантскому весу русской национальной составляющей, начиная с середины 1930-х годов все более и более окрашивалась в явно русские национальные тона» (27).

Русский язык служил *lingua franca* («языком межнационального общения») СССР, советизированная и деэтнизированная версия русской культуры выступала моделью для других культур. Миллионные потоки трудовой миграции на национальную периферию СССР формировали у русских идентификацию со всем советским пространством: только за 13 лет, с 1926 г. по 1939 г., численность русских вне пределов РСФСР выросла с 5,1 до 9,3 млн. человек. В целом за годы Советской власти доля русских, живущих вне РСФСР, возросла с 6,7 до 17,4%, составив накануне крушения СССР 25,3 млн. человек (в том же году в границах РСФСР проживало 119,9 млн. русских) (28).

Отождествлению государства и русской этничности способствовал специфический статус РСФСР. В отличие от нерусских союзных республик, создававшихся как «национальные дома», территория Российской Федерации формировалась по «остаточному принципу»: ее составили территории, не вошедшие в нерусские союзные республики. Тем самым недвусмысленно провозглашалось, что РСФСР — нечто иное, чем «национальный дом» русского народа. Институциональная неполноценность России в сравнении с другими советскими республиками — а в ней отсутствовал ряд ключевых институтов советской системы, таких как Компартия, Академия наук и др. — побуждала «русских видеть во всем СССР собственное “национальное государство”» (29).

Этим отождествлением коммунистическая власть пыталась снять угрозу сломавшего царскую Россию конфликта русской этничности и надэтнической империи. Если русские будут воспринимать все пространство СССР как свою Родину, а союзные институты как русские, то это не только укрепит территориальную целостность

и политическую стабильность страны, но и лишит русских необходимости бросать новый вызов центральной власти; в то время как институциональное равенство России — самой большой, экономически развитой и богатой ресурсами республики — с другими советскими республиками, восприятие ее как русского «национального дома» стимулирует стремление к русскому первенству и составит почву неизбежного конфликта союзных и русско-российских институтов и интересов — так можно реконструировать политическую логику, продиктовавшую институциональную неполноценность России и ассиметричную конструкцию СССР. (К слову сказать, разделявшиеся Сталиным опасения насчет потенциально «подрывной» роли России в полной мере подтвердились в период борьбы за власть между советским лидером М. С. Горбачевым и российским президентом Б. Н. Ельциным.)

Правда, из русской окраски Советского Союза, — а к вышесказанному надо добавить еще и очевидное преобладание этнических русских в высшем политическом эшелоне страны (русские составляли почти  $\frac{3}{4}$  состава ЦК КПСС, избранного XXVII съездом КПСС, русскими были 8 из 10 членов Политбюро и 10 из 11 секретарей ЦК (30)), — вовсе не следовал «руссоцентричный» характер СССР в том смысле, что русские правили в нем или получали преимущества от своего этнического статуса. Ничего подобного не было и в помине.

Россия и русские играли роль финансового и сырьевого донора советских республик, поставщика рабочей силы для нужд социалистической модернизации. В то же время уровень жизни в РСФСР был ниже, чем в других республиках европейской части СССР. Превалирование русских в политической элите СССР не обеспечивало русскому народу никаких социальных, экономических или культурных преференций и не может служить доказательством «русского» характера коммунистической власти. Политический истеблишмент ощущал себя «советским», а не «русским». В политике Кремля невозможно было обнаружить даже намека на приоритет русских интересов как интересов этнической группы. Широкое распространение русского языка и обязательность его изучения диктовались необходимостью поддержания единого культурного, научного, образовательного и коммуникационного пространства, а не задачами «русификации».

То, что периферийные националисты называли насильственным «русификацией», чаще всего было свободным и добровольным вхождением в более сильное, развитое и влиятельное культурно-языковое пространство. Если бы дело обстояло иначе, вряд ли в переписи 1989 г. 15,8 млн. советских людей нерусской национальности указали бы своим «родным» языком русский. Тем более что у них была возможность ограничиться отметкой о «свободном владении» русским языком (именно так поступили 68,8% нерусских).

Культурная ассимиляция чаще всего сопровождалась ассимиляцией биологической (для детей в русско-нерусских браках русская идентичность выглядела предпочтительной), причем основную часть (от половины до двух третей, по подсчетам В.И. Козлова) ассимилировавшихся в русскость составили украинцы и белорусы, то есть представители народов с минимальной генетической и культурно-исторической дистанцией в отношении русских (31).

Вместе с тем, именно в рамках коммунистической системы был дан решительный толчок оформлению артикулированных украинской и белорусской этнической идентичностей. «Только тоталитарное государство, действуя сугубо внеэкономическими методами, могло бросать столько сил и средств (в условиях их вечной и чудовищной нехватки) на национальную науку, национальное искусство... на подготовку учителей, на издание словарей и газет — короче, на безнадежно убыточную по либерально-капиталистическим меркам государственную украинизацию. Даже гетман Скоропадский не смог и не стал бы это делать, предоставив дело, как он говорил, «вольному соперничеству языков и культур». А исход такого соперничества... не был предрешен на Украине в украинскую пользу. В условиях свободного выбора русскоязычная и русскокультурная стихия имела все шансы победить» (32). Тем более верна эта мысль в отношении белорусов.

В СССР в модифицированном виде была воспроизведена ключевая формула существования царской России: русские несли ответственность за страну, служили мотором ее развития, получив в качестве компенсации право гордиться сомнительной ролью «старшего брата» и чувство «глубокого удовлетворения» от «выполнения интернационального долга». Реальные преференции полагались националам, ведь Советский Союз, по уверениям за-

падного автора, с которым полностью солидаризовался директор академического Института этнологии В. А. Тишков (33), был «империей аффирмативных акций». Наиболее адекватным переводом смысла выражения «*affirmative actions*» на русский язык будет «позитивная дискриминация», а не «позитивные действия». Ресурсы для поощрения, развития и покупки лояльности этнической периферии черпались у этнического ядра, в отношении которого «позитивная дискриминация» оборачивалась как раз своей подлинно дискриминационной, негативной стороной.

Не в пример более богатые Соединенные Штаты проводили аффирмативные действия в отношении этнических и расовых меньшинств за счет этнического и расового большинства. Сравнительно недавно, в 1990-е гг., тема «обратной дискриминации», то есть ущемления белых, которые не могли найти работу или продвинуться по службе из-за предпочтения, отдававшегося расовым/этническим меньшинствам, служила предметом активного обсуждения в США.

Тем более верно это было для Советского Союза, где «в 60–80-е годы нерусские национальности совершили разительный прорыв в области образования и социальной мобильности. К моменту последней советской переписи населения (1989 г.) доля лиц с высшим образованием, особенно с учеными степенями, среди титульных народов союзных и многих автономных республик была выше среднесоюзного уровня и заметно выше по сравнению с русскими, проживающими в этих республиках. Так, например, в Якутии на 1000 человек в возрасте 15 лет и старше среди якутов приходилось 140 человек с высшим и незаконченным высшим образованием, среди русских — 128 человек. В Бурятии и Калмыкии эти показатели еще больше в пользу титульных национальностей. Примерно такая же ситуация и по республикам Поволжья» (34).

В то же время было бы ошибочным изображение русских в национальных регионах СССР исключительно в «страдательном залоге». Ситуация была сложной, дифференцированной и менялась с течением времени. «Участие русских в отраслях здравоохранения, просвещения, науки, культуры, искусства определялось, с одной стороны, уровнем развития данных отраслей в республике, с другой — степенью включения в нее лиц коренной национальности. В более урбанизированных республиках, отли-

чающихся высоким образовательным и профессиональным уровнем коренных национальностей, представительство русских в отраслях здравоохранения и просвещения уже в 60-е годы стало заметно снижаться. В 70-е годы этот процесс затронул и республики Средней Азии, Молдову, чему способствовало расширение сферы здравоохранения и просвещения в сельской местности, где проживала значительная часть коренного населения. В таких же «городских» сферах, как наука, культура, искусство, позиции русских в большинстве республик оставались относительно высокими». В 80-е годы темпы роста численности интеллигенции среди «коренных» народов возросли еще заметнее, в то время как падение доли русской молодежи в вузах за пределами РСФСР предвещало неизбежное радикальное снижение представительства русских в составе всех работников квалифицированного умственного труда (35).

На протяжении длительного времени (по меньшей мере до конца 1960-х гг.) русские воспринимали свою решающую роль в социалистической модернизации и даже собственную дискриминацию в пользу других этнических групп как *естественное положение вещей*. Для них это было проекцией их собственной силы, исторической миссии и чувства ответственности. Советская компенсаторная идеологическая формула о «русском старшем брате» выражала свойственное еще дореволюционной России реальное русское самоощущение собственной силы и русского первенства. Это характерный истории парадокс, когда сила оборачивается против ее носителя.

Принципиально новым явлением была сформированная Советами русская идентификация со всем советским пространством, чувство ответственности за Советский Союз, который русские стали воспринимать как свою Родину. Именно среди русских союзная идентификация заметно преобладала над республиканской: социологический опрос в Москве осенью 1987 — зимой 1988 г показал, что большинство респондентов (почти 70%) своей Родиной считали весь Советский Союз, а не РСФСР, с которой идентифицировали себя лишь 14% опрошенных. В целом среди русских уровень союзной идентификации был даже выше, чем в советской столице, составляя почти 80%, в то время как, скажем, подавляющее большинство узбеков, грузин и т. д. называло Родиной «своих» национальные республики.

Отождествление русских со всем союзным пространством выражало исторически устойчивую и длительную тенденцию к расширению территории этнического расселения, тенденцию, которая, как и русская мобильность, была решительно форсирована практикой «социалистического строительства». Довольно упомянуть, что за годы Советской власти половина (точнее, 51%) всех русских СССР хотя бы раз в жизни сменили место жительства, а доля русских, живущих вне РСФСР, возросла с 6,7 до 17,4% всего русского населения страны (36). Без преувеличения, то было «великое переселение» отдельно взятого народа.

Союзная идентификация русских сохранялась в почти неизменных масштабах вплоть до кончины самого Союза. В декабре 1990 г., то есть за год до распада Советского Союза, когда «парад суверенитетов» и межэтнические конфликты в стране приближались к своему апогею, от 70 до 80% русских продолжали называть себя гражданами Советского Союза. Хотя число русских, открыто возражавших в то время против межэтнических браков или межэтнических контактов в профессиональной сфере, почти удвоилось в сравнении с 1970-ми гг., оно все же не превышало 15%, что было очень немного на фоне агрессивного национализма нерусских народов. Даже в Москве, активно выступавшей на стороне демократической оппозиции и Б.Н. Ельцина, в ноябре 1990 г. лишь 25% жителей поддерживали идею отделения РСФСР от СССР, в то время как 44% оставались сторонниками союзного единства (остальные не определились) (37).

Однако более важно, что к этому времени союзная идентичность не обладала мобилизующей силой, то есть она не могла подвинуть русских — ни общество в целом, ни укомплектованные преимущественно этническими русскими союзные элиты — к действиям по защите единства государства, которое они считали своей Родиной. Кстати, синхронизированное действие, точнее, бездействие русских — вне зависимости от их социального статуса и интересов — в ситуации кардинальной угрозы советской стране подтверждает гипотезу об объединяющей этническую группу имплицитной, бессознательной связи. Молчали и бездействовали как те, кому было что терять, так и те, кому, как им казалось, терять нечего (вспомним популярный политический лозунг той эпохи: лучше ужасный конец, чем ужас без конца; впрочем, вскоре выяснилось, что то, что считали концом, стало началом бесконеч-



ного ужаса). Коммунистическая элита (большинство которой на союзном уровне составляли именно этнические русские, что виделось залогом прочности советского государства) относилась к этому государству точно так же, как и ведомые ею массы русских — как к чужому. И это чувство, надо полагать, сложилось, сформировалось заблаговременно, а не в момент перестройки, лишь проинившей его.

Когда на кону оказалась судьба страны и государства, союзная идентичность не выдержала проверки на прочность, оказавшись не более чем лишенной жизненного содержания пустой оболочкой. И это была принципиальная слабость советского строя, вызревавшая и накапливавшаяся в течение длительного времени, чтобы затем в одночасье изменить не только судьбу страны, но и траекторию мирового развития.

Не гибель Советского Союза привела к разрушению советской и союзной идентичностей, а проходившее под покровом советской стабильности разрушение этой идентичности, выхолащивание ее жизненной силы послужило кардинальной предпосылкой гибели СССР. Разрушение союзной идентичности стало не следствием, а причиной. А поскольку главным носителем, ядром союзной идентичности были русские, то капитальную причину гибели советской государственности, советской Родины должно искать в фундаментальной трансформации русского самосознания, а не в ошибках или «предательстве» М.С. Горбачева, «геополитическом заговоре», падении цен на нефть, советских экономических проблемах и т. д.

Эти факторы имели значение не сами по себе, а лишь в том смысле, что проявили, актуализировали, ускорили остававшиеся дотоле под спудом ментальные процессы. Перефразируя незабвенного героя М. А. Булгакова, революции начинаются в головах, а не вытекают непосредственно из социополитического и экономического контекстов. Кризисная ситуация и политическая активность связаны не прямыми каузальными связями, а множеством опосредований, где решающее значение имеет происходящее даже не в массовом сознании, а в этническом бессознательном. Как и в трагическом финале «старой» империи, русские, считавшиеся залогом ее устойчивости, оказались первопричиной ее гибели. В первом случае они погубили ее своими действиями, во втором — бездействием.

Исчерпывающим доказательством нежизнеспособности советской идентичности служит даже не столько бездействие русских в критической фазе разрушения СССР, сколько отсутствие сильной, внятной, массовой политической реакции с их стороны постфактум, уже после разрушения государства и страны. Понятно, что осознание масштаба и значения поистине тектонических изменений происходит не сразу, а с некоторым запозданием.

В этом смысле весьма показательно, что довольно спокойное отношение дореволюционного общества, в том числе его групп (дворянства, армейского офицерства, чиновничества), традиционно воплощавших ценности имперской идентичности, к уничтожению института монархии в России, спустя год-полтора вылилось в ожесточенную вооруженную борьбу под знаменем «единой и неделимой России». И если политические и экономические основания грядущей страны оставались для белогвардейцев остро дискуссионными, то ее целостность, единство и великая миссия — имперский принцип — составляли *sine qua non*, не подвергаясь сомнению перед лицом соображений политической необходимости и давлением союзников. Удивительная способность сражаться насмерть и проливать кровь — чужую и собственную — не ради интересов (условно, сожженных поместий, экспроприированных заводов и проч. — владельцы оных как раз в вооруженной борьбе не участвовали, костяк белого движения составляли разночинцы и интеллигенция), а ради идеальных императивов ясно и недвусмысленно показывает: в начале XX в. имперская идентичность была «живой» и обладала немалой мобилизующей силой. Да что тут говорить, если противоборствовавшая сторона — большевики — также стояла на позиции единства и целостности страны, хотя добивалась этой цели не в пример более гибкими средствами.

Но ничего подобного и близко не происходило в стране после декабря 1991 г.! Курсанты советских военных училищ не уподобились московским юнкерам, ни одна (!) воинская часть не выступила под знаменем «единого и неделимого СССР», никто не уходил на Волгу к генералу Макашову, как уходили на Дон к генералу Краснову. И дело отнюдь не в том, что армии был ненавистен Горбачев. Присягали армия и КГБ не Горбачеву, а Советскому Союзу. Но никто не остался верен присяге, ни один человек.

Поразительно, но единственным, кто покончил жизнь самоубийством, когда ГКЧП не удалось спасти единство страны, был

платили Пуго, а русские маршалы и генералы сдали страну так же, как сержанты сдают караул. (Форма суицида, которую будто бы выбрал для себя маршал Ахромеев, настолько необычна для боевого офицера, что заставляет подозревать инсценировку. А странные «самоубийства» бывших управляющих делами ЦК КПСС вообще, как говорится, из другой оперы.)

Впрочем, и Ельцин, получив власть, не пошел по пути болшеви́ков, не занялся собиранием империи. Такая гипотетическая возможность у него была, но не было главного — массовой поддержки, желания русских «напрягаться» и жертвовать хоть чем-нибудь ради воссоздания страны, которую они еще буквально за несколько месяцев до этого называли своей Родиной.

Отсутствие политических субъектов, всерьез, по-настоящему (и не вербально и в качестве политической рекламы) пытавшихся восстановить единство страны, было не случайностью или временной дезориентацией русского самосознания, а проявлением его радикальной трансформации. Подавляющее большинство русского народа продемонстрировало подлинное безразличие к судьбе собственной страны — Советского Союза. Защита Дома Советов в сентябре–октябре 1993 г. оказалась не более чем трагическим эпизодом, своей разовостью и локальностью наглядно показавшим массовое глубокое, экзистенциальное отчуждение российского общества от советского государства, его миссии и вообще от любых идеальных императивов.

Но за это коммунистическая власть может поблагодарить только себя и свою политику в отношении русского народа, которая, в кратковременной и ситуативной перспективе укрепляла единство страны, а в долговременном, стратегическом плане создавала ситуацию ее критической уязвимости. В данном случае имеются в виду не ошибки или «преступления» коммунистической власти — подобными ошибками и «преступлениями» полна любая национальная история и наша не так уж выделяется. Речь идет о том, что я метафорически называл бы имперским Танатосом — роковой предопределенностью имперской политики. Советская политика, советский опыт представлявшие, в некотором роде, рефлекссию на гибель «старой» империи, привели точно к тому же результату, причем историческая траектория СССР оказалась значительно короче исторического пути его предшественника. Как в анекдоте советской эпохи: главная вина Романовых в том, что за триста лет

своего правления они не смогли запасти провизии на семьдесят лет советской власти.

Впрочем, природа русского Рока оказалась ничуть не мистической, а вполне рациональной и очевидным образом выводимой из генеральной формулы существования Российской империи и СССР. Их бытие и исторический успех в решающей мере зависели от (понятой максимально широко) силы русского народа. Ослабление этой силы естественным образом вело к уязвимости социальной системы и государства. Однако понимание данного решающего обстоятельства было в целом чуждо отечественной правящей элите — дореволюционной и коммунистической. Русские выглядели почти неисчерпаемым резервуаром государственного могущества. Отдельные попытки усомниться в устойчивости такого положения вещей отторгались и клеймились как «реакционные».

В то же время коммунистическая власть извлекла уроки из гибели «старой империи» и попыталась предотвратить развитие событий по апробированному сценарию. Раз первопричиной гибели царской России стал конфликт русского народа и имперского государства, общества и элиты, то предотвращение его повторения виделось в достижении культурной и социальной гомогенности, отождествлении русских с имперскими (союзными) интересами. Но было еще одно очень важное направление коммунистической политики: сохранив за русскими роль краеугольного камня государства, одновременно лишить их потенциально опасной для этого государства этнической самости, русскости.

В этом состояло одно из коренных отличий советской ситуации от дореволюционной. В «старой» империи русские представляли *этническую субстанцию*, в которой, как долгое время предполагалось, естественным образом растворятся, влившись в «русское море», иные народы, в СССР же русских пытались превратить в *деэтнизированный субстрат*, призванный скрепить блоки советской машины и лечь в основание «советского народа». Подобное целеполагание никогда не эксплицировалось, в доктринальных коммунистических документах нельзя обнаружить столь откровенных формул. Однако такова была объективная логика советской национальной стратегии, логика социальных и политических практик «реального социализма». Упрощая, если до революции был курс на ассимиляцию в русскость, то после революции — на

ассимиляцию русских в «советскость», ведь успех строительства «советского народа», «слияния национальностей» в решающей мере зависел от того, удастся ли ассимилировать русских (более широко — восточных славян), превратив их в ядро «советского народа».

Ввиду конечного фиаско глобального советского проекта существует соблазн постфактум оценить советскую этнополитическую стратегию как заведомо провальную. И это было бы серьезной ошибкой: в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе она была довольно эффективной, что, впрочем, не исключает ее оценки как исторически обреченной. «Советский народ» отнюдь не оказался химерой коммунистических идеологов, он приобрел черты реальной общности, что наиболее рельефно проявилось среди русских. Вместе с тем, несмотря на тесную связь «союзной» идентификации и идентификации с «советским народом», они не были тождественны: условно, первая представляла территориально-государственную идентификацию, а вторая — идентификацию с политической общностью. Понятно, что это несколько искусственное расчленение синкретичного массового сознания, однако за подобными абстракциями стоят реальные культурно-психологические комплексы, реализующиеся в множественности идентичностей. Можно быть гражданином Франции, не считая себя при этом французом, а большинство жителей современной России, считающих ее своей Родиной, вовсе не чувствует себя «россиянами» — членами российской политической нации.

Подавляющее большинство советских русских (70–80%) называло своей Родиной весь Советский Союз. В то же время лишь треть русских самоопределялась в качестве членов политической общности или, другими словами, членов советской нации. В 1989 г. удельный вес категории «советский человек» среди самохарактеристик русских РСФСР составлял 30%, а среди жителей Москвы и Ленинграда — 38%. Правда, десятилетие спустя уже 64,8% русских говорили о переживании в советское время «чувства принадлежности к большому сообществу» (из контекста следует, что речь шла о политическом сообществе) (38). Подобная валоризация советской идентичности имеет понятные психологические причины: лишь утратив, мы в полной мере осознаем, *что* именно потеряли.

Среди русских «советская» и «союзная» идентичности выглядели более четкими и артикулированными, чем этническая идентичность. Такой вывод напрашивается из опроса москвичей русской

национальности второй половины 1980-х гг. «На “открытый” т. е. без подсказки, вопрос: “Что Вас роднит со своим народом?” — чуть более четверти респондентов затруднялись ответить, а около  $\frac{1}{5}$  не могли найти ничего, что связывало бы их с людьми своей национальности. Максимальная доля назвавших тот или другой признак национальной идентификации не превышала 25%».

Очевидное затруднение в поиске русских этнических маркеров выглядело бы немыслимым лет за шестьдесят до этого, когда конфессиональная принадлежность считалась надежным и ведущим критерием определения русскости. Во второй половине 80-х гг. русские идентифицировали себя преимущественно по культурно-историческим и стилевым признакам: первое место занимал язык, второе — общие со своим народом традиции и обычаи (стиль жизни), третье — культура, четвертое и пятое делили «сходные черты характера и общность исторической судьбы — историческое прошлое». Единственный в этом списке биологический показатель русскости — внешность — занимал довольно скромную 6–7 позицию, разделив ее с местом жительства (39). (Отсутствие в перечне конфессионального маркера объясняется идеологическим контекстом времени проведения опроса. Вероятно, в латентном виде он присутствовал в опции «культура».)

Хотя другие «советские нации» идентифицировали себя приблизительно по тем же признакам, что и русские, их этническая идентичность была несравненно более артикулированной и сильной, чем «советская» и «союзная» идентичности, и значила для них несравненно больше, чем для русских. Невозможно вообразить ситуацию, чтобы среди армян или латышей, узбеков или татар более половины населения ничтоже сумняшеся заявили, что для них не имеет значения ни их собственная национальность, ни национальность окружающих. А ведь такую точку зрения разделили 62% русских москвичей и 50% русских респондентов на селе. Причем опрос проводился в 1992 г., увидевшем пик кровавых межнациональных конфликтов, по горячим следам распада Советского Союза!

Одновременно те же люди в то же самое время признавали важность этнических чувств как таковых: в Москве 61%, в сельской местности — 73% опрошенных согласились с утверждением, что «человеку необходимо ощущать себя частью какой-либо нации»; противоположное утверждение — «современному человеку

не обязательно чувствовать себя частью какой-то национальной группы» — разделяло меньшинство (38% в Москве и 27% на селе) (40). Признавая важность этничности вообще или ее важность для других, русские вместе с тем не очень высоко оценивали ее значение для себя, то есть русская этническая рефлексия была амбивалентной. При этом повседневные русские практики расходились с русскими же самооценками, отражавшими не столько реальный, сколько «парадный» образ русскости и ее взаимодействия с иными этническими идентичностями.

В любом случае эта двойственность была следствием дуализма коммунистической национальной политики, сочетавшей институционализацию этничности (формирование «советских наций») в случае нерусских народов с элиминированием русской этничности, растворением ее в «советскости» как пространстве и социальной сущности СССР. Можно сказать, что из коммунистического лозунга «постепенного слияния» наций через их «расцвет» на долю русских (а также, в какой-то степени, украинцев и белорусов) выпало «слияние», а «расцвет» достался другим.

В этом отношении очень показательно освещение русской тематики центральной и республиканской русскоязычной прессой в середине 1980-х гг. «Правда» и «Комсомольская правда» акцентировали преимущественно социальную, а не этническую сторону русскости: русские как «советские люди», как интернациональное сообщество, а не отдельная этническая группа. В то же время республиканские русскоязычные издания отделяли русских от «титовых» наций, противопоставляли «их» и «нас» именно по этническому критерию. «Они показывали русских как бы отстраненно. Русские в этих газетах — это не “мы”, это “они”, их “жизнь”, “их” культура, “их” взаимодействие с нами» (41). Уровень этой этнической дифференциации и даже латентного отчуждения был заметен выше, чем в аналогичном российском республиканском издании — «Советской России», пытавшейся сочетать пропаганду русского национального самосознания с идеей советской нации.

Но если «советская» национальность реально возникла, а русские действительно отождествляли себя с СССР, считая его своей «советской Родиной», то почему же я называю коммунистическую этнополитическую стратегию исторически обреченной? Понимание этничности как биосоциального феномена, примордиального

свойства, имманентной природы человека, на мой взгляд, не оставляет даже теоретических шансов ее элиминирования.

Важным доказательством этого утверждения служит не столько советский, сколько американский опыт — опыт иммигрантской страны, считающейся чуть ли не мировым эталоном преодоления расовых и этнических различий. Вопреки восприятию США и СССР как антиподов, существует сходство и подобие — не внешнее и случайное, а глубокое и сущностное — советской и американской политик в части государственной этнической политики и нациестроительства. Знаменитая американская концепция *«melting pot»* («плавильного тигля») исходила из презумпции слияния отказавшихся от собственной идентичности миллионов иммигрантов в новой надэтнической общности — «гражданской нации». Правда, эта якобы неэтническая гражданская общность в действительности основывалась на англосаксонских ценностях, подразумевала движение к англосаксонским идеалам и была окрашена в англосаксонские культурные цвета. Другими словами, идентичность определенной этнической группы навязывалась другим этническим и расовым группам под видом универсальной.

Для стимулирования этого процесса была учреждена политика «позитивной дискриминации» расовых меньшинств и дискриминируемых групп, предлагавшая обменять продвижение по социальной лестнице на культурный конформизм и отказ от собственной этничности. Однако десятилетия ее существования не только не снизили существенно роль расовых и этнических различий в Америке, но даже стимулировали их (42). Новые иммигранты в значительной своей части не спешат отказаться от собственной идентичности и требуют участия в политике именно с точки зрения непохожести на американский стандарт.

Переход от политики «плавильного тигля» к мультикультуральному «салату» (ингредиенты перемешаны, но сохраняют свою фактуру) не решил принципиальную проблему сочетания гражданской и этнических/расовых идентичностей, а, по утверждению ряда авторов, лишь провоцирует и усугубляет конфликт между ними (43). В то же самое время прогрессирующе изменение этнорасового баланса в США в сторону ослабления этнического ядра страны — англосаксов — бросает потенциальный вызов самому существованию американской политики. Последний вывод, шокировавший помешанную на политкорректности Америку, тем более



нижен, что он исходил не от правоконсервативного публициста и политика П. Бюкенена, а освящен авторитетом всемирно известного ученого С. Хантингтона.

Не правда ли, очень похоже на развитие событий в Советском Союзе? Правда, в США отсутствует институционализированная в форме национальных протогосударств этничность, не говоря уже о несравненно более мощной материальной базе, на которую они опираются. Однако *типологически* в этнической сфере они сталкиваются с теми же проблемами, что и СССР. Из чего, впрочем, вовсе не следует, что и финал будет тот же.

Этничность сохранила свое значение и даже упрочила его и иммигрантских США. Тем более вероятным это выглядело в СССР, где, с одной стороны, поощрялись (пусть непоследовательно) нерусские этничности, с другой — подавлялась русская. Однако крушение нашей страны имело первопричиной вовсе не взрыв периферийных национализмов или экономические проблемы, не давление Запада и дряхление советской идеологии, не ошибки высшего руководства и предательство обменявшей власть на собственность коммунистической элиты и т. п., а *драматическое ослабление русской витальной силы* — источника мощи и главного движителя Советского Союза. Рождение континентальной империи было в решающей мере обусловлено русской силой, ее бесславный финал стал результатом превращения русской силы в слабость.

Этот процесс очень хорошо прослеживается по демографической динамике русского народа в советскую эпоху. Обращение к этому аспекту тем более важно ввиду решающей роли демографического фактора в судьбе империй или, в нашем случае, полиэтничной политики.

Сокращение территории страны привело к повышению удельного веса русских в структуре ее численности: с 44% в конце XIX в. их доля выросла до 53% в 1926 г. и 58,4% в 1939 г., что существенно ослабило остроту дореволюционной проблемы превращения русских в относительное этническое меньшинство «старой» империи. Но более важным показателем русской силы было сохранение высокой рождаемости: к середине 1920-х гг. она восстановилась почти до уровня начала XX в., что в купе со снижением смертности обеспечило повышение естественного прироста. Этот показатель превышал 20 (на 1000 человек) у русских и всех

крупных народов европейской части страны. В СССР 20-х гг. произошел первый демографический переход: снижение смертности при сохранении высокой рождаемости и высоком естественном приросте.

Демографические изменения, растянутые во времени у европейских народов, у русских оказались спрессованы. На рубеже 20–30-х гг. среди крупных народов европейской части СССР началось существенное снижение рождаемости, причем у русских, из-за их большей вовлеченности в процесс модернизации, более значительное, чем у других народов. Естественный прирост в РСФСР сократился почти вдвое по сравнению с серединой 1920-х гг. У русских показатели естественного прироста в 1926–1939 гг. были ниже средних по стране, в то время как потери от репрессий в целом выше средних показателей. Это не могло не вызвать обеспокоенности коммунистической власти, ведь численность именно русского населения составляла главный экономический и мобилизационный ресурс страны. Вероятно, поэтому и было принято знаменитое постановление 1936 г. о запрете аборт (кроме как по медицинским показаниям) и о материальной помощи многодетным семьям.

Компенсаторный послевоенный подъем рождаемости приостановил, но не обратил вспять тенденцию снижения рождаемости и естественного прироста у русских, которая, начиная с 1960-х гг. приняла необратимый характер. В это время в России, на Украине и в Прибалтике произошло падение рождаемости ниже уровня воспроизводства населения, причем в этом отношении мы на десятилетие опередили Европу. С 70-х гг. наметилась тенденция депопуляции русского населения, охватившая сначала две, а к концу 80-х гг. — пять русских областей РСФСР. Хотя доля русских во всем населении страны уменьшилась не так уж драматически, составив в 1989 г. 50,6%, качество «человеческого материала» не оставляло им шансов сохранить традиционную роль хранителя и краеугольного камня государства.

Распространенное объяснение снижения рождаемости русских (а также других крупных народов европейской части СССР) трансформацией отечественного общества из аграрно-патриархального в позднеиндустриальное и урбанизированное, а также соответствующей сменой ценностных ориентаций, при всей своей правдоподобности не может служить исчерпывающим. Если рус-

ские с 1960-х гг. действительно вступили во второй демографический переход, характеризующийся низкой рождаемостью при одновременной низкой смертности и росте продолжительности жизни, как объяснить, что именно в 70-е годы, весьма благополучные, по скромным советским меркам, в социальном и материальном отношении, в РСФСР возросла смертность, причем не только среди старших поколений, но и среди мужчин в расцвете сил — в возрасте 30–50 лет (т. н. «сверхсмертность»), а ожидаемая продолжительность жизни с возраста 5 лет у русских впервые в мирное время стала уменьшаться? Что же это была за такая «демографическая революция» (термин, предполагающий в прогрессивистском культурно-идеологическом контексте позитивные коннотации), при которой в коренной, исконной России наметилась тенденция депопуляции или, попросту, вымирания, ставшая доминирующей в 90-е гг. (с 1992 г. по 2002 г. естественная убыль населения России составила 7,4 млн. человек)? (44).

Хотя депопуляция или преддепопуляционное состояние характерно для большинства европейских государств, включая католические, а самый высокий темп сокращения численности населения в ближайшее десятилетие прогнозируется в Японии, современную Российскую Федерацию отличает от этих стран вопиюще низкая продолжительность жизни и прогрессирующее снижение уровня развития человеческого потенциала. Поэтому Россия явно не вписывается в лстящий самолюбию типологический ряд развитых государств.

Не говоря уже о том, что есть какая-то чудовищная несообразность в том, чтобы считать признаком развитости и цивилизованности сознательный отказ иметь детей. Это очень похоже на подмену понятий: очевидная атрофия или деформация в подлинном смысле базового инстинкта продолжения рода возводится в ранг высшей и чуть ли не жизнеутверждающей ценности. Такое общество вряд ли можно назвать психически и морально здоровым.

К слову сказать, авторитетный отечественный демограф, использовавший в середине 1970-х гг. жизнеутверждающее определение «демографическая революция» для характеристики ситуации в СССР, спустя 30 лет оценил демографическое состояние современной ему России как катастрофу (45), а ведь корни этой катастрофы уходили в советскую эпоху. Обратной стороной демографического взрыва у одних «социалистических наций» оказалась

демографическая катастрофа у других, в частности, у русского народа, начавшего проваливаться в историческое небытие.

Советские социальные и политические практики, навьюченная на русских ноша «строительства социализма», в конечном счете, истощили их, русская сила оказалась отнюдь не безразмерной, а исчерпаемой. Еще в начале прошлого века обозначился ее предел, который был роковым образом перейден в его последней трети. Русский жизнеродный потенциал, по точному замечанию отечественного публициста, был переплавлен в военное и экономическое могущество СССР, в заводы и ракеты (46). Державная ноша сломала русских.

В последней трети XX в. впервые за столетия имперского служения русские перестали ощущать себя сильным и уверенно смотрящим в будущее народом, которому по плечу любой груз. Русский демографический кризис слишком очевидно контрастировал с демографическим взрывом в мусульманских регионах Северного Кавказа и в Средней Азии. Очень наглядно в этом плане выглядит изменение этнического баланса в Казахстане. В 1939 г.: русских — 2,5 млн., казахов — 1,9 млн.; в 1959 г.: русских — 4 млн., казахов — 2,8 млн.; в 1979 г.: русских — 6 млн., казахов — 5,3 млн. человек. Если до 1960-х гг. рождаемость в русских и казахских семьях была сопоставимой (а в первой половине XX в. русские женщины вообще рожали больше, чем казашки), то в 60-е годы произошел перелом в рождаемости, вследствие которого уже в 70-е годы у казахов рождалось в 2 раза больше детей, чем у русских.

Аналогичным образом дело обстояло в Чечено-Ингушетии. К началу 60-х гг. русских там жило больше, чем чеченцев с ингушами: 348 тыс. против 292 тыс.; вполне сопоставимой была и рождаемость. Но в конце 1970-х на одного русского ребенка рождалось уже 5 вайнахских. С учетом миграции доля русских в населении республики снизилась до 23%. Ретроспективно, с современной наблюдательной позиции случай Чечни выглядит особенно важным ввиду рельефной связи демографической и политической динамики, как наглядная демонстрация политической проекции биологической силы. Обобщая, можно назвать это «косовской моделью» политики, разворачивающейся следующим образом: высокая рождаемость — изменение этнического баланса — выдавливание «чужаков» — дальнейшее изменение этнического баланса — требование сецессии при благоприятных политических условиях.

Потеря Косово была закономерным политическим итогом биологической экспансии албанцев: в начале XX в. в Косово на 10 семей сербов приходилась 1 семья албанцев, за столетие ситуация перевернулась — на 10 семей албанцев приходилась 1 сербская семья. Удержать Косово в составе Югославии можно было лишь подвергнув албанцев геноциду, на что, по понятным причинам, сербы пойти не могли.

Хотя в советскую эпоху связь политики и демографии, как правило, не манифестировалась (за исключением заключительных 6 лет существования СССР), демографическая динамика среднеазиатской периферии носила впечатляющий характер. В Таджикистане естественный прирост населения в 70-е годы в 6 раз превышал естественный прирост в РСФСР, узбеки в течение нескольких десятилетий превратились в третий по численности советский народ. К исходу Советского Союза среднеазиатские титульные народы вышли на траекторию удвоения своей численности каждые 25 лет! (47) В 1970-е гг. западные аналитические центры прогнозировали, что к концу XX в. Советская армия будет более чем наполовину состоять из мусульманской молодежи Средней Азии и Кавказа.

Противоход демографической динамики народов был несравненно заметнее русским, которые жили на Кавказе и в Средней Азии, чем жителям «материковой» России. Но даже если демографическая ситуация русскими в массе своей не рефлексировалась, она не могла не ощущаться ими как нечто глубоко неправильное. Ведь в собственно биологическом смысле русский жизнеродный потенциал оставался весьма значительным: с конца 1950-х гг. в России на одно рождение устойчиво приходилось около двух аборт, количество которых составляло около 4 млн. в год! И этих неродившихся детей (около 100 млн. человек!) нельзя отнести только на счет массовой практики аборт, вновь официально разрешенных в середине 50-х гг. Отказ от детей и массовое детоубийство (аборт, говоря без обиняков, есть узаконенное детоубийство) в России свидетельствовали о капитальном и всеобъемлющем морально-психологическом и экзистенциальном кризисе народа. Точно так же пьянство и алкоголизм, повышенный травматизм и т. д., которыми принято объяснять сверхсмертность русских мужчин цветущего возраста, были симптомами, внешним выражением глубокого русского надлома.

Другими словами, кризис русской биологической силы был взаимоувязан с морально-психологическим кризисом. Определить, что в данном случае первично, а что вторично, вряд ли возможно, да и не нужно: одно перетекало в другое. Вероятно, то были различные аспекты ослабления русского витального инстинкта — воли к экспансии и воли к доминированию.

Невозможно достоверно определить и первопричину этого ослабления: имело ли место некая неизвестная нам, не выявленная закономерность функционирования этничности как биосоциального феномена, или, что лично мне кажется более вероятным, русских сломала чудовищная ноша «социалистического строительства», добавленная к их традиционной роли гаранта стабильности, территориального единства и главного мобилизационного ресурса страны. Даже металлические конструкции «устают» и не выдерживают, что уж говорить о людях. К сожалению, предел физической и психической силы выясняется лишь постфактум, то есть когда он уже превзойден.

Именно в 1970-е гг. проявились очевидные симптомы усталости русских от ноши имперско-советского пространства. В это десятилетие численность русских сократилась в Азербайджане и Грузии, в 80-е — уже во всех закавказских и среднеазиатских (за исключением Киргизии) республиках (в первых — более существенно). Одновременно начался отток русских из ряда российских автономий, в первую очередь северокавказских (Дагестан, Чечено-Ингушетия, Северная Осетия), что особенно рельефно проявилось в Дагестане, где численность русских сократилась с 214 тыс. в 1959 г. до 166 тыс. в 1989 г. (48).

За этими изменениями миграционных потоков стоял слом фундаментальной тенденции отечественной истории. На всем ее протяжении территория этнического расселения русских только расширялась, русские миграции носили центробежный характер, при этом с XVI в. преобладало движение на юг и восток. С середины 70-х гг. XX в. впервые наметилась линия перемещения русского населения на север и восток, что означало возвращение домой, в Россию. Она окончательно закрепилась в 80-е годы, когда «характерная для истории русских инерция движения, «растекания» по территории страны уменьшилась, наступил момент относительного покоя, перелома, после которого зародилось и стало набирать силу противоположное по направлению движение —

центростремительное, «собирающее»». Подобные сдвиги почти тектонического характера более чем наглядно свидетельствовали об исчерпании русской силы, выражали массовое ощущение русских, что их великая — и невыполнимая — миссия завершилась. Прежние социокультурные и морально-психологические механизмы легитимации и компенсации русского бремени больше не работали. Задолго до того, как А.И. Солженицын написал афористичную фразу «Нет у нас больше сил на империю!», это тревожное ощущение охватило миллионы русских сердец.

Своей глубинной эмоцией русские заражали другие народы Советского Союза: «В этом движении в Россию русские не остались одинокими, увлекая своими потоками и население других, некоренных для тех или иных регионов национальностей» (49). Уходя в свой номинальный «национальный дом», сворачивая присутствие в советском пространстве и, тем самым, подсознательно отказываясь от ответственности за него, русские подавали отчетливый сигнал близящегося исторического финала великой страны — России/Советского Союза.

Формой рефлексии этого фундаментального сдвига отечественной истории и, одновременно, еще одним важным аспектом русского кризиса стало формирование с 60-х годов русского этнического дискурса, в центре которого стояла проблема соотношения русских этнических и российских республиканских интересов, с одной стороны, и общесоюзных, государственных, с другой. Вне зависимости от обсуждавшихся вариантов ее решения, публичное признание несовпадения русских и общегосударственных интересов было радикально новым явлением. Хотя подобная постановка вопроса восходила еще к дореволюционной России, в Советском Союзе «русский вопрос» вышел за рамки элитарного дискурса, что было неизбежным следствием социалистической модернизации, обеспечившей культурную гомогенность общества, всеобщее образование, сформировавшей массовую интеллигенцию. Сотни тысяч и даже миллионы людей по многим каналам вовлекались в массовый, народный этнический дискурс: через «почвеннические» журналы и «деревенскую» прозу, через ВООПИК и реставрационное движение, через масштабные кампании экологической, оздоровительной и историко-культурной направленности (в качестве примера достаточно назвать общероссийскую кампанию первой половины 80-х гг. против поворота русских рек с севера на юг, в Среднюю Азию).

При этом русский этнический дискурс и соответствующая прорусская активность завуалировано, из-за кулис поощрялись и поддерживались частью советско-партийной бюрократии, породив массу проникших даже в академическую литературу спекуляций об угрожающем взлете русского национализма и его высокопоставленных покровителях, о дрейфе правящего режима в направлении национал-большевизма и государственного антисемитизма (50).

Вопрос о причинах, которыми руководствовались коммунистические бонзы в своем покровительстве пробивавшемуся из-под глыб русскому самосознанию, не имеет однозначного решения. Можно предположить комбинацию нескольких ведущих мотивов: предопределенная этническим происхождением психоэмоциональная ангажированность русской проблематикой (проще говоря, боль русских чиновников за Россию); использование ими русского этнического дискурса для легитимации собственных политических позиций и как фактора межфракционной борьбы; стремление использовать русские этнические ресурсы для укрепления СССР и др. Но вот о чем можно судить уверенно и однозначно, так это о блистательном отсутствии в данном перечне русских националистических мотивов. Властный инстинкт и здравый смысл не давали сорваться в штопор опасной «ереси» русского национализма, угрожавшей существованию советского государства. В то же время сам факт подключения партийной элиты к русскому этническому дискурсу, как и имплицитного его включения в общеполитический дискурс, означали, с одной стороны, невозможность возвращения к политике brutального подавления русскости, а с другой, сигнализировали о ее возраставшем политическом значении. В противном случае КГБ вряд ли проявлял бы такой пристальный интерес к пресловутому «русизму».

Хотя массовый русский этнический дискурс, в общем, не имел националистической ориентации и даже не содержал политических требований, политическое измерение, в некотором смысле, было ему имманентно. Даже намек на повышение реального статуса русских и России, необходимость решения русских этнических проблем бросал вызов основам советской политики, чье могущество основывалось на эксплуатации русских этнических ресурсов.



В то же время для подавляющего большинства русских выбор между Советским Союзом и Россией не стоял. В массовом сознании русская этническая идентичность неразрывно сочеталась с союзной, предопределяя поиск *modus vivendi* на путях сохранения единого государства. Естественно, массовое сознание при этом не задавалось вопросом о реалистичности подобной формулы, в то время как опережающая рефлексия ряда русских националистических интеллектуалов еще на рубеже 60–70-х гг. XX в. впервые пришла к выводу о том, что сохранение Советского Союза представляет кардинальную угрозу существованию русского народа ввиду противохода демографической динамики восточных славян и среднеазиатских и кавказских народов. Появление — впервые в отечественной истории — антиимперского (назовем его для краткости так) русского национализма было важно не столько как политическое явление (ввиду преследований и обескураживающего радикализма цели его влияние на общественное мнение не было значительным), сколько как явный признак болезни русского этнического тела.

Формирование имперского этнического национализма в лице «черной сотни» начала XX в. было первым сигналом о неблагополучии русского народа. Рождение антиимперского русского национализма свидетельствовало о далеко зашедшей болезни. Ирония состоит в том, что смысл послания «черной сотни» также был объективно антиимперским, ведь требование господствующего этнического статуса для русских (восточных славян) с неизбежностью подрывало континентальную империю. Это один из типичных парадоксов русской истории, когда декларирующие диаметрально противоположные цели политические силы в действительности ведут страну (как написал в свое время и по другому поводу И. Р. Шафаревич) «к одному обрыву».

Правда, ни «черная сотня», ни антиимперский русский национализм последней трети XX в. не оказали решающего влияния на историческую траекторию России. Последний лишь растабуировал идею добровольного «сброса» части имперского наследства, начав психологически подготавливать русских к приятию дотоле для них невообразимого. Его функция была преимущественно психологической и культурной, а не политической. Воздействие антиимперского национализма фокусировалось на глубокие, нерелефлируемые пласты русской ментальности, в то время как на

уровне рации сознательный и добровольный отказ от империи, то есть от важной части русского историко-культурного наследия и русской идентичности, выглядел для русских неприемлемым. Точнее, они не решались сами себе признаться в собственном глубинном, потаенном, экзистенциально прочувствованном нежелании владеть державную ношу, в стремлении от нее освободиться.

По иронии истории (а может быть, по ее непонятому нами замыслу), разрушительные для страны идеи «российского суверенитета» и «равноправия России» были внесены в публичный дискурс людьми, для которых единство СССР не подлежало сомнению. Невозможно отнять у выдающегося русского писателя В. Распутина сомнительное первенство в том, что он первым на всю страну публично предложил задуматься о выходе России из состава Советского Союза. Однако идеи способны жить собственной жизнью, и как подчеркивал В.И. Ульянов-Ленин, овладевая массами, становятся материальной силой. Вне зависимости от контекста заявления Распутина и мотивов его единомышленников, именно патриоты России, печальники русского народа (пишу это без всякой иронии!) выковали идейное и пропагандистское оружие, уничтожившее страну, которую они так хотели сохранить. Перефразируя Гете, русский национализм оказался силой, которая, желая блага, вершила зло. По крайней мере, с точки зрения русского национализма, это было зло.

Правда, не стоит преувеличивать роль этих людей, переживших личную трагедию. Дело, в конечном счете, было не в них, а в созвучии части выношенных и высказанных ими идей массовому сознанию, в психологической готовности русских к рассказыванию собственного государства — «советской Родины». Не будь почвы в виде массовых настроений, зернам русско-российского сепаратизма суждено было бы завянуть, а не заколоситься пышными всходами. Здесь следует обратить внимание на одно важное обстоятельство: хотя социально-политическую динамику, определившую судьбы страны, вызвало именно требование суверенитета России, рациональным уровнем сознания была адаптирована внешне сбалансированная, но внутренне противоречивая и политически нереализуемая формула повышения статуса РСФСР в рамках Союза ССР.

Эта формула служила важным механизмом психологической самозащиты, способом массового сознания отрешиться от непри-

нелепому, невыносимому для него выбору. Характерно, что русские продолжали держаться за нее даже тогда, когда Советский Союз трещал уже по всем швам. На знаменитом референдуме 17 марта 1991 г. 71,3% населения РСФСР проголосовали за сохранение Союза в горбачевской формулировке (кстати, это было меньше, чем в целом по стране, где «за» проголосовали 76,4%) и почти столько же — 70% — поддержали идею Б.Н. Ельцина и демократов о введении поста президента РСФСР, которая в том политическом контексте означала форсированное движение к распаду страны. Уверенная победа Ельцина уже в первом туре выборов президента РСФСР (он получил 57,3% голосов от пришедших к избирательным урнам), которой не ожидали даже его ближайшие сподвижники и он сам, означала, что массовый бессознательный выбор *уже* был сделан не в пользу СССР, хотя на рациональном уровне люди *еще* не решались себе в этом признаться. В полном соответствии с психологическими механизмами, описанными Анной Фрейд, эти неприемлемые чувства проецировались и продолжают проецироваться на М.С. Горбачева, которому суждено оказаться в роли искупительного агнца коллективной вины.

Более важным, чем формальное соотношение голосов, индикатором морально-психологической, экзистенциальной истощенности русской миссии в имперско-советском пространстве было различие в массовом поведении политических групп в критической ситуации 19–21 августа 1991 г. и впоследствии. Если сторонники Ельцина и демократов оказались способны к массовой политической мобилизации, то не уступавшие им количественно политические оппоненты были полностью деморализованы. Их просоюзные настроения не актуализировались, не вылились в политическое действие. Паралич поразил даже институты, воплощавшие союзное единство и призванные стоять на страже территориальной целостности страны — коммунистическую партию, союзную бюрократию, армию и госбезопасность. И не надо списывать это на счет М.С. Горбачева, якобы дезориентировавшего их, сбившего с толку. В 1917 г. московским юнкерам, генералу Корнилову и тысячам офицеров не требовались ничьи распоряжения и приказы, чтобы выполнить свой долг. Если «способность или неспособность производить готовность идти на смерть — это в конечном счете последний аргумент в пользу жизнеспособности или нежизнеспособности той или иной политической системы» (51), то Советский

Союз как универалистская, метафизическая идея умер еще до дня своей формальной ликвидации.

Умер потому и вследствие того, что народ, создавший великое континентальное государство, добровольно отказался от собственного детища и своей миссии. Центральные союзные институции вполне намеренно, хотя, возможно, и бессознательно комплектовались преимущественно русскими — представителями народа, гарантировавшего целостность и единство страны. Это исторически обоснованное убеждение (его разделял и М.С. Горбачев, всерьез, судя по воспоминаниям его многолетнего помощника и конфидента А.С. Черняева, опасавшийся массового народного выступления русских в защиту единства СССР (52)), как выяснилось, изжило себя, оказавшись историческим анахронизмом. *Sic transit...*

Характерно, что относительно спонтанная массовая просоюзная политическая реакция русских имела место не в «материковой» России, а среди русскоязычного населения Прибалтики. Но и там она сошла на нет после официального раскассирования страны, исчезновения союзных структур, на которые ориентировались прибалтийские «интер»-движения. Единственным постсоветским аналогом «Дона» — то есть очагом спонтанной борьбы за государство после его исчезновения — оказалось Приднестровье. Но поднятое там знамя не привлекло добровольцев и не осенило вооруженной борьбы за возрождение СССР.

Русские потеряли не только волю к власти, но даже волю к борьбе — к борьбе за сохранение страны, которую они все еще называли, но в глубине души уже не считали своей Родиной.

Столь скоротечная и бесславная гибель «могучего и ужасного» Советского Союза, исчезнувшего в одночасье, без борьбы и сопротивления со стороны русских, даже живших за пределами России, служит убедительным доказательством от противного, что СССР не был «русоцентричной империей». В противном случае имперский народ не преминул бы встать на защиту своих привилегий подобно тому, как французы встали за «французский Алжир». Сохрани русские волю к борьбе, они, подобно сербам Хорватии, Боснии и Герцеговины, могли попытаться защитить свои неотъемлемые права и интересы на советской национальной периферии — в Прибалтике, Казахстане и Средней Азии.

Хотя возможность такой — условно, имперской — модели мобилизации в позднем советском пространстве присутствовала, она так никогда и не реализовалась. Ее наиболее чистым, «беспримесным» выразителем был В. В. Жириновский, получивший на президентских выборах в РСФСР третье место с 7,8% голосов. В каком-то смысле его послание было созвучно магистральной идее «черной сотни» начала XX в. о «русификации» империи, хотя в программе Жириновского интересы превалировали над идеальными императивами, а рефрен кампании — «защита русских во всем Советском Союзе» — выражал презумпцию русской *слабости*, а не силы. Защита нужна слабым, а отнюдь не сильным. Но даже при такой смене акцентов идея сохранения союзно-имперского пространства не «заводила» русских.

Политический финал Советского Союза был лишь одной из кульминационных точек долговременного (и все еще не завершившегося) процесса мутации русскости, трансформации русской идентичности. В ходе «социалистического строительства» были растрачены казавшиеся безмерными русские жизненные силы, выхолощен мощный русский мессианиззм, атрофировалась русская союзно-имперская идентичность. Полагаю, в этом смысле (и ни в каком другом) можно уверенно говорить об *исторической обреченности Советского Союза*: он был обречен потому, что иссякли силы народа, служившего стержнем континентальной политики. При других обстоятельствах государственная оболочка — Советский Союз — могла прекратить свое существование позже и иным образом. Но прекратила бы неизбежно, ибо русских поразило глубинное, экзистенциальное нежелание жертвовать собой ради созданного ими же государства.

Этот вывод содержит и крайне неприятный для русских моральный аспект: нашей «советской Родины» не стало потому, что мы сами этого захотели или, в лучшем случае, не препятствовали этому. Величайшее поражение русских в истории есть такой же плод их собственных усилий (или, точнее, бессилия), как их величайшие победы и достижения.

Однако если капитальной первопричиной гибели Советского Союза послужила русская слабость, то каков был механизм реализации этой слабости, превращения ее в конкретные исторические перемены? Этот механизм следует искать не в институциональных, экономических и социальных обстоятельствах и их конstellациях,

а в ментальных сдвигах и культурных изменениях, в области идей — другими словами, там, где опосредуются, преломляются так называемые «объективные» факторы. «Крах коммунизма... показал силу старой истины, что не процедуры и институты, а *идеи правят миром* и меняют мир, что против них, словами Гегеля, бессильна и “недействительна” вся “позитивность”» (53).

Солидаризуясь с этим высказыванием, я сделаю очень важное уточнение: идеи правят миром, то есть превращаются, по Ленину, в «материальную силу», там и тогда, где и когда они взаимодействуют, «сцепляются» с неререфлектируемыми пластами человеческой психики, с коллективным бессознательным. Так требования «российского суверенитета» и «российского равноправия», оказавшись созвучными массовым настроениям и глубинным, экзистенциальным ощущениям русских, вызвали мощную политическую динамику, стали стержнем политического процесса 1989–1991 гг.

Только и именно идеи, а не интересы или рациональное целеполагание той или иной социальной группы способны вызвать активность подлинно исторического масштаба. «Сами по себе материальные интересы не совершали ни одной революции и менее всего “ответственны” за падение коммунизма, они способны только *адаптироваться* к существующей системе, но не могут выйти за ее горизонт» (54). Вот краткий, но исчерпывающий ответ влиятельным концепциям, ищущим причины перестройки в социальных интересах советской элиты.

Другое дело, что с течением времени само русское общество трансформировалось, в конце XX в. ему были созвучны совсем другие идеологические и культурные комплексы, чем в его начале. В то же самое время, при всех внешних (порою весьма радикальных) отличиях, русский народ в своей глубинной ментальной сущности остался прежним. Вино новых идей вливалось в меха архетипов. В смутореволюциях начала и конца XX в. прослеживается единая красная нить.

Разве идеи «суверенитета» и «равенства» России не были культурно-историческим, контекстуальным выражением архетипических человеческих устремлений справедливости и свободы? Я бы предостерег от того, чтобы считать ценности справедливости и свободы всего лишь исторически поздней надстройкой над некими «базовыми инстинктами» более низменного характера или, тем более, пропагандистскими и идеологическими конструктами.

Как убедительно продемонстрировало течение гуманистической психологии (А. Маслоу и другие), ценности и потребности трансцендентного толка *имманентны* человеку, а не формируются в истории (55). Впрочем, почти за сто лет до оформления этого психологического направления один из основоположников русского анархизма князь П. Кропоткин убедительно доказывал, что инстинкты сотрудничества, альтруизма и взаимопомощи не менее органичны человеку, чем инстинкты эгоизма и борьбы за выживание.

Разве большевизм вызвал преобразующую динамику не потому, что в начале XX в. он оказался конкретно-историческим преломлением той же самой человеческой устремленности к свободе и справедливости, что либерализм в конце века двадцатого? Что случилось потом — это уже другой вопрос. Но в любом случае именно генетически присущее советской системе напряжение между нормативистской утопией освобождения и инструментальной рациональностью «реального социализма» содержало возможность реактивации, повторной загрузки «матрицы» освобождения, что и произошло во второй половине 80-х — начале 90-х гг. прошлого века (56).

Однако если свободу и справедливость можно рассматривать как видовые, общечеловеческие атрибуты, то в чем же состояла этническая специфика революционных событий в России конца XX в.? Да в том же, в чем и в начале века! Либерально-демократическая политика и мифология эксплуатировала ту же самую негативистскую, антигосударственную, анархически-бунтарскую сторону русского этнического архетипа, что и большевики. Либеральная мифология уничтожения «тоталитарного Левиафана», которому на смену придет демократическое «минимальное государство», по существу ничем не отличалась от большевистской мифологии тотального разрушения эксплуататорского государства и замены его самоуправлением трудящихся. Правда, после завоевания политической власти стратегии оказались диаметрально противоположными. Большевики из Хаоса стали выковывать новый Космос, вбивая народную стихию в русло жестокой просвещенческой утопии, либералы предпочли остаться в Хаосе, сознательно поддерживая высокий анархический накал отечественного общества.

Но в обоих случаях нельзя не отметить успешное «сцепление» идеологических призывов и русской ментальности: в этом смысле

российский «либерализм» оказался столь же «почвенническим», что и российский «марксизм», хотя и тот, и другой имели не так уж много общего с аутентичным либерализмом и марксизмом.

Как большевизм в свое время возглавил бунт русского крестьянства против капиталистической модернизации и урбанизации, так либерализм стал знаменем бунта против форм социальной организации, дисциплины и стиля жизни позднеиндустриального общества. Парадоксальным образом, демократическая революция в России оказалась не только и не столько победой либерализма как политико-идеологического течения, сколько историческим реваншем многомиллионной крестьянской России, брошенной Советами в жернова насильственной модернизации и урбанизации. Анархическое восстание конца 80-х — первой половины 90-х гг. прошлого столетия стало мужицким отмщением коммунистической власти за «вторичное закрепощение» государством, за разрушение традиционного образа жизни, за форсированную модернизацию с ее жестокой индустриальной дисциплиной и насильственным перемещением миллионов людей в города.

Коммунистической власти не хватило исторического времени на «выплавку» человека индустриального урбанизированного общества, на что, согласно социологическим и культурологическим теориям, уходит три сменяющих друг друга поколения. К моменту распада СССР большинство новых горожан, а в значительной части и их дети по своей ментальности оставались сельскими жителями. В начале 1990-х гг. примерно половина жителей Советского Союза была горожанами в первом поколении. Среди 60-летних и старше коренными горожанами были только 15–17%, среди 40-летних — 40% и только в числе лиц моложе 22 лет преобладали горожане во втором поколении (57). При этом связь большинства горожан с сельскими родственниками зачастую была сильнее внутригородских или производственных связей.

Либералы во главе бунта вчерашних крестьян — типологически то же самое явление, что и большевики во главе крестьянского бунта: номинально модернизационные идеологии для достижения политических целей апеллировали к самому архаичному и низменному в русском человеке.

Еще одно потрясающее сходство и даже, вероятно, глубинное родство отечественных либерализма и большевизма состоит в их бес-



попадном отрицании русскости. Черпая мобилизующую силу в общем источнике — русском этническом архетипе, русской ментальности, они были в то же время едины в своем подозрительном и враждебном отношении к русской этничности, ассоциировавшейся с имперским принципом, «старым» режимом, косностью, бескультурьем и цивилизационной отсталостью.

В цепи «бархатных революций» рубежа 80–90-х гг. прошлого века и среди советских республик Россия оказалась единственной страной, где принципы демократии и либерализма были разведены с национальной традицией и сознательно противопоставлены ей. И причиной тому служило отнюдь не идеологическое противостояние с русским национализмом, в значительной своей части оказавшимся политическим союзником коммунистической власти — когда потребовали политические обстоятельства, либеральное движение взяло на вооружение выпестованные националистами идеи «суверенитета» и «равенства» России. Дело было именно в экзистенциальной чуждости русскости, рассматривавшейся с точки зрения презумпции виновности — как опора империи, источник коммунистического режима и кардинальная угроза демократии.

Русские люди поддержали демократическое движение, увидев в нем возможность лучшей участи для себя и для России, точно так же, как они поддерживали в свое время большевиков, чья власть оказалась для русских несравненно более тяжелым ярмом, чем «старый» режим. Либеральная утопия была созвучна русскому этническому архетипу, а демократические лозунги выражали доминанту массового настроения — мирной трансформацией добиться справедливости — для русских и всех остальных народов СССР.

Конец века зеркально отразил его начало. В начале века большевизм и либерализм представляли собой конкурировавшие модернистские версии развития России, противостоявшие консервативному социокультурному комплексу. Семьдесят лет спустя консервативно-охранительный коммунизм (такова общая логика эволюции идеологий, первоначальный революционный модус которых неизбежно сменяется эволюционно-реформистским, а затем — консервативно-охранительным) и институционализированная советская версия Современности не смогли противостоять экспансионистскому натиску революционного либерализма и западной модели Современности.

Однако сущностное, родовое сходство ситуаций слишком явно указывало, что это был не конец, а начало нового цикла. Какого? Может быть, где-то история и повторяется в виде фарса, но в России она повторяется новой трагедией.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Красочная иллюстрация приведена в: *Вдовин А. И., Зорин В. Ю., Никонов А. В.* Указ. соч. С.121–122.
2. *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т.45. С.359.
3. *Вдовин А. И., Зорин В. Ю., Никонов А. В.* Указ. соч. С.200.
4. Русские (Этносоциологические очерки). — М., 1992. С.105.
5. См.: *Martin T.* The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939. — Ithaca, 2001.
6. Статистические данные приводятся по: *Башлачев В. А.* Русская расовая бухгалтерия-2 //Расовый смысл русской идеи. Вып.2. С.236–239; *Чешков М.* Указ. соч. С.91.
7. Русские. С.99.
8. *Вдовин А. И., Зорин В. Ю., Никонов А. В.* Указ. соч. С.233.
9. *Горянин Александр.* Указ. соч. С.193.
10. См.: *Фурсов К. А.* Указ. соч. С.223.
11. См.: *Вдовин А. И., Зорин В. Ю., Никонов А. В.* Указ. соч. С.238; Застольные речи Сталина. Документы и материалы /Вступительная статья, составление, комментарии, приложение В. А. Невежина. — М., 2003. С.42–45.
12. Эту распространенную точку зрения, в частности, выразили Г. А. Бордюгов, В. М. Бухараев. (См.: *Бордюгов Г. А., Бухараев В. М.* Национальные истории в революциях и конфликтах эпохи //АИРО — научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века. Вып.5. — М., 1999. С.33–34.)
13. В этот ряд следует еще поставить застольное выступление Сталина на приеме в честь монгольской делегации 2 февраля 1943 г. (См.: Застольные речи Сталина. С.331–333.)
14. Особенно полезна в этом отношении многожды упоминавшаяся книга А. И. Вдовина, В. Ю. Зорина, А. В. Никонова.
15. См.: *Костырченко Г. В.* Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм. — М., 2001.
16. См.: *Барсенков А. С., Вдовин А. И.* История России. 1917–2004: Учеб. пособие для студентов вузов. — М., 2005. С.291, 302–303.
17. См.: Застольные речи Сталина. С.44, 333.
18. *Хоскинг Дж.* Указ. соч. С.501.
19. Цит. по: *Вдовин А. И., Зорин В. Ю., Никонов А. В.* Указ. соч. С.257.
20. Цит. в обратном переводе по: *Dunlop John.* The New Russian Nationalism. — N.Y., Eastbourne and Toronto, 1985. P.27. Хотя Данлоп приписывает эту фразу преемнику Андропова на посту председателя КГБ Федорчуку, в действительности она была произнесена первым, а Федорчук лишь повторил слова своего патрона.
21. См.: *Митрохин Н.* Русская партия: Движение русских националистов в СССР. 1953–1985 годы. — М., 2003. С.39.
22. См.: Источник. 1994. №6. С.109.

23. См.: Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. С.303.
24. См.: Капустин Б.Г. Конец «транзитологии»? О теоретическом осмыслении первого посткоммунистического десятилетия //Полис. 2001. №4. С.11.
25. См.: Русские. С.33.
26. Фурсов А.И. «Империиология» без теории, или «хлопок одной ладонью» (в книге Д. Ливена «Империя: Российская империя и ее соперники») //Русский исторический журнал. 2000. Т. III. №1–4. С.557, 558.
27. Вдовин А.И., Зорин В.Ю., Никонов А.В. Указ. соч. С.260.
28. См.: Русские. С.18; Козлов В.И. Указ. соч. С.207, 219.
29. Брудный И.М. Политика идентичности и посткоммунистический выбор России //Полис. 2002. №1. С.90.
30. См.: Русские. С.414. Анализ этнического состава коммунистического руководства и советской компартии, особенно на заключительном этапе ее существования, см. в Тишков В.А. Национальность — коммунист? (Этнополитический анализ КПСС) //Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. — М., 1997.
31. См.: Козлов В.И. Указ. соч. С.221–224.
32. Горянин Александр. Указ. соч. С.194.
33. Тишков Валерий. Российский народ как европейская нация и его евразийская миссия //Политический класс. 2005. №5. С.76.
34. Тишков В.А. Что есть Россия? (Перспективы нации-строительства) //Тишков В.А. Указ. соч. С.120.
35. Русские. С.99–100, 117
36. См.: Русские. С.18, 33.
37. См.: Русские. С.400, 415; *Tolz Vera*. Op. cit. P.206, 208.
38. См.: Дробизжева Л.М., Аклаев А.Р., Коротеева В.В. и др. Демократизация и образы национализма в Российской Федерации. — М., 1996. С.305–306; Бызов Л. Становление новой политической идентичности в постсоветской России: эволюция социально-политических ориентаций и общественного запроса //Российское общество: становление демократических ценностей? М., 1999. С.70–71.
39. Русские. С.377–378, 400.
40. Социологические данные приводятся по: Ранкур-Лаферьер Дениел. Указ. соч. С. 51, 53–54.
41. Русские. С.389.
42. Такой вывод содержится в исследовании Ч. Хиршмана и С.М. Снипа «Расовое и этническое неравенство в Соединенных Штатах, 1970–1990», которое долгое время находилось под спудом. Краткое изложение доклада на русском языке см. в: Stringer. 2002. Ноябрь. С.12–13.
43. См., например, Бенхабиб Сейла. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру — М., 2003.
44. Демографическая статистика позаимствована из: Козлов В.И. Указ. соч. С. 204–224; Русский крест //Политический журнал. 2004. №13 (12 апреля). С.51. Также см.: «Политический анализ должен вытекать из анализа демографического» [Интервью с Анатолием Вишневским] //Политический класс. 2005. №2. С.49.
45. Сравни: Вишневский А.Г. Демографическая революция. — М., 1976 и «Политический анализ должен вытекать из анализа демографического». С.47–50.
46. Башлачев В.А. Указ. соч. С.213.
47. Статистика взята из: Козлов В.И. Указ. соч. С.217, 219, 317; Башлачев В.А. Указ. соч. С.221–223, 273–274.
48. См.: Козлов В.И. Указ. соч. С.218–218, 316–317; Русские. С.19–20.

49. Русские. С.33.

50. Наиболее последовательное выражение, включая квазитеоретическое обоснование, эта позиция получила в работах советского эмигранта А.Л. Янова. См., например: Янов А. Русская идея и 2000-й год. — N.Y., 1988. Схожей точки зрения придерживается отечественный автор Н.А. Митрохин (См.: Митрохин Николай. Указ. соч.). Зато еще один советский эмигрант, И. Брудный, опубликовал несравненно более объективное исследование русского национализма, в центре которого — роль и место «деревенской» прозы в общественной жизни СССР (См.: Brudny Y. Reinventing Russia. Russian Nationalism and the Soviet State, 1953–1991. — Cambridge, Mass., L., 1998.)

51. Капустин Б.Г. Указ. соч. С.27.

52. См.: Черняев А. 1991 год: Дневник помощника Президента СССР — М., 1997 С.13, 20, 148 и др.

53. Капустин Б.Г. Указ. соч. С.287.

54. Капустин Б.Г. Там же. С.242.

55. См., например: Readings in Humanistic Psychology /Ed. By A.J. Sutich and M.F. Vich. — N.Y., 1969.

56. Подробнее см. об этом лекцию 8 превосходной книги Б.Г. Капустина. (Капустин Б.Г. Указ. соч.)

57. Вишневский А.Г. Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР. — М. 1998. С.94.

---

## Глава 5

### СМУТЫ

### КАК ЦИКЛЫ РУССКОЙ ИСТОРИИ

Авторами масштабных историософских схем и обобщающих теорий исторического процесса, возникавших с конца XVIII по конец XIX в., амбиция предвидения и формирования будущего двигала не в меньшей степени, чем стремление объяснить прошлое. Лучшим доказательством правоты своих обобщающих концепций, построенных на историческом материале, они считали их осуществление в настоящем и будущем. XX век стал не только эпохой отрицания универсальных, общих для всего человечества закономерностей, временем утраты прогрессистского оптимизма, но и поставил под сомнение саму возможность расшифровки смысла Истории. Тем не менее идея проверки концептуализаций прошлого настоящим и будущим сохраняет свою силу до сегодняшнего дня. Правда, это уже не историософия, предполагающая наличие высшего, трансцендентного смысла человеческой истории вообще, а попытка вскрыть внутреннюю логику и обнаружить закономерности национальных, страновых историй. Иначе говоря, если невозможно проникнуть в смысл существования человечества, то, может быть, удастся постичь логику развития (не только в прошлом, но и в будущем) его составных частей?

Постижение этой логики не могут обеспечить интерпретации и объяснения отдельных (пусть даже крупных) феноменов и процессов. Можно сколько угодно ломать копыта по поводу причин повышения Москвы или петровских реформ, большевистской революции или перестройки, но, углубляя и расширяя наши представления о важных фрагментах или даже поворотных пунктах отечественной истории, эти дискуссии не раскрывают ее качественной специфики, страновой и национальной уникальности. И тем более не обладают предсказательной способностью в отношении

будущего. Необходим взгляд на национальную историю в целом, но подразумевающий ее теоретическое осмысление, а не систематизированное изложение, как в учебниках. Несколько упрощая, на первом месте для историка должно находиться не изучение того, *что* и как случилось, а объяснение, *почему* это произошло. Попытки такого понимания порождают «теории среднего ранга», то есть, в нашем контексте, концептуальные схемы, улавливающие имманентную логику национальных историй, но не работающие за их рамками.

Можно резонно возразить, что ни к чему приплетать проблеме предвидения будущего к науке, чье профессиональное поле находится в прошлом. Однако если речь идет о теории среднего ранга в исторической науке, то, парадоксальным образом, ее наилучшей проверкой оказывается именно настоящее и будущее, и в этом смысле прогностическое свойство ей имманентно. Приведу два примера в доказательство этого провоцирующего заявления, один из которых положительный, а второй — отрицательный.

Начну с положительного. Со второй половины 1990-х гг. историки Ю. С. Пивоваров и А. И. Фурсов активно пропагандировали свою концепцию «русской системы» — историческую теорию, суть которой сводится к пониманию русской власти как демиурга, главного творца русской истории. Другими словами, сильное государство — инвариант, характерообразующая черта отечественной истории с XVI в., а русская власть, по словам авторов теории, метафизична по своей природе, своему характеру (1). Эта точка зрения встретила сильную критику, имевшую вненаучным основанием хаос, катастрофический упадок государственности и множественность центров силы и влияния, характерные для России второй половины 90-х гг. XX в.

В таком состоянии казалось невозможным возрождение в стране самодовлеющего Левиафана традиционной государственности, тем более что людям вообще характерно наделять современные им состояния статусом онтологической устойчивости, игнорируя их временность и ситуативность. Эта черта, которую можно назвать слабостью или недостатком исторического мышления, в значительной мере свойственна ученым-политологам, игнорирующим для удобства своего анализа историю и сводящим сложную категорию Современности к «здесь и сейчас», как будто Современность не вырастает из Истории, не есть ее продолжение, развитие и, одновременно, отрицание.

Между тем теория «русской системы» включает в себя положение об упадке государственности и ситуации хаоса в периоды Гимуты как временном состоянии, предшествовавшем возвращению к большому стереотипу отечественной истории — самодовлеющей русской власти. Таким образом, из этой академической концептуализации русского прошлого с высокой вероятностью (не неизбежностью! — там, где действуют люди, нет ничего неизбежного кроме того, что все они рано или поздно умрут) следовал неизбежный и актуальный политический вывод: ельцинский хаос рано или поздно должен смениться путинским порядком. В данном случае не важен (пока) вопрос о качестве и эффективности этого конкретного порядка, о способности «возрожденного» государства выполнять свои функции и встать вровень со своим историческим предназначением. Важно, что теоретическая гипотеза прошла успешную проверку и поэтому может основательно претендовать на корректное прочтение работающей логики отечественной истории, установление одной из ключевых закономерностей (разумеется, не аналогичной законам точных и естественных наук) движения русского общества в историческом времени и социальном пространстве.

Теперь приведу пример неудачной формулировки большой теории русской истории. В первой половине 1990-х гг. в отечественных интеллектуальных кругах немалой популярностью пользовалась примитивная теория цикличности русской истории, в рамках которой отечественная история выглядела чередованием пролиберальных и прозападных начинаний с реакционными и консервативными националистическими контрреформами или политической стагнацией. Один из видных пропагандистов этой теории, советский эмигрант А. Л. Янов, насчитал аж 14 попыток таких реформистских прорывов, начиная с середины XVI в., причем многие видные государственные мужи России у него одновременно оказались и реформаторами, и контрреформаторами. Например, Иван Грозный, Петр I, Александр I, Ленин (2).

Нетрудно догадаться, что эта теория была сконструирована посредством экстраполяции популярного в учебной литературе советской эпохи противопоставления реформ Александра II контрреформам Александра III на пятивековую русскую историю. Но мало того, что даже это конкретное противопоставление весьма сомнительно с научной точки зрения, такая теория цикличности в целом

имеет вненаучную — идеологическую и культурную — природу, что с неизбежностью привело ее к глубокой методологической ущербности. Культурное и идеологическое основание теории цикличности, равно как ряда других влиятельных концепций русской истории, составляет имплицитное или явное соотнесение России с Западом как образцом и нормой. Истории России и Запада не просто сравниваются — как самоценные, но сущностно различные, — подобно сравнению, скажем, историй Запада и Китая. Отечественная история прочитывается как неудавшаяся, неразвившаяся, не реализовавшаяся в России западная модель. Поскольку русская история рассматривается сквозь призму Запада, то в этой интеллектуальной перспективе ее качественной спецификой, русской родовой чертой оказывается череда неудавшихся попыток изменить «ошибочную» парадигму развития, перейдя на «магистральный» путь «цивилизованного» человечества, отождествляемого с Западом.

В действительности «реформы» и «контрреформы» представляли две стороны единой стратегии русской власти с целью ответить на исторические вызовы — внешние и внутренние — стоявшие перед страной, и в рамках этой стратегии власть колебалась между нарушавшим стабильность и равновесие форсированным развитием («реформами») и восстанавливавшими стабильность «контрреформами». Поэтому приписывание русским автократам (от Ивана Грозного до Леонида Брежнева) несвойственной им (прото)либеральной и прозападнической мотивации есть не что иное, как мистификация русской истории.

Теоретическое описание предмета, моделью для которого выступает другой предмет, не может быть адекватно предмету, который описывается. Проще говоря, чтобы создать теорию русской истории, следует исходить из презумпции самоценности, важности и уникальности *этой* истории, а не брать за образец другую. Или, как афористично сформулировал эту мысль английский историк Д. Ливен, если все истории уникальны, то русская история уникальна более других.

Теоретическая неадекватность «реформаторско-контрреформаторской» версии теории цикличности доказывается ее прогностическим провалом. Согласно этой концепции, роковая повторяемость русской истории будет прервана, когда Россия, повернувшись лицом к Западу, возьмет курс на интеграцию в него. Собственно говоря,



с некоторыми отклонениями и колебаниями это и происходило последние два десятка лет отечественной истории, причем наиболее последовательно и целенаправленно в президентство В.В. Путина. Но одновременно режим Путина, реставрирующий многовековой стереотип русской государственности и ограничивающий демократические права и свободы, вполне подходит под определение контрреформистского. А как быть тогда с его западнической ориентацией? Или все же нынешний режим реформаторский: ведь он проводит социальные реформы либерального свойства, по своему радикализму и возможным последствиям сравнимые лишь с «шоковой терапией» Е.Т. Гайдара? Хотя из этих противоречий можно найти выход, (скажем, объявив режим Путина гибридным), теоретическая нищета такой версии циклической модели, ее неспособность предвидеть логику русского развития выглядит столь копюющей, что она, кажется, уже совершенно вышла из интеллектуального оборота.

Автор этих строк намерен предложить собственный концептуальный подход к проблеме цикличности отечественной истории. Причем верификацией авторской гипотезы послужит даже не современность, а предсказание, прогноз будущего, что превращает теоретическую концептуализацию в рискованное предприятие, где риск окупается потенциальными эвристическими возможностями. И общим, «где не опасен бой, там торжество бесславно».

Если теория «русской системы» фокусируется на власти как на варианте отечественной истории, то в оптике моего анализа находятся точки бифуркации русской истории, периоды ее бурных, радикальных и всеобъемлющих изменений — Смуты. Я утверждаю, что смута как форма мутации, метаморфозы, видоизменения (понятой максимально широко) национальной традиции составляет такую же качественную специфику отечественной истории, как и самодовлеющая русская власть. Взятые вместе они обеспечивают ее уникальность и кардинальное отличие от западной истории.

Даже не вводя пока определения «Смуты», легко обнаружить, что в России это явление в общенациональных масштабах имело место трижды за последние четыреста лет: парадигматическая, индигенная образец восприятия Смута начала XVII в., «красная Смута» начала XX столетия и современная нам Смута рубежа прошлого и нынешнего веков. Даже навскидку три глубочайших, взбала-

мутивших и перепахавших огромную страну потрясения выглядят больше, чем случайностью или простым совпадением, их повторение наталкивает на предположение, что мы имеем дело с закономерностью.

В то же время если в западной истории и обнаруживаются аналоги русской Смуты, то как явления единичные: Тридцатилетняя религиозная война в Германии, Английская и Великая Французская революции. То, что на Западе уникально в своей единичности, в России оказывается уникальным по причине повторяемости. В общем, как в старой шутке: что русскому здорово, то немцу — смерть.

Устойчивая ассоциация Смуты с хаосом и описание ее (в том числе научное) как гоббсовской войны «всех против всех» или, современным академическим языком, как тотального столкновения политических и социальных субъектов подводит нас к пониманию Смуты как состояния общества, наиболее близкого к метафизической категории Хаоса. Иначе говоря, социальный, рукотворный хаос имеет своим изначальным (и конечным) соотносением перво-Хаос. И точно так же, как в древних космогониях из перво-Хаоса рождается Космос-порядок, из социального хаоса возникает новый социальный и политический порядок, новый русский Космос, новая русская традиция. При этом главным итогом Смуты оказываются не социальные и политические пертурбации, а фундаментальные культурные и ментальные сдвиги или, по-другому, решительное изменение внутреннего мира, психе русского человека и русской традиции. Настолько решительное, что впору утверждать — как это нередко делается — о радикально новом начале русской истории, рвущей все связи с прошлым.

Применительно к «красной» и современной Смутам тезис о кардинальном обновлении всех аспектов существовавшего до нее порядка вряд ли нуждается в доказательствах. А как быть с классической Смутой начала XVII в., если разрыв с русской традицией обычно относят к следующему столетию — ко времени петровских реформ, началу «петербургского» периода русской жизни? Однако, как в своих реформах Петр I был продолжателем дела Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, так и культурный разрыв с прошлым набирал силу на протяжении всего XVII в. Именно после (и вследствие) Смуты началось спонтанное интенсивное, масштабное и массовое обмирщение русского общества,

кумуляцией чего послужил раскол, а Петр лишь придал ускорение и завершенность спонтанному процессу, введя его в контролируемое русло.

Таким образом, русские Смуты оказываются специфической отечественной формой всеобъемлющего и кардинального видоизменения национальной традиции, теми поворотными пунктами, где старая традиция сменялась новой, или, по словам В.П. Булдакова — автора новаторского исследования об Октябрьской революции, «насилие выступает наиболее острой формой социокультурных мутаций» (3). Несмотря на свой ужасающий и почти что апокалиптический характер, русские Смуты исторически функциональны.

Современные социальные науки полагают состояние конфликтности имманентным и нормальным для всех социальных взаимодействий и, рассматривая конфликт в неразрывной связи с социальной интеграцией, считают его неперенным условием нового качества интеграции. Другими словами, общество развивается и изменяется через конфликты и их преодоление. В более широком контексте возникновение «порядка через флуктуации», как показал И. Пригожин, составляет базисный механизм разветвления эволюционных процессов во всех областях — от галактик до атомов, от отдельных клеток до человеческого общества. Проще говоря, жизнь — это не стабильность, а постоянная динамическая неуравновешенность.

В этой перспективе Смута оказывается максимальным, предельным выражением социополитического и культурного конфликта, а посредством Смут отечественная история совершает свои резкие повороты. Перефразируя К. Маркса, можно сказать, что в России «локомотивами истории» оказываются Смуты.

Другое дело, что масштаб русских Смут столь значителен, их накал — настолько высок, а противоречия — такие глубокие, что не существует никаких гарантий социальной реинтеграции, повторной «сборки» втянувшегося в Смуту русского общества. Из русского Хаоса может и не возникнуть вновь русский Космос. В этом и состоит бифуркационное значение Смут: Россия после них то ли сохранится, то ли нет. Пока русский бог нас миловал.

Понятие Смуты включает как позитивную (чем она является), так и негативную (чем она не является) определенности, которые неразрывно связаны, и их раскрытие ведет к более полному ос-

мыслению феномена Смуты. Хотя многозначность русского языка позволяет назвать смутой любой социальный и политический конфликт, настоящая Смута (Смута в используемом мною смысле) характеризуется, во-первых, масштабностью, охватывая все русское пространство, всю страну; во-вторых, социальной всеобщностью и глубиной, пронизывая общество как по горизонтали, так и по вертикали. Ни одна социальная группа не может избежать участия в Смуте. В этом смысле не были Смутами крестьянские войны Разина и Пугачева: правлящий класс тогда сохранял единство, а охваченная волнениями территория, несмотря на их накал и массовость, оставалась локализованной. Зато меньшее по масштабам восстание Болотникова оказалось важной составной частью первой русской Смуты. Нельзя назвать Смутой и бурное время послепетровских дворцовых переворотов, где правящее сословие разбиралось внутри самого себя без участия народа.

Еще одна характеристика Смуты — ее хронологическая протяженность, а также затруднительность точного определения ее начала и завершения. Начало первой, модельной Смуты можно отсчитывать от смерти Федора Иоанновича и пресечения династии Рюриковичей, а можно — от кончины Бориса Годунова и появления не вполне легитимного боярского царя Василия Шуйского. Равным образом ее завершением можно считать освобождение Москвы в 1612 г., избрание Земским собором 1613 г. новой династии и даже Деулинское перемирие 1618 г., когда поляки в обмен на территориальные уступки прекратили военные действия против России. Другими словами, Смута — не разовое явление, а относительно длительный процесс со своими приливами и отливами, тяжелая болезнь государственного тела и всего русского общества, где обострения перемежаются ремиссиями, как это было, например, в Смуте начала XX в. Октябрьский переворот послужил лишь одной из кульминационных точек процесса, начало которому положила первая русская революция, а завершением стало утверждение политической власти большевиков в ходе гражданской войны (экономически и социально их власть утвердилась, пожалуй, лишь в начале 1930-х). Но сколько всего вместились в эти двадцать лет: три революции и гражданская война, массовые бунты и волнения, распад и вторичная сборка империи. Плотность масштабных исторических событий и процессов, каждого из которых какому-нибудь другому народу хватило бы на всю его историю, беспрецедентна.

Гечение Смуты образует не один конфликт, а множество столкновений различной природы и характера, что связано с разнообразием ее социальных и политических участников. В этом смысле Смуты оказываются такими уникальными периодами отечественной истории, когда присущая ей моносубъектность, доминирование государства, «русской власти» отступает перед напором полисубъектности, плюрализмом политических и социальных агентов. Но плюрализм этот оказывается временным и ситуативным, потому что его главное содержание составляет не стремление к стабилизации и увековечиванию полисубъектного состояния, а ровно наоборот — его отвержение в борьбе за право стать монопольным держителем и творцом русской истории, единолично сформировав новую старую русскую власть.

Поскольку эти агенты истории не обладают внутренним единством, то столкновения между ними дополняются конфликтами внутри социальных групп и политических отрядов, создавая причудливый калейдоскоп динамичных и неожиданных конфигураций. В Смуте вчерашние враги могут оказаться сегодняшними друзьями и наоборот. Чрезвычайное разнообразие природы и характера конфликтов, а также действующих в них субъектов создают впечатление, что русская история пытается вместиť свои коннившиеся на протяжении столетий потенции и нереализованные альтернативы в какие-то десять-двадцать лет, чтобы, выплеснувшись кровавым пароксизмом несбывшегося, затем успокоиться и начать набираться сил для новой трагической развязки.

Однако за внешним хаосом Смуты просматривается силовая линия русского сознания (скорее, бессознательного), русский этнический архетип — захваченность, тематизированность государством, властью, что выражается как в русском народном государственничестве, так и в не менее народном антигосударственничестве. Отрицание государства и его сакрализация — два полюса русской жизни, напряжение между которыми составляет нерв отечественной истории и формирует диалектику Смуты.

Один полюс составляет объединявший участников Смуты антигосударственнический пафос, что выражалось в отрицании актуального им государства. В метафизических категориях Смута оказалась натиском Хаоса на Космос, воплощаемый в земной доли упорядоченностью государства и освященностью власти.

Глубокий трагизм русской истории в том, что Космос — старый социополитический и культурный порядок — был в архикритической ситуации беззащитен. Даже если какие-то силы провозглашали верность легитимистскому принципу, своими действиями они лишь усугубляли Хаос, оказываясь его невольными агентами. Разве не таким был результат телодвижений монархических квази-заговорщиков в 1916–1917 гг.? Пытаясь спасти монархический принцип, они способствовали обрушению *реальной монархической власти* Николая II. Разве не стало в августе 1991 г. выступление ГКЧП, имевшее целью спасти союзную государственность, роковым ударом по ней? И дело не в личных качествах небольшой группы высших советских чиновников, а в драматической неспособности и неготовности выступить в защиту единства страны именно тех институтов (армии, КГБ, партийного аппарата), для которых это составляло смысл самого их существования. В этих многомиллионных организациях не нашлось даже горстки людей, готовых пролить кровь — собственную и чужую, во имя порядка, которому они присягали, а ведь «дело прочно, когда под ним струится кровь». И не было более яркого свидетельства тому, что старый Космос лишился сакральной санкции и должен сгореть во вспышке сверхновой звезды.

Его десакрализация и распечатывание Хаоса шли сверху вниз. Такова логика развертывания русской Смуты, где элиты транслировали в общество деструктивные образцы и модели поведения, открывая пространство для прорыва накопившейся энергии массового недовольства. Реваншистское боярство начала XVI в., сцепившиеся в борьбе за власть три века спустя элитные группы империи, «номенклатурное дворянство» и «властители дум» из числа советской интеллигенции — все они, стоило только верховной власти ослабеть или добровольно отпустить вожжи, набрасывались на нее аки голодные волки, разрывали ее плоть, урывая куски пожирнее и давая тем, кто внизу, сигнал поступать таким же образом. А когда снизу шла возвратная волна Хаоса, они, пытаясь защититься, тщетно взывали к разрушенной ими же власти.

Но как Хаос содержит в себе интенцию Космоса, так Смута, уничтожая старый порядок, расчищала площадку для строительства нового. Эта двойственность, амбивалентность Смут ярко воплотилась в феноменах двоевластия и «самозванства»: самое яростное отрицание сущего государства происходило с явной или импли-

циной позиции государства должного. Свирепые бунтари и крайние анархисты лелеяли в душах смутный образ «царства любви и истины», которое они призваны воздвигнуть здесь и сейчас — на многострадальной русской земле. Разрушение государства реализовывалось через (квази)государство же. Двоевластие красной нитью проходит через русские Смуты: дворы Шуйского и «тушинского юра» в 1608–1610 гг., Временное правительство и Петропавловск в 1917 г., Горбачев и Ельцин в 1990–1991 гг., а затем — президент и парламент в 1993 г.

Но все того, стремившиеся к тотальному разрушению сущего порядка русские люди испытывали парадоксальную потребность в функционировании собственных действий этим же порядком! Выступление против власти приобретало в их глазах оттенок высшей справедливости именно тогда, когда его возглавляли представители этой же власти — не важно, фальшивые, подобно лже-Дмитрию I и II или же подлинные, как Борис Ельцин (в последнем случае особенно еще вспомнить конфликт первого российского президента с собственным же вице-президентом Александром Руцким). Большевики активно вступили в дело тогда, когда старый порядок уже был разрушен (между прочим, при активнейшем участии самой власти — Государственной Думы) и потому не нуждались в помощи с ним для моральной легитимации собственных действий в глазах общества.

Наиболее полным воплощением негативистского, хаотического принципа Смуты выступали революции, которые сопровождали последние из них. Но они же содержали развернутый утопический эскиз нового русского Космоса, долженствующего возникнуть на месте разрушенного. В этом смысле революция оказывалась одновременно развитием и углублением Смуты и поиском путей выхода из нее.

Если в конкретно-историческом плане Смута и революция в России неразделимы, образуя феномен «смутореволюции», в плане чистой абстракции они воплощали различные, хотя и взаимоувязанные логики. Смута — форма смены социокультурной русской традиции, механизм ее радикального обновления, революция — смена социополитического строя и социально-экономической системы; Смута воплощает внутренний смысл, имманентную логику русской истории, революция пропитана внешними, контекстуальными влияниями, она — результат взаимодействия внутренней

русской и внешней мировой логик («красная» и «демократическая» смутореволюции могли развиваться только в капиталистическом контексте, хотя и на разных его стадиях); революция в России неизбежно сопровождается Смутой, Смута может протекать и без революции (4).

Обращаю внимание на то, что внешние влияния здесь понимаются не как открытое и грубое (вооруженная интервенция) вмешательство, а как прежде всего контекстуальное влияние. Интеграция России/Советского Союза в мировую капиталистическую систему, превратившая страну в функциональный элемент этой системы, обеспечивала культурное, идеологическое и экономическое влияние на нее. Логика внешнего мира и его влияний, взаимодействуя с автохтонной, внутренней логикой, синтезировалась в новую линию русского развития. И все же в ходе Смуты движущие силы перемен, источники самодвижения русской истории находились внутри нее, а не вовне. Смута — результат в первую очередь внутреннего спонтанного развития.

Вместе с тем, по крайней мере однажды в русской истории метаморфоза традиции — что, напомним, есть главный итог Смуты — произошла без самой Смуты, вследствие вмешательства внешних сил. Изменения, внесенные в русскую традицию татаро-монгольским нашествием и последовавшим политическим доминированием Орды над русскими землями, были равнозначны и тождественны последствиям Смуты.

Вообще Смута в русском языке синонимична кризису — не заурядному, а чрезвычайному, космическому, носящему мистический оттенок, когда все обстоятельства и природные силы складываются исключительно негативно. Неурожаи и голод начала XVII в., цепь зловещих событий и роковых неудач тремя столетиями спустя, череда техногенных катастроф и природных бедствий в правление Горбачева — все это вело к делегитимации верховной власти, создавая ей репутацию крайне неудачливой перед лицом высших сил. Известно, что в архаических культурах неудачливый вождь приносится в жертву, чтобы снять тяготеющее над племенем проклятие. Даже наши современники не очень далеко ушли от этого стереотипа поведения, не говоря уже о наших предках трехвековой давности.

В тени Смут как общенациональных катастроф оставались предшествовавшие им (а отчасти даже совпадавшие с ними) про-



минутки политического спокойствия, экономического подъема и относительного (по скромным российским меркам) социального благополучия. Ливонской войне и опричнине Ивана IV, втянувшим страну в воронку Смутного времени, предшествовало безмолвное десятилетие экономического роста. То же самое можно сказать и о неслыханном экономическом подъеме Российской империи конца XIX — начала XX в. (этот подъем как раз хронологически совпал с «Смутой»), об успешном советском развитии 50–70-х годов прошлого века и накоплении социального жира в годы брежневского «стоя». Но накапливалась не только «вещественная субстанция» (определение Пивоварова–Фурсова), вызревали и накапливались социальные и иные противоречия, резко проявлявшиеся в кризисах и приводившие к вакханалии Смуты. За несколько лет уходило и ристылся, сгорало (зачастую в прямом смысле слова) накопленное десятилетиями каторжного труда скудное благополучие русского народа, страна катастрофически беднела. Кто-то, конечно, выигрывал, но большинство оказывалось в проигрыше.

Согласимся, однако, что надо обладать колоссальным запасом энергии и силы, дабы решительно и безоглядно бросить в топку истории некоторое имевшееся богатство. И каким же надо обладать неслыханным мужеством, стойкостью и оптимизмом, чтобы затем по крохам, по кусочкам восстанавливать страну, наработывая новый слой вещественной субстанции взамен сгоревшего! Здесь полней-неволей напрашивается еще одно метафизическое соотнесение Смуты: чтобы возник новый космический порядок, старый космос должен погибнуть в очистительном огне.

Народ, собственноручно (и, в общем-то, добровольно) уничтоживший основы собственного бытия, причем троекратно за каких-то четыреста лет, можно оценивать по-разному, но нельзя не признать за ним изрядные силы и энергию, поскольку пережить полное разрушение упорядоченной социальной жизни, а затем воссоздать ее заново способен только очень сильный и незаурядный народ — народ, рискующий делать ставкой в игре с историей собственное существование.

Наибольшим выигрышем для русских оказывалось воссоздание самодержавного государства, что означало возвращение отечественной истории в традиционную колею после кровавого карнавала. Собственно, формирование государства, признанного всеми (или почти всеми) элементами Смуты в качестве легитимного, служило

главным критерием ее завершения. Но государство это непременно должно было оказаться сильнее и эффективнее разрушенного Смуты, где сила и эффективность означали разрешение неразрешимых старым порядком противоречий и ответ на те исторические вызовы — внутренние и внешние, перед которыми пал старый Космос. В социально-психологическом плане Смута завершалась тогда, когда вдоволь натешившееся анархическим бунтом русское общество возвращалось к полюсу признания и даже сакрализации государства. Достигнув крайней точки, маятник русской истории начинал идти обратно.

Но у этого всеобщего отрезвления после «пира воли» должен был найтись социальный или политический персонификатор, возглавлявший движение к государству, вводивший стихию в привычные берега русского бытия. В начале XVII в. в результате вспышки стихийного низового демократизма произошла спонтанная самоорганизация части русского общества в виде первого и второго ополчений. В «красной смуте» народную вольницу железной рукой взнуздали и загнали в «пролетарский рай» большевистская партия.

Наиболее интригующий вариант Смуты развивается на наших глазах. В 1990-е гг. во главе России встал подлинный «царь Смуты» — Б.Н. Ельцин, использовавший и подогревавший анархическую стихию с целью захвата власти. Однако и после этого анархия поощрялась властью как стратегический курс. Вот как сам «всенародно избранный» обосновывал реформы Е. Гайдара: их целью было «именно разрушение старой экономики... Как она создавалась, так и была разрушена» (5). Хаотизация России выглядела оптимальной рамкой для решения кардинальной проблемы передела собственности, а поэтому сознательно и целенаправленно поддерживалась влиятельными политическими и финансовыми группами. Как известно, удобнее всего ловить рыбу в мутной воде, а в мутной воде «демократической России» плавали очень жирные и неповоротливые рыбы в виде бывшей союзной собственности.

В то же время определенные типы властной и социальной практики вбирают, притягивают определенные психологические типы. По точному определению известного московского политолога и остроумца М.В. Малютина, преобладающим типом околотовластного человека на протяжении 1990-х гг. в России был «хаот». Хотя с течением времени он сменил свой камуфляж демократического

порци с «тоталитарным государством» и «партократией» на смо-  
нни рафинированного последователя теорий Хайека, «чикагской  
школы» и «минимального государства», его разрушительная, даже  
и в каком-то смысле социопатическая суть осталась прежней.

Дойдя до этого места, гипотетический читатель может вздох-  
нуть: дальше, мол, все понятно, режим Путина и есть искомое  
инверсирование смуты 90-х гг., возвращение русской истории на круги  
своя, восстановление ее «большого стереотипа». Однако мысль  
автора кардинально иная: *в режиме Путина я усматриваю всего  
лишь кратковременную (по историческим меркам, разумеется) пе-  
редышку, частичную ремиссию перед вступлением страны в но-  
вый, гораздо более страшный и разрушительный, нежели пережи-  
тый в последнее десятилетие XX в., виток Смуты.* Отдавая отчет в  
условности исторических аналогий, путинское правление можно  
сравнить с промежутком между первой и второй русскими рево-  
люциями.

Этот провоцирующий вывод целиком основывается на пред-  
ложенной выше теоретической модели русской Смуты и на неко-  
торых общеисторических закономерностях. И главная из них в  
случае с революциями — а радикальная и полная смена социопо-  
литического, экономического и культурного порядка в России с  
конца 80-х по конец 90-х гг. прошлого века может быть названа  
только революцией — состоит в том, что устойчивый и эффективный  
постреволюционный порядок возникает лишь тогда, когда разре-  
шаются породившие революцию противоречия и проблемы.

Можно назвать, пожалуй, только одно из присущих исходу  
советской эпохи капитальных противоречий, нашедших свое раз-  
решение в российской современности: это конвертация власти в  
собственность и легализация крупных капиталов. Да и оно разре-  
шилось лишь частично: крупная собственность формально легали-  
зована, но нелегитимна, причем не только в глазах общественного  
мнения (две трети русских настойчиво подтверждают свое жела-  
ние увидеть уничтожение класса крупных собственников), но и с  
точки зрения породившей этих собственников власти.

Обо всем остальном даже не приходится говорить. Советский  
Союз сплошь и рядом упрекают за то, что он проспал постиндуст-  
риальную революцию. Возможно, постсоветская Россия соверши-  
ла догоняющий рывок, выйдя в отношении информационных тех-  
нологий хотя бы на уровень Индии? Советы сидели на нефтяной

игле? Но сырьевой характер современной отечественной экономики несравненно более выражен, в то время как машиностроение чахнет и хиреет. Резко снизился социальный статус подавляющего большинства советского среднего класса, выступившего ведущей силой демократической революции. Целенаправленно разрушаются оставшиеся в наследство от Советов структуры повседневности и социальная инфраструктура — последний якорь от погружения в беспросветную нищету. Увеличивающийся разрыв между преуспевающими верхами и социально пораженными низами носит не столько материальный, сколько социокультурный, экзистенциальный и даже антропологический характер. Причем этот разрыв имеет территориальную привязку.

Недемократическая коммунистическая власть по параметрам общественного доверия, административной эффективности и обратной связи явно превосходила нынешнюю — номинально демократическую — власть.

Наконец, потенциально самая важная и, безусловно, самая трагическая проблема советского наследия, не осознававшаяся тогда и лишь отчасти осознаваемая сейчас — демографическая. Выражаясь без околичностей, это проблема силы, в том числе биологической, русского народа как держателя северной Евразии и хранителя страны. Сохрани русские силу для державного бремени внутри страны и мессианской экспансии вовне, не только Советский Союз выстоял бы, но, в настоящее время нас, вероятно, занимали бы события в районе Рио-Гранде и в Намибии, а не в Киргизии и на Украине.

Советский Союз был разрушен бессознательным непротивлением русского населения страны. Гибель советского государства стала политической проекцией русского инстинкта национального самосохранения, стремлением освободиться от непосильной ноши. Так волк, дабы вырваться на свободу, отгрызает себе лапу. В этом смысле начавшийся в России с 1960-х гг. демографический кризис оказался фундаментально важным, хотя неосознаваемым, подспудным фактором последних пятнадцати-двадцати лет отечественной истории.

Однако за освобождением русских от Советского Союза парадоксальным и трагическим образом может последовать освобождение России от русских. Посткоммунистический шок и постсоветская модель развития не только усугубили демографический

приним и придали ему измерение антропологической деградации, ни и со всей очевидностью обозначили перспективу — исчезновение России как государства и страны (или отсечение ее азиатской части), ибо не может быть страны без людей, как не может быть (в этом известный журналист В. Т. Третьяков абсолютно прав (6)) некоего парящего абстрактного русского духа без соответствующего местопричисления в виде национального тела. *Россия имеет шанс только как государство русского народа.*

Обобщая, можно сказать: в России начала XXI в. стремительно воспроизводятся основные линии расколов вековой давности, умноженные на нерешенные Советским Союзом противоречия постиндустриальной эпохи.

Но если старые конфликты и противоречия возвращаются во всей своей ужасающей силе, то возвращение так называемой «государственности» представляет постмодернистский симулякр — ложную копию старых русских образцов, лишенную их силы и энергетики. Всякому непредвзятому наблюдателю очевидно: за два года между «Норд-Остом» и Бесланом власть стала слабее, а не сильнее, а ее шаги якобы по укреплению государства ведут лишь к дальнейшему его ослаблению. Неэффективное и слабосильное, путинское государство оказывается нелегитимным в глазах общества.

Признавая нормативную важность государства, — в этом смысле миф нашей истории прошел крайнюю точку анархии, — современные русские крайне низко оценивают актуальное государство. Они отказывают ему в праве служить источником целеполагания и «больших» смыслов, выступать гарантом справедливости, законности и порядка. После некоторого всплеска позитивной переоценки государства в начале этого века его рейтинг снова пошел вниз. Устойчиво высокая личная популярность президента Путина не распространяется на основные государственные институты, которые скомпрометированы и делегитимированы. В перспективе массового мнения современное российское государство опирается на фигуру популярного суверена и негативном «общественном договоре» с населением страны: люди условно лояльны власти и закрывают глаза на невыполнение ею своих базовых функций, пока та не оказывает на них чрезмерного давления.

Пока что основные социальные группы держат паузу в отношении власти, что вызвано благоприятной экономической конъюнк-  
турой.

юнктурой, сохраняющимся кредитом доверия к суверену, психологической и идеологической усталостью, отсутствием политической альтернативы («партии нового типа»). Последнее обстоятельство делает невозможной в Россию революцию, зато будет стимулировать хаос в ситуации острого кризиса. Его развитие с большой вероятностью примет форму совокупности множества конфликтов различной природы, характера, интенсивности.

Кардинальное отличие новой Смуты от старых русских Смут состоит в том, что она происходит в ситуации русского этнического надлома: впервые за последние пятьсот лет русские перестали ощущать себя сильным, уверенным и успешным в истории народом, что означает драматическое уменьшение шансов России и русских на повторную «сборку» после хаоса Смутного времени.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Изложение теории «русской системы» см. в: *Пивоваров Ю. С., Фурсов А. И.* Русская система: генезис, структура, функционирование (тезисы и рабочие гипотезы) //Русский исторический журнал. Лето 1998. Т. I. №3.

2. См., например: *Янов Александр.* Русская идея и 2000-й год. — Нью-Йорк, 1988 С.397–399.

3. *Булдаков В. П.* Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. — М., 1997. С.7

4. В этой концептуализации для меня оказались полезными замечания Ю. С. Пивоварова, А. И. Фурсова (см.. *Пивоваров Ю. С., Фурсов А. И.* Указ. соч. С.62).

5. *Ельцин Б. Н.* Записки президента. — М., 1994. С.300.

6. См.. *Третьяков Виталий.* Бесхребетная Россия (часть вторая) //Политический класс. 2005. №2. С.86.

---

## Глава 6

# НЕ ЗАПАД. НЕ ВОСТОК. НЕ ЕВРАЗИЯ

### Русские константы восприятия внешнего мира

Численные и беспрецедентные размеры влияния Запада на русскую историю бесспорны, хотя оценки этого влияния остаются остро дискуссионными, простираясь в диапазоне от исключительно положительных до однозначно негативных. Парадоксально, но приписывать максимальный характер западному влиянию склонны скорее современные славянофилы, чем западники.

Современное западничество, признавая критическую важность западного опыта для России, исходит вместе с тем из презумпции несхожести исторического опыта России и Запада. Считая взаимоотношения с Западом ключевой отечественной проблемой, западники настаивают на качественной незападности русского менталитета и русской истории, которые именно поэтому необходимо перековать по западным лекалам. Запад для них — венец человеческого развития и цивилизационная норма, Россия — в лучшем случае, прискорбное отклонение от нормы, в худшем — сущностно западная — и в этом смысле, безусловно, самобытная страна.

Но ведь утверждение русской самобытности составляет исходный пункт русского национализма! Отечественные западники и русские националисты имеют общую отправную точку, от которой их интеллектуально-культурные и политико-идеологические траектории расходятся в противоположных направлениях, включая отношение к Западу. Для одних он цивилизационный маяк и путеводная нить истории, для других — беспощадный враг, конфликт с которым уходит корнями, по крайней мере, в XI в., а отношения обречены на антагонизм (1). Именно в параноидальной историографии русского национализма *Запад-как-Враг* с неизбежностью

приобретает самодовлеющее значение для русского самосознания. Тотальный противник не может не находиться в центре дум и чувств его жертв и противников.

Подобно одержимости средневекового христианина пресечением сатанинских происков, а не снисканием божественной благодати, символическое пространство современного русского национализма выстроено скорее вокруг «Запада-соблазителя» и его доморощенных агентов, чем вокруг «святой Руси». В этом смысле русский национализм можно смело назвать вестерноцентрическим, то есть полагающим главной проблемой русской истории и стержнем русского сознания самоопределение в отношении Запада. Русскость это, прежде всего, отношение к Западу, интеллектуальная и психозмоциональная захваченность им — такое обескураживающее заключение можно вынести из анализа современного русского националистического дискурса.

Подобное умонастроение служит важным аргументом в пользу утверждения английского автора о том, что со времени петровских реформ «наиболее важный (курсив мой. — В. С.) ингредиент современной русской идентичности — сравнение с Западом» (2). Однако то, что верно для русского национализма и, в более широком смысле, для отечественного элитарного дискурса, не выглядит столь же убедительным за его пределами.

Вопрос соотношения и взаимоотношений России и Запада не только имел и имеет различный удельный вес в элитарном дискурсе и массовом сознании. Для последнего проблема Запада вообще существует меньше ста лет, то есть по историческим меркам совсем недолго.

У наших современников невозможно заметить массовую интеллектуальную и психозмоциональную ангажированность историческими спорами о цивилизационном своеобразии России и ее соотношении с западной цивилизацией. Массовое сознание этот вопрос не занимает. Вероятно, в силу его ясности, причем позиция «молчаливого большинства», насколько ее можно социологически распознать и рационализировать, формировалась безотносительно интеллектуальных дискуссий и официальных внешнеполитических взглядов.

Тем не менее, несмотря на автономность «низкой» (обыденной, массовой) и «высокой» (официальной, интеллектуально изощренной) геополитики (3) и даже разрыв между упрощенными



массовыми и рафинированными элитарными взглядами, в своем отношении к внешнему миру массовое сознание и элитарный дискурс не выходят за рамки определенных границ — относительно устойчивых конфигураций внешнеполитических стереотипов, имеющихся в политической географии *геополитическими кодами*.

По мнению географов, эти коды формируются вследствие взаимодействия топологических констант (географическое положение страны), устойчивых исторических стереотипов (традиционная картина мира, представление о традиционных друзьях и «извечных» противниках) и несравненно более динамичных экономических и политических факторов (4). Я же намерен показать, что ключевое значение для понимания характера отношений России с внешним миром имеет не якобы объективный пространственный фактор, а культурно-историческая и ментальная специфика. Проще говоря, в геополитическом коде главной оказывается вовсе не геополитика.

Пространство в человеческой истории не константно, его восприятие обусловлено психологически и культурно-исторически: «Отношение между пространством и историей является обратным по отношению к тому, которое преподносит расистская теория (вместо «расистской теории» здесь можно смело подставить «классическая геополитика». — В.С.): не пространство есть то, что определяет течение и темп человеческой цивилизации, но, наоборот, общественная эволюция исторически изменяет и определяет роль пространства. Сведение человеческой истории к проблеме пространства является фундаментальной ошибкой...» (5).

Можно привести в пример Польшу, которая в одном историческом контексте придерживалась стратегии равноудаленности от России и Германии, а в наши дни пыталась взять на себя миссию посредничества между Россией и Европой. Когда стратегия «моста» не была востребована ни Москвой, ни Берлином, Варшава попыталась одновременно сыграть в двух регистрах: на якобы традиционной русско-немецкой неприязни и призывах к Берлину о «европейской солидарности». Таким образом, хотя географическое положение этой страны осталось прежним, изменились — и притом кардинально — историческая ситуация и окружающий мир.

Берущий за живое пример из того же ряда находится перед нашим носом. Сибирь, которая традиционно выглядела залогом русской неуязвимости, по мере усиления Китая и ослабления России превратилась в окно стратегической уязвимости (6).

Экстраполяция этой мысли на русскую историю, характер взаимоотношений России с внешним миром ведет к следующему умозаключению: восприятие собственно геополитической стороны этих отношений было во многом (если не в основном) предопределено их историей, культурными и психологическими склонностями, симпатиями и предубеждениями русских, а также (о чем нередко забывают) противостоящей стороны. Предельно упрощая, границы сначала проходили в головах, а уже затем проецировались на карты, причем ментальные барьеры зачастую оказывались устойчивее государственно-политических границ.

### КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ КАНВА

Акцент на культурно-психологической подоплеке внешнеполитических стереотипов и первичности этого фактора для понимания логики их развития предполагает специфический ракурс рассмотрения и соответствующую терминологию. Ключевое понятие моего анализа — понятие *Другого*. Вопреки поверхностным утверждениям об изживании дихотомии *Мы–Они*, *Свое–Чужое* в «цивилизованных» странах, о ее сохранении только в «примитивных», «традиционных», «закрытых» обществах (к которым авторы подобных сентенций относят Россию) (7), эта дихотомия носит в полном смысле слова *архетипический*, то есть предзаданный характер, коренится в коллективном бессознательном и поэтому неуничтожима, имеет многообразные и обширные актуальные проекции. В культурной антропологии и этнологии дуальная оппозиция *Мы–Они* вообще занимает одно из центральных мест, служа тем стержнем, вокруг которого выстраивается концептуальный каркас этих наук.

Осознание *Мы*, то есть собственной идентичности, до конца невозможно без *Другого*. «Мы становимся сами собой только потому, что отличаем себя от реального, а чаще — воображаемого “другого”», — утверждает рафинированно либеральный современный автор. Хотя теоретически возможны три модуса восприятия Другого: враждебный, нейтральный, дружественный, сам факт различения и отграничения в высокой степени предрасполагает к негативизации Другого, отношения к нему с позиции презумпции его неполноценности и ущербности. «Как с точки зрения индиви-

на, так и воображаемого сообщества [в виде] нации психологически очень трудно согласиться с наличием сильно отличающегося от нас "другого", одновременно признавая его основополагающее человеческое равенство и достоинство» (8). Человеческая психика с огромным трудом, крайне неохотно и лишь временно может допустить, что источник зла коренится в Мы; не в пример охотнее и чаще зло приписывается Другим.

Отношение к Другому-как-Врагу, как указывал К. Шмитт, гораздо более бдительное, напряженное и эмоционально насыщенное, чем отношение к Другому-как-Другу, теряющему качественную определенность по мере сближения или даже интеграции с Мы. Именно Враг позволяет лучше осознать, четче и категоричнее сформулировать образ Мы. Вместе с тем стоит помнить об имманентной внутренней противоречивости Другого, могущего быть как Другом, так и Врагом, и эти взаимопереходы и трансформации служат глубинным источником динамики внешнеполитических стереотипов.

Таким образом, отношения русских с внешним миром можно формализовать, описывая их как динамику внешнеполитической проекции архетипа Мы—Они. Стереоскопичной и дифференцированной эту картину сделают несколько важных уточнений.

В таких отношениях культуры, страны и цивилизации воспринимаются не как сложные и внутренне дифференцированные, а как целостные и гомогенные. «Реальные и разнообразные страны западной Европы подверглись (русской интеллигенцией. — В. С.) сокращению до неузнаваемости, превратившись в удобный однородный символ, заслуживающий либо поклонения, либо отвержения». «Слово "Запад" и тогда (в первой половине XIX в. — В. С.), и даже сейчас вызывает у русских столь сильную реакцию — положительную или отрицательную, — реакцию, которая давно утратила всякую связь с "реально существующими" странами, составляющими Западную Европу и Северную Америку» (9).

Тем не менее, в некотором противоречии со сказанным выше, для отечественного дискурса — элитарного и массового — о Западе характерно его восприятие как качественно неоднородного и даже дуалистического. Подробнее этот дуализм восприятия, генетически восходящий к имманентной амбивалентности Другого, будет продемонстрирован в дальнейшем изложении. Сейчас достаточно отметить, что в зависимости от исторического контекста

Запад осмысливался и рационализировался в парах оппозиции «ложного» и «истинного», «прогрессивного» и «реакционного» «пролетарского» и «буржуазного», «враждебного» и «дружественного» и т. д. Причем эти оппозиции лишь в незначительной степени были привязаны к реальным западным странам, в подавляющем большинстве случаев представляя атрибут Запада, сконструированного русскими.

Исторически мы обращались не столько к реальному Западу, сколько к его мифологизированному образу, имевшему к подлинному Западу отдаленное отношение. «Запад был... не набором реальных, отличающихся друг от друга стран, испытывающих собственные трудности, а неким полигоном для воображения...» (10). В этом смысле Запад оказался скорее метафизической, чем конкретно-исторической и географической категорией.

Запад, со своей стороны, также воспринимал восточного соседа в не менее мифологизированной манере и как гомогенную целостность. Достаточно вспомнить, что еще недавно среднему западному человеку все граждане советского Левиафана виделись именно как «русские» (даже не как «советские»). Да и сейчас крайне редко проводится различие между представителями живущих в России различных народов: для западных масс-медиа все они (за исключением, возможно, чеченцев) оказываются «русскими».

Различия внутри Запада для русских начинались на следующем уровне восприятия, который формировался конкретно-исторической ситуацией. Здесь уместна аналогия с объектом, рассматриваемым с разной дистанции или при помощи различной оптики. Издалека или невооруженным глазом улавливается лишь его абрис, в то время как по мере приближения к нему (или в бинокль) можно разглядеть сложность и неоднородность наблюдаемого объекта.

Покойный Г.Г. Дилигенский концептуализировал эту дифференциацию как: а) высоко устойчивую экзистенциальную и б) динамичную внешнеполитическую (задаваемую конкретно-исторической ситуацией) составляющие русского образа «Запада» (11). (На место термина «экзистенциальный» я бы поставил «метафизический», что подчеркивает кажущуюся извечность Запада в русском восприятии.)

Второе уточнение относится к необходимости выделения не просто Другого, но *главного, конституирующего* Другого, то есть

таким, по отношению к которому, в первую очередь, и происходило русское самоопределение, чье влияние — явное и неявное, сознательное или бессознательное — на формулирование и осознание отличительных особенностей России, русской цивилизации было существенно больше влияния остальных Других.

Иначе говоря, не все Другие были одинаково важны для русских, в определенные исторические периоды некоторые из них становились несравненно важнее. Эта важность определялась той угрозой, которую Другой представлял для России и/или тем влиянием, которое он на нее оказывал, что можно также описать в рамках концепции «вызова-ответа» великого британского историка А. Тойнби. Конституирующий Другой — тот, кто служил наиболее мощным внешним стимулом развития России, вынужденной давать на него ответ.

Распространенное и устойчивое представление о том, что отношения с Западом всегда имели первостепенную важность для России, что Запад всегда был нашим конституирующим Другим, глубоко ошибочно с исторической точки зрения. Начало плотного, фронтального взаимодействия России с Западом относится к исторически недавнему (лишь около трехсот лет тому назад) времени петровских реформ. В первой половине второго тысячелетия от Рождества Христова роль конституирующего Другого для русских играли поочередно или вместе Византия и Степь.

В то же время их значение — по отдельности и даже в совокупности — для России существенно уступало значению Запада. Влияние Византии на молодое русское государство носило преимущественно культурно-идеологический и религиозный характер. Степь представляла военный вызов и угрозу политической независимости. Запад был не только военно-политической угрозой, он превратился также в мирового экономического и технологического лидера, оказывал мощное культурное влияние, манил качеством и образом жизни. Его роль для России была исключительно высока: он оказался не просто конституирующим, но еще и тотальным, всесторонним Другим.

Однако, — и это третье концептуальное замечание — даже и случае с Западом геополитический код России не был всецело ориентирован в западном направлении. Последние триста лет очень важная, хотя и подчиненная (не вспомогательная!) роль в нем принадлежала Востоку (Азии), что было вызвано не только

географической и культурной связью России с Азией, более плотной и интенсивной, чем аналогичная связь Запада с Востоком, но также стремлением определить и сформулировать цивилизационную идентичность России. Возникла конфигурация «Запад–Россия–Восток». На плоскость она могла проецироваться в виде прямой, где Россия находилась между Западом и Востоком, то есть русская цивилизационная идентичность укладывалась в контекст западно-восточной дихотомии, оказываясь потенциально самостоятельной. В этом ракурсе Россия выглядела то деградировавшим или недоразвившимся Западом, то относительно успешным Востоком, приблизившимся по ряду позиций к Западу, но сохраняющим сущностно незападную природу.

Но эта же конфигурация могла проецироваться на плоскость и в виде треугольника, где роль одной из вершин отводилась России, символизируя ее самостоятельную цивилизационную идентичность, несводимую к идентичности Запада или Востока.

Наконец, четвертое замечание. Запад, в отличие от России, осмысливал свою идентичность в более простой конфигурации в рамках биполярной оппозиции «Запад–Восток». Это влекло для России однозначно негативные последствия. Европейские дискуссии XVI–XVII вв. о принадлежности русских к семье христианских народов во второй половине XVIII в. результировались в обобщающий взгляд на Россию как часть варварского и непонятного Востока. По словам рафинированного русского западника: «Взгляд на Россию как на азиатскую и варварскую страну, лежащую за пределами европейской цивилизации и истории, стал на Западе традиционным». Из «неполноценного» Востока европейского колониального дискурса Россию выделяло лишь одно, но решающее обстоятельство — готовность и умение отстаивать свободу и независимость перед натиском Запада, создание военно-политической мощи, ставшей важным (порою — ключевым) фактором европейской ситуации. Это придало облику «загадочной» России оттенок панъевропейской и (в советскую эпоху) мировой угрозы. «Запад создал клише “варварских азиатских орд россиян”, посягающих на законопослушную Европу, на европейскую цивилизацию... Этот миф оказался живучим» (12). Русский потенциал, способность быстро и творчески усваивать достижения Запада, русский мессианиззм — в православной и советской формах, непонятность намерений России — все это формировало в глазах Запада преимущественно негативный образ России как Другого.

Утверждение об исторически преобладавшем негативном мнении восприятия России Западом — не привилегия русских националистов. Исследование И. Нойманна о формировании европейской идентичности констатирует устойчивое неприятие России в качестве равноправного и надежного партнера, восприятие ее как потенциально враждебной, в лучшем случае — непонятной страны, по природе своей принадлежащей Востоку, а не Западу. Никакие демонстрации политического дружелюбия со стороны России не в состоянии изменить этот образ, они лишь меняют идеологическое обоснование неприятия Другого, — утверждает Нойманн (13).

В самом деле, исторически сменяющие друг друга устойчивые и преобладающие образы России — «жандарма Европы», коммунистической угрозы, нецивилизованной и псевдодемократической страны — носят негативный характер. Это не удивительно при преобладающей на Западе устойчивой тенденции изображения России. В качестве типичного примера можно привести обширный труд представителя школы «Анналов» — одного из наиболее влиятельных течений европейской историографии, где Россия называется подвижной *границей* европейской цивилизации (что подразумевает ее полуварварский и не европейский характер) и объявляется *антимоделью* Запада — резервуаром негативного исторического опыта, архаических политических институтов и экономических моделей (14).

Имеются, конечно, историографические исключения, но, как ни какое исключение, они лишь подтверждают общее правило.

Собственным специфическим отношением к России Запад в значительной степени предопределил (и продолжает предопределять) реакцию русских и России на любые свои действия. В этом смысле *устойчивая презумпция недоверия русских к Западу* небезосновательна и довольно рациональна. Можно лишь удивляться, что она никогда не перерастала в тотальную вражду, что русские, наряду с недоверием и опаской, всегда резервировали за Западом оптимизм и надежду на равноправное сотрудничество.

## ПЕРИОДИЗАЦИЯ

В предложенном мною аналитическом ракурсе (взгляд с точки зрения ментальности и культуры) история русско-западных отношений легко и естественно делится на три больших периода. Первый

охватывает время до начала XX в., когда Запад составлял проблему преимущественно русской элиты и сравнительно немногочисленных образованных слоев отечественного общества. За четверть века петровских реформ, красную нить которых составило интенсивное и масштабное заимствование западного опыта, «фасад России приобрел западный облик», но «прямому западному воздействию подверглись не более 0,5% российского населения», что в абсолютных цифрах составляло менее 100 тыс. человек. Историческая логика распространения западного влияния в России была следующей: «В первые десятилетия XVIII в. прозападным стал только слой столичного дворянства и армейского офицерства. К концу XVIII в. вся культура правящего класса, ее главенствующие формы оказались ориентированными на западные ценности. К середине XIX в. к этим ценностям приобщается городское мещанство... Но основное тело России — крестьянство — если в той или иной степени и соприкоснулось с западными ценностями, то лишь в конце XIX в.» (15).

За двести лет вестернизации России «толщина» ее западной прослойки увеличилась не столь уж значительно. Приблизительно шесть миллионов европейски образованных подданных огромной империи накануне большевистской революции составляли менее 5% ее населения. В начале XX в. Запад по-прежнему оставался проблемой элитарного дискурса, в то время как жившее в деревне подавляющее большинство российского населения с ним не соприкасалось и мало что о нем знало.

Характерообразующей чертой второго периода истории русско-западных отношений, начало которому положила Октябрьская революция, стало выдвижение проблемы Запада в центр массового дискурса. Именно целенаправленные усилия большевиков, которым традиционно приписывают антизападную ориентацию (в действительности ситуация никогда не была столь однозначной), привели к тому, что Западом оказалось тематизировано все без исключения общество, а не только элита. В этом смысле распространенное мнение об изоляционистской стратегии советского коммунизма, его стремлении «отгородиться стеной, создать самодовлеющий мир» (16) нуждается в серьезной корректировке. Возведение политической стены между советской Россией и Западом сопровождалось одновременной форсированной, насильственной и всеобъемлющей индоктринацией Запада-как-Другого в сознание советского



человека. За немногим более 70 лет своей власти коммунисты объективно, вне зависимости от своих субъективных устремлений, добились более масштабной и глубокой вестернизации русского сознания, чем Романовы за триста лет своего правления. Советская модернизация включала и существенную вестернизацию.

В третий, постсоветский период проблема Запада потеряла прежнюю интенсивность и стала смещаться из фокуса массового сознания русских на его периферию. Сложившиеся в предшествующие исторические эпохи константы отечественного восприятия Запада в основном сохранились, но само это восприятие стало более сбалансированным, рациональным и критическим, менее эмоциональным.

## ФОРМИРОВАНИЕ РУССКИХ КОНСТАНТ ВОСПРИЯТИЯ ЗАПАДА

Приблизившись к непосредственной истории русско-западных контактов, нетрудно заметить, что их возобновление в конце XV в. происходило в качественно ином историческом контексте, чем в домонгольскую эпоху. Россия только что обрела независимость и (после падения Константинополя) оказалась в роли единственного хранителя восточного православия, что порождало обостренную чувствительность русских в отношении любых — действительных или воображаемых — поползновений на их политический и религиозный суверенитет. Единственная независимая православная держава современного ей мира переживала глубокое чувство одиночества, парадоксально подтверждавшее уникальность, религиозную привоку и великую миссию России — миссию, которая потенциально распространялась и на Запад. Знаменитая формула «Москва — третий Рим» (курсив мой. — В. С.)» рассматривала Русь как завершение и кульминацию исторического движения, начатого на Западе, что означало как генетическую связь России с Западом, так и ее религиозное превосходство над ним.

Однако Запад не был готов признать эсхатологическое признание России и вообще сомневался в ее принадлежности к миру христианства. «Русские люди, освободившиеся от монгольской неволи, никоим образом не ощутили помощи или деятельной симпатии со стороны христианских “родственников” из европейской

семьи народов... На Русь смотрели как на возможный объект воздействия, а не как на члена европейской, христианской семьи народов. Для России на Западе собирались грозные тучи не в меньшей степени, чем на традиционно таящем опасностью Востоке» (17)

Снисходительное презрение Запада к далекой «варварской» России питалось его технологическим, культурным и военным превосходством. Европа приступала к открытию и колониальному освоению незападного мира, начинала свое восхождение к вершинам мировой гегемонии. «Сделочная» позиция Запада в отношении России была заведомо сильнее, не оставляя русским альтернативы усвоению западного опыта, если они хотели сохранить свою независимость. В то же время эта жестокая и вынужденная необходимость, неумолимая поступь истории требовала психологической и культурной компенсации, которую выполняла идея русского религиозного превосходства.

Тем самым закладывалась характерная для последних пятиста лет амбивалентность русского отношения к Западу: «исконное благочестие», презумпция *духовного* превосходства русских, с одной стороны, и признание западного первенства в *практических вопросах*, с другой. Порою эти идеи были разведены и локализовались в различных культурных группах, но со временем они все чаще соединялись (в различных пропорциях) в умах и сердцах одних и тех же людей, создавая причудливое соединение «любви-ненависти» к Западу. В чистом, беспримесном виде ни одна из этих тенденций никогда не брала верх на сколько-нибудь длительное время.

Даже в отмеченное резкой ксенофобией (вполне естественной после польской интервенции в Смутное время начала XVII в.) правление первого из Романовых — Михаила — русская государственная власть прилагала колоссальные усилия для импорта западного военного опыта. Не говоря уже о правлении «тишайшего» и «благочестивейшего» Алексея Михайловича, подготовившем решительный разворот Петра I к Западу.

В то же время отношения с Западом никогда не складывались настолько благоприятно, чтобы заставить русских забыть свои — исторически не такие уж безосновательные — подозрения и недоверие к нему. Послепетровская вестернизированная элита воочию столкнулась с тем, что ни богатство, ни освоение западной культуры, ни превосходное владение иностранными языками, ни целена-

применяемая стратегия идентификации с Европой при не менее целенаправленном отчуждении от России не приносили желаемого результата. Российская элита, став чужой собственной стране, не могла сослаться на Западе.

Пряда ли можно было ожидать иного результата в ситуации, когда Запад взирает на остальной мир с позиции высокомерного превосходства. Это противопоставление жестко и прямо обозначилось именно в эпоху Просвещения. Во второй половине XVIII в. интенсивно формировался колониальный дискурс — обобщающий западный взгляд на Восток как противоположность Европе: «край деспотизма и рабства вместо свободы, эмоций вместо рации, покоряющего конформизма и неконтролируемой вседозволенности вместо самоконтроля и умеренности, пассивной медитации вместо целенаправленного действия, бездействия вместо энергии, стагнации и бедности вместо прогресса и процветания» (18).

В этой культурной картине мира место России находилось на Востоке или рядом (не столько в географическом, сколько в культурном и цивилизационном значении) с ним, но не на Западе или в юридической связи с Западом. Военная мощь и внешнеполитические успехи России, рассматривавшиеся ею как средство воссоединения с Европой, усиливали страх перед «азиатским гигантом» и углубляли западное отчуждение от него.

Историческая бесперспективность устремлений отечественной элиты к интеграции с Западом порождала обширный спектр психоэмоциональных и интеллектуальных реакций, хорошо описанных предложенной Л. Гринфельд концепцией *ressentiment* — чувства досады, экзистенциальной зависти (19). «В его основе — представление о потенциальном равенстве между сравниваемыми обществами при существовании очевидного неравенства между ними в настоящее время. Более развитое общество служит образцом для подражания, его ценности сначала кажутся привлекательными и легко воспроизводимыми отстающим обществом. Однако когда попытки сравняться со своим идеалом терпят неудачу, происходит переосмысление первоначальных ценностей и даже отталкивание от них. В этот момент и рождается досада. Она может быть творческой силой, так как заставляет искать в местной традиции собственные ценности, мобилизовывать внутренние ресурсы для преодоления отставания. Но она же способна вести к изоляции и всплескам ксенофобии» (20).

Так, извне, элитарное русское сознание получило мощный импульс к интеллектуальному освоению вопроса о национальной идентичности России как оборотной стороны проблемы Запада. Преимущественно секуляризованный характер элиты предрасполагал к решению этих проблем не в рамках потерявшего былую силу и убедительность религиозного дискурса, а на почве рационально-научного национального дискурса, который еще предстояло сформировать. Вторым (наряду с Западом) важным источником национального дискурса стало появление в послепетровской России собственного интеллектуального сословия, раздираемого острым конфликтом между первыми русскими интеллектуалами и их немецкими учителями.

Хотя появление русского национального дискурса обычно связывают со славянофильско-западническими спорами, тем самым фактически относя его рождение к 40-м гг. XIX века, основные линии и ключевые темы национальных дискуссий формировались на протяжении всего XVIII в. 1840-е гг. лишь манифестировали появление относительно завершенных и целостных концепций, подготовленных предшествовавшим культурным развитием.

Впрочем, наряду с внутренней культурно-интеллектуальной преобладающей ролью первая четверть XIX в. ознаменовалась появлением ряда новых факторов, давших мощные стимулы формулированию русской идентичности и поиску парадигмы ее взаимоотношений с Западом. Это были Великая французская революция, вызвавшая панъевропейскую динамику войн, революций и создания национальных государств, а также блестящая победа России в войнах с наполеоновской Францией — победа, спасшая Европу от французского экспансионизма.

Интеллектуальные и культурные формулы русского национального дискурса были отлиты на западных, преимущественно немецких «фабриках мысли». Германским ученым принадлежала основополагающая роль в формировании академической российской историографии (отправную точку и красную нить ее теоретических дискуссий на столетия вперед составила «норманнская теория»), в разработке научной программы изучения русского народа; немецкие мыслители оказали решающее влияние на историософию и концепции славянофилов — пожалуй, первых русских националистов в современном понимании этого явления. Воздействие И. Г. Гердера, Ф. Шеллинга и других немецких романтиков

ни формирование славянофильского дискурса было не только хронологически первым, но и содержательно более важным, чем «открытое» впоследствии славянофилами святоотеческое наследие, декорировавшее в национальном духе их интеллектуальный стиль. Русские оказались не только лучшими учениками немцев, но и, по иронии истории обратили против них их же собственное интеллектуальное оружие.

В данном случае интерес представляет не сконструированный славянофилами идеальный образ России, имевший весьма отдаленное отношение к реальности, что, впрочем, было родовой чертой историкософских схем XIX в., а предложенное ими решение проблемы «Россия–Запад». Тем более что одновременно со славянофилами образцы ее решения предлагались западниками и властью (теория «официальной народности»).

При непредвзятом рассмотрении этих трех основополагающих позиций русского национального дискурса XIX в., мы обнаружим их родство в отнесении России к лону европейской цивилизации. Признание европейской идентичности России было присуще не только западникам, его разделяли также славянофилы, это было нижним пунктом теории «официальной народности».

Вопреки фальсифицирующим утверждениям, знаменитая триада «православие, самодержавие, народность» графа Сергея Уварова (который, по отзывам современников, не прочитал за всю свою жизнь ни одной русской книги, а писал только по-французски и по-немецки) вовсе не носила антизападнического характера. Ее появление было интеллектуальной реакцией на социальную и националистическую динамику в Европе, идеологическим обоснованием сохранения *России как Европы* «старого режима», противостоящей демократическим, либеральным и националистическим тенденциям *новой Европы*. «Официальная народность» и, в более широком смысле, культурная и идеологическая политика николаевского режима, отрезая Россию от «ложной» Европы идей Французской революции, сохраняла в то же время за «северной империей» презумпцию принадлежности к «подлинной» европейской идентичности.

В концепции Уварова впервые были обозначены два пункта, позже развернутых в силовые линии русского дискурса о Западе. Во-первых, идея качественной неоднородности, дуализма Запада, в данном случае облаченная в форму противопоставления «ложной»

Европы республиканизма, революционаризма, национализма и атеизма «подлинной» Европе легитимизма, монархизма, консерватизма и христианской веры. Во-вторых, тезис о России как наиболее стойкой хранительнице заветов «подлинной Европы» обосновывал ее моральное превосходство над Западом и содержал идею особой миссии России в отношении Европы.

Сама принадлежность России к европейской цивилизации была *sine qua non* для николаевской аристократии и узкого образованного слоя. Не случайно интеллектуальным стимулом к кристаллизации славянофильской и западнической концепций послужило шокировавшее отечественную публику отрицание П. Я. Чаадаевым европейской идентичности России.

В ответ ему славянофилы и западники утверждали европейский характер страны. Хотя каждая из сторон делала это на свой манер, капитальные аргументы они черпали из общего и парадоксального источника — тесной связи России с Востоком, Азией. Для Запада проблема отношений с Востоком укладывалась в биполярную оппозицию «Запад–Восток», где Россию интегрировали в последний. Российские интеллектуалы XIX в. доказывали родство России и Запада разительным контрастом между Россией и Западом с одной стороны, и Востоком — с другой. Если представить эту конфигурацию в виде проекции на плоскость, то в случае с русскими западниками она приближалась к прямой линии, где точка «Россия» находилась гораздо ближе к точке «Запад», чем к точке «Восток». В славянофильской традиции это был скорее треугольник с расстоянием между вершинами «Европа» и «Россия» несравненно меньшим, чем между ними и «Востоком».

Парадоксальным образом Востоку была отведена чуть ли не ключевая роль в европейской идентификации России. В отличие от Европы Россия не только непосредственно граничила с Востоком, но и имела собственную мощную «внутреннюю» Азию, в роли которой исторически сменяли друг друга Казанское ханство, Кавказ, Средняя Азия, Дальний Восток (21). Эти факторы отечественная интеллигенция воспринимала «не как угрозу европейской идентичности России, а как возможность доказать эту самую европейскость» (22). С начала XIX в. «восточная линия» прочно утвердилась в русском дискурсе о Западе, подобно пунктам о дуализме Запада и моральном превосходстве России. Симптоматично, что среди первооткрывателей важности Востока для утверждения

европейскости России находился уже упомянутый граф С. Уваров (23).

Как убедительно показал С. Беккер, русская интеллектуальная элита в основных чертах восприняла и воспроизвела западный — колониалистский — взгляд на Восток. Его основные темами были: противопоставление Запада и Востока как противоположных принципов человеческого мышления и социальных связей; неполноценность (врожденная расовая, географически детерминированная или исторически приобретенная — оставалось дискуссионным вопросом) Востока в сравнении с Западом; цивилизаторская миссия Запада в отношении Востока. Место России находилось на одном полюсе с Западом: «Принося своим восточным подданным плоды западной цивилизации, Россия демонстрировала свое членство в эксклюзивном клубе европейских народов; вбирая этих подданных в формирующуюся российскую нацию, Россия поднимала свою цивилизаторскую миссию на недостижимую для Запада высоту» (24). Не вполне состоятельная идея качественного превосходства русской восточной (азиатской) политики над восточной политикой Запада вошла в «золотой фонд» отечественной мысли, легитимизируя миф особой миссии России на Востоке.

Русский национальный дискурс изначально содержал представление о потенциально глобальном характере русской миссии, распространяющейся не только на Запад, но и на Восток. Это убеждение было одной из последовательно сменявших друг друга культурно-исторических модификаций русского мессианизма.

В историческом опыте взаимоотношений с Востоком отечественные интеллектуалы обнаруживали еще одно важное специфическое доказательство родства России с Европой — идею России как щита цивилизации от монголо-татарского нашествия и варварских орд с Востока. Хотя авторство мысли о кочевом варварстве как историческом враге цивилизации принадлежало Западу, в русском национальном дискурсе она стала, с одной стороны, оправданием и объяснением технологического и культурного отставания России от Запада, с другой, фигурой морального упрека «неблагодарному Западу», не оценившему русский подвиг спасения европейской цивилизации и даже пытавшемуся воспользоваться временной слабостью России для ее порабощения.

Нелепость требования, чтобы мораль служила политикообразующим фактором в средневековую (!) эпоху ярко высвечивает

классическую психоаналитическую подоплеку русской интеллектуальной реакции на западное доминирование. Комплекс неполноценности порождал комплекс превосходства: актуальное неравенство России и Запада компенсировалось убеждением в моральном превосходстве России и идеей ее глобальной миссии.

Хотя для русского просвещенного общества дифференциация России от Востока служила убедительным доказательством ее родства с Европой, Россия настолько явно «выламывалась» из общего строя европейских государств и народов, что это требовало, как минимум, объяснения. Проще всего решение данной проблемы далось последовательным западникам, обнаружившим источник фундаментальных различий между Западом и Россией в отечественной истории: у русских не было опоры на греко-римское наследство, а преимущественная связь с ориентальной по природе Византией изолировала Россию от Европы; изоляция и ориентализация России были усилены татарским господством; все это и породило сомнения в европейской идентичности России. В таком ракурсе Россия оказывалась «недоразвитой», сбитой с «магистрального пути» Европой, которую Петр I решительно вернул в правильную колею. Нетрудно заметить, что логика и аргументация западничества в основном сохранились вплоть до сегодняшнего дня.

Не столь интеллектуально разработанная доктрина «официальной народности», не сомневаясь в европейскости России, делала главный акцент на дуализме самой Европы, где Россия принадлежала миру «подлинной» Европы, противопоставленной Европе «ложной». Более того, Россия была если не единственным, то главным гарантом сохранения «подлинной» Европы и, в этом смысле, носителем провиденциальной миссии.

Близкую позицию занимали славянофилы, в понимании которых Россия принадлежала *другой* Европе — той, которую потеряли (или так и не обрели) европейцы — Европе подлинно христианского духа любви, смирения, братства. Россия, сохранившая все эти качества в православии и специфически русском типе социальных связей (общинность, соборность, неполитизированность народа), составляла альтернативу Европе атеизма, рационализма, «язв» пролетарства и буржуазности. Как и в случае с «официальной народностью» мы обнаруживаем оппозицию «истинной» и «ложной» Европы, где первая представлена, по точной и глубокой характеристике крупнейшего исследователя славянофильства А. Валицкого «консервативной утопией», а вторая — актуальной Европой.



Точно так же для славянофилов был характерен мессианизм: убеждение в способности России собственным «духоподъемным» примером спасти Европу от ее «болезней». Однако — и это очень важно помнить — в перспективе славянофильства и «официальной народности» русская уникальность рассматривалась в европейском контексте. Россия была не альтернативой Европе, а альтернативой *внутри* Европы.

Уверенное признание России европейским государством, а русских — европейским народом составляло доминантную черту ментальности российского правящего сословия и отечественных образованных классов на протяжении XVIII — начала XX вв. Единственное значимое исключение в этом отношении составлял не Н. Я. Данилевский с его *тагмат опус* «Россия и Европа», а так называемые «восточники» — небольшая маргинальная группа русских интеллектуалов 80-х гг. XIX в. Хотя их взгляды оказались в густой тени евразийцев, идеи о России как исторической преемнице империи Чингис-хана, о ее принадлежности миру Азии, а не Европы впервые были сформулированы именно «восточниками». Они не были услышаны на исходе XIX в. по причине вестерноцентрической ориентации русской интеллектуальной и культурной жизни.

На протяжении XIX — начала XX вв. в русском дискурсе о Западе сохраняла силу основополагающая оппозиция «истинного» и «ложного» Запада, в которую конкурировавшие политико-идеологические, интеллектуальные группы и течения вкладывали различный смысл. Приобретший опыт европейской эмиграции А. И. Герцен соглашался со славянофилами в «ложности» Европы буржуазного развития, обнаруживая «истинную» Европу в социальной перспективе французского утопического социализма; правительственные и внеправительственные консерваторы отвергали «ложную» республиканскую и атеистическую Европу во имя «подлинной» Европы христианских монархий и аристократического порядка; отечественные либералы, наоборот, связывали «подлинность» с демократией, республиканизмом и социальными реформами в противовес исторически отжившим династическим консервативным режимам; российские радикалы и экстремисты полностью ниспровергали актуальную, современную им Европу во имя будущей Европы социальной революции. Однако вне зависимости от того, как и кем проводились разграничительные линии, вне зависимости от связи русских интеллектуальных представлений и символов Запада с европей-

скими реалиями, в любой из модификаций оппозиции «истинное — ложное» Россия соотносилась и неразрывно связывалась с Европой, что утверждало ее принципиальную принадлежность к Западу.

Даже радикальная попытка Н. Я. Данилевского преодолеть фундаментальное противопоставление Запада и Востока утверждением о России как не принадлежащем ни Европе, ни Азии отдельном и целостном естественно-географическом регионе, в конечном счете, признавала расовое и культурно-историческое родство России и Европы. Данилевский, отождествлявший языковой и расовый критерии, относил славянские народы и «романо-германский цивилизационный тип» к арийской лингвистической семье. Россия и Европа объединялись им по принципу превосходства над всем остальным — небелым, неарийским — миром. Современным языком можно сказать, что Данилевский относил Россию и Европу к Северу, который противопоставлял Югу.

Даже столь радикальные русские националисты исходили из презумпции западной идентичности России или, как минимум, ее родства с Западом. А авторство концепции «особого русского пути» вообще принадлежало западнику А. И. Герцену. Славянофильский мессианизм содержал лишь крайне смутное и расплывчатое представление о том, что Россия, реализовав, наконец, свое моральное превосходство, преподаст Западу «урок» и «исцелит» его «язвы». Заслуга Герцена состояла в соединении мессианского пафоса с интеллектуальным обоснованием особого пути России — доктриной «русского социализма».

Ее фундаментальной предпосылкой послужил неоспоримый и остро переживавшийся русскими факт отставания России от Запада, который Герцен и последующая русская социалистическая традиция (от народников до большевиков включительно) парадоксально переинтерпретировала в позитивном ключе. Ведь отставание от Запада означало слабость и неукорененность буржуазных отношений, что вкупе с воплощенной в русской общине автохтонной социалистической традицией даровало России уникальную возможность осуществить социалистический идеал значительно быстрее, чем на Западе. Спрявив путь на крутом историческом вираже, Россия могла обогнать Запад, стать путеводной звездой, моделью развития для всего мира — для Запада и для Востока.

Возможность синтеза европейской социальной философии и русского мессианизма была намечена еще до Герцена, но он

интерпретации облек ее в форму разработанной интеллектуальной доктрины: опираясь на уникальность России, реализовать идеал, сформулированный и выношенный европейской мыслью,— вот магическая идея «особого пути». Это был синтез славянофильства и западничества, где русская идентичность рассматривалась в европейском контексте. (Большевистскую интеллектуальную доктрину также составило внешне парадоксальное, но весьма эффективное и оригинальное сочетание западного марксизма с русским народничеством и русским же мессианизмом.)

Трудно переоценить значение этого новаторского синтеза для нашей отечественной истории. Вера Толз справедливо указала, что «русский социализм» стал идеологией модернизации России, хотя в контексте классических определений национализма вряд ли правомерно называть его «националистической» идеологией (25).

Преобладающее в современной мысли скептическое и пренебрежительное отношение к идеологии «особого пути» как отрывке русского мессианизма и антизападническому символу веры исторически несправедливо. Вплоть до начала XX в. «особость» означала лишь специфически русский путь к сформулированным на Западе универсальным целям человеческого развития. В то же время соединение концепции «особого пути» с мессианизмом содержало возможность универсализации русской специфики: при определенных обстоятельствах русскому пути к социализму мог быть придан характер общеисторической закономерности, что, как мы знаем, и произошло после утверждения большевизма в России.

Фокусирование внимания в этой части текста исключительно на элитарном дискурсе о Западе вызвано тем, что до начала XX в. Запад составлял проблему — практическую и теоретическую — в первую очередь для соприкасавшихся с ним сравнительно немногочисленных образованных слоев отечественного общества. Однако было бы ошибкой впечатление, что массы народа в этом случае оставались «великим немым», никак не участвуя в решении проблемы Запада.

Не будучи затронутой непосредственным западным влиянием, масса русского населения получила в лице вестернизированной интохтонной элиты свой собственный, «внутренний» Запад. Если российская элита осмысливала ситуацию как драматический вызов со стороны Запада-как-Другого, то для основной массы населения

главный вызов исходил от внутреннего Другого — вестернизированного правящего сословия, воплощавшего социальное угнетение, культурное отчуждение и во многом этнически чуждого русским.

## ЗАПАД КАК ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА

Проблема внутреннего Другого — этнического, культурного и социополитического раскола русского общества — была решена большевиками в топорной (в прямом и переносном смысле слова), но весьма эффективной манере. Важнейшим следствием гомогенизации отечественного общества стало превращение Запада из преимущественно элитарной проблемы в нерв отечественного массового сознания. Расхожие обвинения советского коммунизма в строительстве «железного занавеса», намеренном разрыве с Западом и культивации враждебности по отношению к нему — односторонни. В другом смысле большевики были, согласно парадоксалистскому определению А.И. Уткина, «антизападными западниками», партией «ультразападного приобщения» и «реализации западных идей на незападной почве» (26).

Тематизация советского массового сознания Западом была не только побочным и неизбежным результатом форсированной модернизации. Общество, формировавшееся на принципиально новых в человеческой истории основаниях, действительно нуждалось в антимодели, формирование новой цивилизационной идентичности должно было отталкиваться от негативного образца. Поэтому, оставаясь конституирующим Другим России, в советскую эпоху Запад стал ее тотальным Другим. Он составил неотъемлемую и важную часть ментальной карты советского человека, вошел, без преувеличения, в каждую советскую семью.

Историческая логика вестернизации советского общества была следующей. Сначала посредством государственной идеологической и культурной стратегии проблема Запада доводилась до ума каждого человека, Запад в некотором смысле составлял ядро советского идеологического дискурса. Достаточно вспомнить широкий спектр его образов и измерений в советскую эпоху: от Запада как кардинальной угрозы «первому в мире государству рабочих и крестьян» до Запада — источника передовой техники, главного

конкурента в борьбе за мировое индустриальное и технологическое превосходство, цивилизационное лидерство. При этом баланс позитивных и негативных модусов Запада носил динамичный характер, хотя чаша весов чаще склонялась (особенно в первую половину исторического времени, отпущенного советскому строю) в сторону преобладания официальных негативных оценок.

В фазой идеологической индоктринации массового русского населения Западом, формирования Запада как политической проблемы советского общества, приблизительно с 1960-х гг. последовала фаза его интериоризации — включение в более глубокие пласты психики, превращение Запада в советскую повседневность. Это было неизбежным следствием социокультурной трансформации советского общества в ходе модернизации — постепенного, но кардинального изменения ценностных ориентаций и культурных моделей населения. От мобилизации оно переходило к нормализации, где «норма» олицетворялась Западом. Его превращение в потребительский образец и модель повседневности советского общества было стимулировано сформулированной при Н.С. Хрущеве новой советской стратегией — догнать и перегнать Запад не только в области военной мощи и индустриального развития, но и на почве массового потребления.

С точки зрения психологии такой переход был неизбежен — ни одно общество не может длительное время находиться в состоянии напряжения. Однако перенос соревнования СССР и Запада с эмпирей идеологического и морального превосходства, социальной справедливости и высокой культуры на «низменную» почву объемов и качества потребления был заведомо проигранным для северной, огромной и материально небогатой страны. Идеи идеологического превосходства марксизма, социального первородства «первого в мире государства рабочих и крестьян», морального доминирования советского человека обладали в этой перспективе уменьшающейся компенсационной способностью.

В то же время силовые линии отечественного дискурса о Западе остались неизменными и в советскую эпоху. Отношение к нему по-прежнему носило амбивалентный характер: страх, боязнь и подозрение сочетались с уважением (статус Запада-как-конкурента подразумевал уважение, а не только страх), признанием превосходства, скрытым и явным восхищением. Хотя в отдельные

исторические периоды и моменты негативный модус *Запада как Другого* превалировал в советском восприятии этой односторонность не была константой советской эпохи.

Более того, государственная стратегия негативизации Запада при одновременном признании его первенства в части организации повседневности (ведь догонять и перегонять можно лишь находящегося впереди) чем дальше, тем очевиднее приводила к противоположным результатам. Включался механизм психологической инверсии и в массовом сознании, или, точнее, в подсознании советского человека знак Запада менялся с отрицательного на положительный. В изолированном и все более потребительски, посясторонне ориентированном советском обществе Запад оказался завораживающей утопией, воплощением подавлявшихся гедонистических устремлений, что так точно схвачено фразой одного из наиболее популярных литературных персонажей советского времени О. Бендера: «Заграница — это миф о загробной жизни».

Неизменным оставался и дуализм Запада. В официальной пропаганде «ложному» Западу «крупной монополистической буржуазии и реакционной военщины» противопоставлялся «подлинный» Запад: сначала «революционного пролетариата и коммунистических партий», затем — «прогрессивной общественности».

Зато сменилась страна, выступавшая в отечественном дискурсе о Западе его наиболее ярким воплощением и символом. С петровских реформ и вплоть до 1940-х гг. в этой роли для русских пребывала преимущественно Германия. Характерно, что в это же самое время немецкая культура жила дискуссией о принадлежности Германии миру Западной Европы — дискуссией, сродни отечественной дискуссии о европейской идентичности России. И германское историческое резюме вряд ли случайно предвосхитило русское: Германия была «другой» Европой — «подлинной» Европой «Севера», а не «ложной» Европой «разложившейся романской цивилизации». Отказ от идеи особой миссии Германии в Европе и мифа германского превосходства произошел после и вследствие II мировой войны.

В послевоенный период Германию как метафору Запада для советского общества закономерно сменили Соединенные Штаты, в тени которых оказалась Европа. США в подлинном смысле слова были лидером западного мира, самой богатой, индустриально

и технологически развитой страной мира, обладавшей колоссальной военной мощью и мессианской идеей. Последнее было очень важно для Советского Союза, в идеологии и политике которого традиционный мессианский аспект русской культуры достиг своего пика. Конкуренция СССР и США была, в том числе, столкновением провиденциальных миссий. Этот метафизический план не только не рационализировался, но подспудно хорошо ощущался.

Именно в советскую эпоху, как никогда прежде и позже в истории, мессианские притязания России были столь основательно подкреплены, близки к своей реализации и даже признаны Западом. Успех социалистической модернизации, тяжелая, но заслуженная победа в самой кровопролитной в истории войне, завораживающее строительство нового типа человеческого общества, триумфальный марш советской науки, техники и культуры, — ответ Советского Союза на вызов Запада казался столь успешным, всеобъемлющим и блестящим, что на какое-то время Запад отказался от собственных универсалистских претензий, презумпции мирового превосходства, признал равенство советской цивилизации, а порою даже был готов признать ее первенство. «Мы живем в переходный период, двигаясь в направлении социалистического способа производства», — утверждал в конце 1970-х гг. один из ведущих западных социологов И. Валлерстайн (27).

Признание СССР равноправным Западу современным обществом послужило отправной точкой последующего развертывания концепции «множественных современностей» — не только разнообразных, но и успешных в современности цивилизационных традиций (28). Традиционный западный взгляд на мир как оппозицию Запада и Востока, где Россия столь же традиционно интегрировалась в Восток, разворачивался в более сложную конфигурацию, где Советскому Союзу принадлежало место успешной и самостоятельной цивилизации — лидерской по отношению к Востоку, но не восточной по природе.

В советскую эпоху Россия как никогда приблизилась к принципу Западом ее природы близкой и даже родственной Западу, что отрицалось или, в самом благоприятном случае, ставилось под сомнение в досоветскую эпоху. Обратной стороной тенденции дифференциации Советского Союза от Востока стало приближение его к Западу. Ведь что, в конце концов, означала популярность (пусть исторически кратковременная) в западной социальной мысли

теории «конвергенции» социалистического СССР и капиталистического Запада как ни признание их общей цивилизационной основы?

Объединение, синтез или системный симбиоз СССР и Запада не могли основываться только на совпадении или близости таких, пусть даже очень важных, характеристик современности, как стабильность, легитимность власти, секуляризация публичной жизни, массовое образование, урбанизация и т. д. Преодоление еще более разительных качественных отличий (демократия против тоталитаризма, многопартийность против однопартийной системы, рынок против плановой экономики и т. д.) западной и советских версий современности теоретически было возможно лишь в контексте общей цивилизационной принадлежности. Ведь никто никогда не слышал и, можно ручаться, не услышит о конвергенции Китая — не важно, красного или некоммунистического — и Запада. А Советскому Союзу в подавляющем большинстве западных интеллектуальных перспектив отводилось место на Севере, но никак не Юге. По форме это было восстановление прежней биполярной оппозиции, хотя содержательно отличной от старой, откровенно вестерно-центрической версии мира, ведь «Север» включал не только Советский Союз, но еще и Японию.

В самой советской России взгляд на цивилизационную идентичность собственной страны был почти зеркальным отражением нового взгляда Запада на нее. Большевицкая революция и пафос строительства беспримерного общества, помноженные на традиционный русский мессианизм, породили гордое убеждение в цивилизационной самодостаточности и уникальности России. На смену размещению России на оси «Запад–Восток» с явным тяготением ее к Западу и признанием российской идентичности по существу европейской пришел треугольник с Россией как одной из его вершин. Можно сказать, что была «открыта» новая российская идентичность, обилие постреволюционных интеллектуальных интерпретаций которой, в общем, тяготело к двум основным парадигмам.

Обе они исходили из признания природы России качественно отличной как от Запада, так и Востока, хотя по-разному определяли специфику этой природы или акцентировали разные ее аспекты. Если схематизировать довольно сложную и динамичную интеллектуальную ситуацию, то в одном случае внимание фокусирова-



почти преимущественно на этнической и культурной истории как основном источнике особой российской идентичности. В другом направлении основное внимание уделялось социополитической стороне современности: большевистский эксперимент *per se* служил радикальным началом новой идентичности, история представляла интерес лишь в той мере, в какой она вела к новой социальной динамике. В лозунге «социализм в одной стране» ударение ставилось на слово «социализм». Первая парадигма восходила к евразийству, вторая — к официальному советскому марксизму.

Здесь напрашивается естественный вопрос: разве не было попыток совмещения, синтеза этих двух подходов, что представлялось бы естественным и потенциально плодотворным? Были, но как сугубо маргинальные и обреченные остаться маргинальными. И дело вовсе не в том, что жрецы советского *lingua sacra* не могли не относиться исключительно отрицательно к попыткам увязать советское социальное и идеологическое первородство с русским этническим своеобразием. Невозможно было совместить признание Октября и советского социализма моделью для всего человечества с выведением этой модели из русской специфики. Во многом уникальному советскому опыту неправомерно придавалось универсальное значение, его социополитические закономерности экстраполировались на окружающий мир.

Не менее важным было (и остается) массовое инстинктивное, подсознательное неприятие русским обществом евразийской интерпретации российской идентичности как уникального этнокультурного синтеза Европы (Запада) и Азии (Востока), имеющего основанием биологическую метисацию русского народа. Причем для спонтанной массовой реакции рациональные аргументы и научная сторона дела имели ничтожное значение. Несравненно более фундаментальным фактором оказался расовый инстинкт русских — понятие неполиткорректное и раздражающее слух интеллектуала, но неизбежное там, где речь идет о биологической стороне человеческой истории.

Разумеется, «кровь» нельзя отождествлять с «почвой» (культурой), хотя и в этой части отечественная история однозначно свидетельствует о явно преобладавшем влиянии русской культуры на иные культуры северной Евразии, а не наоборот. Впрочем, аргументы такого порядка имеют цену для интеллектуалов, в то время как подавляющим большинством русского общества евра-

зийский культурный и интеллектуальный конструкт отрицался повторю это еще раз — бессознательно и без рационализации. Инстинктивно, что называется, кожей, русские ощущали свое расовое и культурное родство с Западом, а не с Востоком или, тем более, с мифической Евразией — географической категорией, неправомерно и безосновательно экстраполированной на культуру и социальные отношения.

Ментальный и культурный дрейф русских в направлении Запада заметно стимулировался нараставшей разницей в демографических потенциалах внутреннего советского «Севера» и внутреннего «Юга», или, по-другому, т. н. «европейских» и «азиатских» народов СССР. Русские (более широко — восточные славяне) переживали с 1960-х гг. очевидный биологический упадок (произошло падение рождаемости ниже уровня воспроизводства населения), народы Северного Кавказа, Средней Азии и (в меньшей степени) Закавказья находились в фазе демографического подъема.

В данном случае важны не причины такого положения дел, чаще всего объясняемого влиянием модернизации и социально-политических катаклизмов первой половины XX в. на тип демографического воспроизводства, а его восприятие, переживание русскими как глубоко неблагоприятной, потенциально опасной и несправедливой ситуации. Несправедливой, потому что ее смутной первопричиной виделось дискриминационное положение русских и России в рамках советской системы.

С 1960-х годов начался отток русских из Средней Азии и Закавказья. Однако уйти с Востока можно было — фигурально и в прямом смысле — только на Запад. Вновь, как двести и сто лет тому назад «внутренний Восток» оказывался доказательством западной идентичности России. Но на этот раз он виделся не полигоном, где утверждалось превосходство русской цивилизаторской миссии, а вызовом русской идентичности и угрозой существованию русского народа.

Еще один фундаментальный фактор, объективно способствовавший развороту русского сознания советской эпохи в западном направлении, оказался парадоксально заложен в советскую идеологическую, пропагандистскую и культурную стратегию. Постоянное и всеохватывающее соотнесение советской модели с Западом как конституирующим Другим вело к его (Запада) интериоризации советским массовым сознанием. Не важно, был Запад хорош или

шок, представлял угрозу или образец подражания — в любом случае он составлял важный и неотъемлемый элемент ментальной карты советского человека.

Безусловно, «железный занавес» радикально ограничивал возможность знакомства советских людей с реальным Западом, а официальная коммунистическая пропаганда искажала его образ. Однако можем ли мы, положив руку на сердце, утверждать, что адекватное представление о природе, принципах и своеобразии функционирования западных обществ имелось даже у тех советских институций — МИД, международного отдела ЦК КПСС, академических институтов — для которых его понимание составляло смысл профессионального существования? Хотя интригующая история этой интеллектуальной проблемы еще не написана, с большой долей уверенности можно предположить, что при Советах реальное знание о Западе нередко подменялось наукообразными фантазмами и иллюзиями.

Но вряд ли стоит так уж винить в этом коммунистическую идеологию. Ведь концепции Запада, конструировавшиеся дореволюционной русской элитой, были, пусть на другой манер, не менее неадекватны, чем постреволюционные интеллектуальные продукты. А чудовищное фиаско колоссальной по масштабам и объемам фальсификации западной советологии, оказавшейся неспособной предвидеть и предсказать драматическую советскую перестройку и крушение СССР, наглядно свидетельствует об неадекватности интуитивного понимания природы советского общества. Советская история, что называется от обратного, демонстрирует: глубокое взаимное непонимание Запада и России невозможно объяснить одним лишь «темняющим» свойством идеологии, в его основе лежат факторы иного порядка.

## ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ, А ЧТО ОСТАЛОСЬ ПРЕЖНИМ В ПОСТСОВЕТСКУЮ ЭПОХУ

Научное изучение постсоветского массового восприятия Запада исключительно важно по своей возможности социологической верификации исследовательских гипотез, родившихся при анализе исторической ретроспективы.

Метафора «маятника» — наиболее популярное описание эволюции отношения постсоветского общественного мнения к Западу. Она подразумевает, что от одной крайней точки — неумеренных восторгов и надежд, связанных с приобщением к западному миру, русское сознание качнулось в прямо противоположном направлении. Вопрос: где остановился маятник? В противоположной крайней точке, которую зеркально можно описать как агрессивное отрицание и тотальную негативизацию Запада? Хотя подобные характеристики не столь уж редки (29), в целом среди экспертов преобладает несравненно более сдержанный и нюансированный взгляд на значение и тональность проблемы Запада в современном русском сознании (30). Вероятно, впервые в отечественной истории у русского общества сложилось довольно спокойное, рациональное, сбалансированное и (насколько это возможно) реалистичное восприятие Запада.

Этот взгляд основан на несравненно лучшем, чем прежде, знакомстве с Западом, хотя в сравнительной, в том числе в сравнительно-исторической перспективе масштабы этого знакомства не выглядят впечатляющими. В настоящее время за границу выезжают 5–6% граждан России, что существенно меньше совершающих подобных вояжи 54% французов или 75% шведов. Доля населения современной России, выезжающая за границу, близка к доле подданных Российской империи, имевших европейское образование (приблизительно 4,5%). В то же время почти 90% жителей современной России практически не бывают за пределами СНГ (31). Резко снизился интерес к международной жизни, культивировавшийся (пусть и в односторонней манере) в советскую эпоху: «от трети до половины взрослого населения страны не интересуется зарубежным миром и почти ничего не знает о нем» (32). Похоже, в смысле внешнеполитической грамотности (точнее, безграмотности) современные русские вряд ли так уж сильно отличаются от ставших притчей во языцех американцев.

В то же время ситуация со знанием (а не туристическим знакомством) Запада в чем-то выглядит лучше, чем в советское время, а в чем-то даже хуже. Для сотен тысяч русских предпринимателей и специалистов в разных областях практическое знание Запада составляет часть работы, а то и жизни, но это знание локально и ограничено профессиональной сферой. Государственные же инстанции испытывают острый дефицит специалистов, осведомлен-

ных, скажем, в работе западных бюрократических механизмов, например ЕС.

Не лучшим образом обстоит дело и с теоретическим осмыслением проблемы Запада, составляющей прерогативу российских интеллектуалов — как представителей вольных профессий, так и находящихся на государственной службе. «Сухой остаток» интенсивных дискуссий о западной политике в отношении России — дискуссий, имеющих имплицитной предпосылкой определенное видение природы Запада, ничтожен, а теоретическое представление о Западе вряд ли менее фантастично, чем прежде. Вот почти фотографический снимок интеллектуальной жизни современной России: «Политическим дискуссиям... была свойственна пустоportunная болтовня людей, которых никак нельзя было назвать “гражданами мира” Широта и масштабы их безмерных исторических обобщений обычно находились в обратной пропорции к их фактическим знаниям. Люди, имевшие ничтожные знания и опыт за пределами своей страны (а то и своего города), полагали совершенно естественным развивать самые изощренные теории о прошлом, настоящем и об исторических судьбах стран, где они никогда не бывали, и народов, о которых они в лучшем случае знали из чуждых рук» (33).

Хотя это сказано не о России начала XXI в., а о Германии 20-х гг. XX века, воинствующий дилетантизм и продуцирование фантазмов характерны для интеллектуальной атмосферы обеих поверженных империй, даже если их историческое фиаско разделено десятилетиями. Но разве не обесценивает эта характеристика авторское же утверждение о более реалистичном, чем прежде, восприятии Запада?

Нет, потому что, во-первых, российский взгляд на Запад стал реалистическим, *насколько это возможно*, а о границах этих возможностей будет сказано чуть дальше. Во-вторых, опыт последнего пятнадцатилетия не обнаруживает заметного влияния элитарного дискурса на массовые представления. Образы Запада привилегированной части общества и простого народа в высокой степени автономны и вряд ли интенсивно взаимовлияют. Во многом это связано с тем, что проблема Запада традиционно значит для российской элиты гораздо больше, чем для простого общества, поглощенного преимущественно внутренними проблемами. Вот характерный социологический факт: в 1998 г. лишь 4,4% респондентов

испытывали особое беспокойство в отношении НАТО, в то время как российская элита декларировала эту проблему как центральную в отношениях России с Западом. Правда, через год с небольшим, после начала западной агрессии против Югославии отношение общественного мнения к проблеме НАТО также интенсифицировалось (34).

Однако влияние таких крупных геополитических событий, как войны против Югославии и Ирака, террористическое нападение на США 11 сентября 2001 г. и т. д. на изменение образа Запада в русском сознании не имело самодовлеющего характера. Эти события лишь ускорили возвращение русского сознания к его константам. Так река после разлива возвращается в прежнее русло. И это русло, эти константы — общие для элитарного и массового сознания. Автономность элитарного и массового дискурсов, существование разных образов Запада для высших и низших групп отечественного общества не могут заслонить лежащих в их основе общих силовых линий, которые конфигурируют восприятие Запада русским сознанием (и подсознанием) на протяжении последних нескольких столетий. Какие же это силовые линии?

Прежде всего, амбивалентность отношения к Западу. Запад по-прежнему остается для русских образцом подражания, источником положительных влияний и заимствований, и, с некоторыми оговорками, моделью, нормой жизнеустройства — как личного, так и общественного. В то же время он вернул себе статус источника русских опасений.

Яркое воплощение этой амбивалентности — отношение к западным ценностям, культуре, социальным практикам. С одной стороны, они составляют, пусть в трансформированном виде, активный горизонт русского сознания. Наши соотечественники не только хотят жить как на Западе, в подавляющем большинстве они разделяют и принимают основные ценности и институты западного общества: демократию, верховенство закона, рыночную экономику, разделение властей, многопартийность, свободу слова и т. д. С другой стороны, в социокультурном, потребительском влиянии Запада усматривается капитальная угроза российской культурной и социальной самобытности. Но ведь точно такие же противоречивые чувства испытывались русскими в XVII–XVIII вв.! Нынешнее опасение «утраты Россией своей субъектности в международной политике и мировой экономике» (35) составляло одну из цен-

трильных тем российского элитарного дискурса второй половины XIX — начала XX вв. Традиционна и устойчивая ассоциация Запада с угрозой войны: на рубеже XX и XXI вв. это позабытое словосочетание закрепилось в первой тройке основных внешнеполитических угроз, как они видятся российскому массовому сознанию (36).

Так что же, чем больше меняется, тем больше остается прежним? Подобное предположение не было бы справедливым. Хотя амбивалентная ментальность восстановилась, интенсивность негативного модуса Запада значительно снизилась. Русские не испытывают к нему ненависти (в исторической ретроспективе это чувство в отношении Запада вообще не было им свойственно сколько-нибудь длительное время), а заметная настороженность не равносильна реанимации синдрома «осажденной крепости». В русской настороженности нет ничего патологического, это не иррациональная фобия, за ней стоят, с точки зрения русских, вполне основательные и убедительные мотивы.

Негативный модус современного Запада рационализируется массовым сознанием в духе этакой народной *Realpolitik* — восприятия и описания мира в категориях силы, выгоды, национального эгоизма. «Уже в 1995 г. лишь немногим более 7% населения продолжали считать, что западные страны искренне хотят помочь России, тогда как 44% согласились с мнением, что они решают у нас свои проблемы, а без малого треть опрошенных присоединилась к суждению, что их цель состоит в том, чтобы ослабить Россию и превратить ее в зависимое государство... к 2001 г. доля респондентов, возлагающих надежды на помощь Запада... сократилась до 4,6% при одновременном росте числа тех, кто подозревают его в самых дурных намерениях, до 37%». Похожую динамику зафиксировали опросы ВЦИОМ: если в 1994 г. 42% опрошенных согласились и 38% не согласились с мнением, что «Россия всегда вызывала у других государств враждебные чувства. Нам и сейчас никто не желает добра», то в 2000 г. согласие с этим тезисом выразили уже две трети респондентов (37).

Что и говорить, взгляд, «конечно, очень варварский», но такой ли уж неверный? Естественно предположить, что в отношении России — наследницы могущественного и наводившего страх Советского Союза — политика западных стран руководствовалась отнюдь не филантропическими и моральными соображениями. Если они хотели России и русским добра, то установленная при их

открытой или неявной поддержке политическая и экономическая система оказалась враждебной фундаментальным интересам подавляющего большинства населения России, не только не обеспечив развития, но и отбросив страну назад, втянув ее в воронку беспрецедентной демодернизации, социального регресса, антропологической деградации. Вне зависимости от чистоты субъективных намерений Запада, в глазах русских его политика объективно ассоциируется с трагическим разрушением их общенационального и частного бытия.

Точно так же агрессия против Югославии в 1999 г. не добавила русским веры в моральное достоинство и гуманизм Запада, возродила у них чувство опасности и ощущение собственной уязвимости. Эта война, а затем американская война в Ираке «совершенно развеяли широко распространенное со времен “перестройки” мнение, что “западный империализм” — это миф, изобретенный коммунистами в своих корыстных целях. Россияне увидели теперь нечто совсем иное: оказывается, Запад присвоил себе право “наказывать” и готов “продавливать” свою точку зрения, не считаясь ни с какими жертвами (разумеется, чужими). Силовые действия США и их союзников психологически проецировались россиянами на себя» (38).

Наконец, исследование И. Нойманна о формировании европейских идентичностей показывает: опасение русских, что Запад смотрит на них свысока, с позиции презумпции собственного превосходства над «восточными варварами» не столь уже безосновательно. Возможно, не столько российское, сколько западное общество испытывает глубокую спонтанно-подсознательную потребность в негативизации своего альтер эго, своего конституирующего Другого. «Отношение к Европе и европейцам в Российской Федерации гораздо лучше, чем отношение европейцев к России и россиянам. Например, в Германии понятие “Россия” вызвало положительный отклик лишь у 25% опрошиваемых, а отрицательный — у 60%, тогда как у россиян это соотношение по поводу понятия “Германия” оказалось почти зеркальным (62% позитивных ответов против 38% негативных)» (39).

Нельзя назвать иррациональными и страхи русских относительно сохранения своей идентичности. Это чувство широко распространено в современном глобализующемся мире, включая «старые» и преуспевшие европейские страны, что наглядно пока-



или референдумы 2005 г. по европейской Конституции во Франции и в Нидерландах. А во Франции, традиционно числящей себя культурным гегемоном Европы, идея поддержания французской идентичности (и противодействия культурной американизации) вообще составляет стержень государственной политики в области культуры.

В опасениях русских по поводу Запада нет ничего патологического, болезненного или чрезмерного, их реакции рациональны и умеренны. По большому счету, не имеет даже значения, насколько подлинны угрозы и опасения, воспринимаемые русскими как фундаментальные. Общественное сознание в таких случаях руководствуется правилом, известным в социологии как «теорема Томаса»: если люди определяют ситуации как действительные, то они действительны по своим последствиям.

Умеренность и рациональность негативного модуса русского восприятия Запада наглядно подтверждается прагматизмом предпочтительной модели поведения в отношении Запада. И до, и после югославской войны русские не видели альтернативы сотрудничеству с Западом, включая США. В марте 2003 г. три четверти опрошенных говорили, что, проявляя необходимую осторожность, России все же следует укреплять взаимовыгодные связи с западными странами (40). Рост недоверия к Западу не привел к переориентации на Восток, западная линия, безусловно, остается для русских главной.

Прагматизм проявляется и в отвержении подавляющим большинством отечественного общества самой возможности конфронтации с Западом. «Даже в разгар косовского кризиса (апрель 1999 г.) подавляющее большинство россиян (85%) не желали участия России в военном конфликте с НАТО на стороне Югославии. Тогда же большинство опрошенных выступали против присоединения Югославии к союзу России и Белоруссии... поскольку это присоединение вовлекло бы Россию в конфликт с НАТО». Несмотря на некоторые колебания, остается стабильно невысокой и доля русских (12–13%), обнаруживающих консолидирующий потенциал в идее противостояния Западу (41).

Итак, хотя такая константа русского геополитического кода как амбивалентность восприятия Запада полностью восстановилась, интенсивность негативного модуса Запада значительно снизилась. В целом отношение к нему в современной России стало гораздо более рациональным и прагматичным.

Как уже отмечалось, геополитические константы — едины для элиты и простого общества. Однако их содержание может варьироваться для разных социополитических и культурно-идеологических групп. В случае с амбивалентностью это различие особенно наглядно. Выше была описана массовая ментальность, в то время как амбивалентная ментальность элиты имеет другое наполнение. Хотя общая схема — Запад как соблазн и угроза одновременно — сохраняется, содержание соблазна и угрозы видится качественно иначе.

Главный приз в отношениях с Западом для элиты состоит не в достижении западного качества жизни (этот «план» уже давно перевыполнен) или, тем более, в реализации западных идеалов на отечественной почве, а в интеграции в глобальную элиту в качестве равноправного члена. Эту надежду питает контроль российской элиты над глобальными ресурсами современного мира — нефтью, газом, цветными и редкими металлами, ядерным оружием. В то время как главная угроза — ассоциируемое с Западом опасение утраты политической власти и, соответственно, экономических ресурсов. Этот страх заметно усилился после волны «цветных революций», прокатившихся в постсоветском пространстве. В этом смысле «контрреволюционная» истерия Кремля, прикрываемая лозунгами защиты национального суверенитета и политической стабильности, в действительности выражает групповые потаенные фобии и страхи.

Для отечественных нуворишей капитальная угроза Запада заключается в потенциальном правовом преследовании и конфискации выведенных из России активов. «Дела» П. Бородина и Е. Адамова, (свернутые) расследования отмывания российских денег через «Бэнк оф Нью-Йорк» и пропажи кредита МВФ 1998 г. России, принуждение к допросу А. Вавилова, а также множество других, менее известных эпизодов, свидетельствуют о том, что подобная перспектива не иллюзорна. Российская элита, вне зависимости от ее отношений с Кремлем, поставлена Западом перед стратегической дилеммой: поддерживать любую российскую власть, обеспечивающую государственное «крышевание» отечественной буржуазии на международной арене, или попытаться обменять российскую идентичность на интеграцию в глобальное сообщество (как минимум — на неприкосновенность капиталов).

Разумеется, это не более чем схематичный набросок, призванный продемонстрировать то, как общая для России форма амбивалентной ментальности наполняется различным содержанием. Однако расхождение между элитой и отечественным обществом не сводится лишь к этому пункту, они разделены не только в социоэкономическом и социокультурном, но также в антропологическом и экзистенциальном отношениях. Этот разрыв настолько всеобъемлющ, а отечественная элита столь глубоко вовлечена в Запад, что можно смело говорить о реанимации еще одной русской константы — «внутреннего Запада». Как и столетие тому назад Россия снова оказывается миром миров, страной, где сосуществуют и противостоят друг другу преуспевающая вестернизированная элита и пораженное в основных человеческих правах автохтонное большинство.

В полной мере сохранила свое значение для русского сознания и константа дуализма Запада, хотя само содержание этого дуализма изменилось. На этот раз водораздел проходит по оси «опасность—безопасность». «Проявляется различное отношение значительного числа россиян, с одной стороны, к странам Западной Европы, которые, как правило, не воспринимаются в качестве военно-политической угрозы и, с другой стороны, к США, которые традиционно ассоциируются с такой угрозой. Образ Запада в миссовом сознании россиян в данном случае как бы раздваивается, разделяется на образ Западной Европы и образ США, которые оцениваются и воспринимаются по-разному» (42). Данное наблюдение относится к 2001 г. После нападения США на Ирак, против чего выступали поддержанные Россией Франция и Германия, дуализм Запада в русском восприятии лишь усилился. Причем блок НАТО дифференцируется от Европы и ассоциируется преимущественно с США.

Предпочтение Европы подкрепляется также ее статусом главным торгово-экономическим партнером России и преобладанием человеческих контактов именно с этой частью Запада, а не с США (43).

В ретроспективе последних 10 лет доля положительных оценок США у российских респондентов неуклонно уменьшалась при не менее неуклонном росте отрицательных оценок: в 2003 г. число положительных оценок более чем в два раза превышало число отрицательных (55,7% против 24%). В то время как соотношение положительных и отрицательных оценок Франции и Германии

оставалось относительно устойчивым при очевидном преобладании положительных. Однако негативизация облика США не спровоцировала драматического роста русской враждебности в отношении этой страны и даже отрицательной оценки перспектив российско-американских отношений. Опасаясь усиления военно-политического влияния США в мире, наши соотечественники не были склонны считать значимой угрозу ухудшения отношений между двумя странами; относительно больше их беспокоила возможность падения курса доллара! (44)

В целом русский антиамериканизм носит политически умеренный, пассивный и почти исключительно вербальный характер, не только не доходя до таких наиболее радикальных проявлений, как террористическая борьба, но не поднимаясь даже на уровень массовых публичных акций антиглобалистского толка. В интеллектуально-идеологическом и организационно-политическом плане современный русский антиамериканизм ничем не обогатил мировой антиамериканизм, наоборот, он питается импортированными идеями и концепциями, активно использует интеллектуальную аргументацию, рожденную в самих США (45). По части отношения к Соединенным Штатам современные русские демонстрируют образцы умеренности и реализма, тем более ошеломляющие ввиду еще свежей в памяти недавней тотальной конкуренции двух мессианских сверхдержав.

В контексте дуалистичного Запада русские в целом тяготеют к европейской континентальной (условно — социал-демократической) модели организации социально-экономической жизни, имплицитно или явно противопоставленной англосаксонской либеральной модели. Однако ассоциация с Европой далеко не полная, потому что в части восприятия пространства, по некоторым важным ценностным ориентациям и культурным моделям русским гораздо ближе американцы, чем европейцы. Тем не менее, этот разброс остается в рамках западного вектора.

В связи с чем встает магистральный вопрос цивилизационного самоопределения России: считать ли ее частью Запада или же особой цивилизацией? На первый взгляд, эта фундаментальная дилемма решается отечественным массовым сознанием в пользу русской особенности. По опросам различных социологических центров с конца 1990-х гг. около трех четвертей населения России устойчиво поддерживали тезис: «Россия — особая цивилизация,

и западный образ жизни в ней никогда не привьется». В то же время доля наших соотечественников, считающих, что Россия должна жить по правилам, принятым в современных западных странах, составляла около  $1/5$ . Если к этому добавить, что с началом нового века в общественном мнении возобладала идея «особого пути» России, картина, кажется, приобретает завершенный характер (46). Однако, как говорится в скабрезных сценах американских комедийных фильмов: «Это не то, что вам кажется».

В действительности мы имеем дело с устойчивым, воспроизводимым на каждом новом крупном историческом этапе развития страны парадоксалистским определением русской цивилизационной идентичности: *особая* идентичность в максимально широком *западном контексте* или, формулируя короче, Россия как *другой* запад. Эта точка зрения преобладала на всем протяжении дореволюционной эпохи. Не смогла подавить прозападного вектора массового сознания и небезосновательная претензия особой цивилизационной идентичности Советского Союза, более того, советская культурно-идеологическая стратегия парадоксально его усилила. Наконец, в постсоветскую эпоху внешне произошло возвращение к дореволюционной формуле российской идентичности, которая, по причине освобождения России от «внутреннего Востока» имперского наследия — Закавказья и Средней Азии, выглядит сейчас даже более убедительно, чем в XIX в.

Парадоксалистская формула российской цивилизационной идентичности имеет и убедительное социологическое подтверждение. «Практически  $2/3$  россиян считают Россию естественной частью Европы и полагают, что в дальнейшем она будет теснее всего связана именно с этим регионом мира, тогда как число активно проповедуемого сегодня (опрос проводился в марте 2000 г. — В.С.) евразийства составило не более  $1/3$ . Уровень значимости для россиян азиатских стран в целом сравнительно невелик. Само слово “Европа” в ассоциативных рядах массового сознания россиян окрашено значительно позитивнее, чем “Азия”...». К этому стоит добавить зафиксированную всеми социологическими службами преобладающую ориентацию русских не только на западные потребительские образцы, но и на западные модели общественного устройства.

Расшифровка концепта «евразийства» показывает, что отечественное массовое сознание вкладывает в него совсем не тот

смысл, что идеологи и теоретики этого маргинального интеллектуально-идеологического течения. Для русских «евразийство» не особая цивилизационная идентичность, а, прежде всего, недоста точно цивилизованный, *недоевропейский* (и именно в этом смысле азиатский!) характер отечественной экономики, а также некоторые особенности русского национального характера. В том, что касается культуры, которой во всех известных определениях цивилизаций отводится ключевая роль, подавляющее большинство русских придерживается мнения о европейской природе отечественной культуры.

В той степени, в какой социология фиксирует «евразийскую» тенденцию массового сознания, она оказывается по преимуществу (если не исключительно) рационализацией ощущения, что русские все-таки не вполне европейцы. Но при этом они чувствуют себя несравненно ближе к Западу, чем к Востоку, и материальные факторы в этом выборе не имеют значения. Ни одна из стран Азии, включая сверхразвитую Японию, не рассматривается русскими как желательное место эмиграции (47).

На исходе XX в. Восток перестал играть ту двойственную роль, которую он имел для русской цивилизационной идентичности вплоть до 1990-х гг. С одной стороны, наличие обширного «внутреннего Востока» в составе континентальной империи порождало естественные предположения о ее незападной или, как минимум, дуалистичной (западно-восточной) природе. С другой стороны, «цивилизаторская миссия» на Востоке служила ключевым аргументом в пользу западной идентичности России. Она несла Востоку плоды западного «просвещения», точно так же, как до этого защищала Запад от натиска восточных «варваров».

«Внутренний Восток» исчез с необычайной легкостью и быстротой, подтверждая, что русские уже давно тяготились этой ношей. И хотя те из них, кто был брошен в Закавказье и Средней Азии, не могли разделить это чувство облегчения, показательно, что даже самые радикальные планы постсоветской интеграции не включают в нее Среднюю Азию.

В исторический архив была сдана советская идея лидерства в отношении бывшего колониального Востока. Попытки ее реанимации в некоторых неоевразийских концепциях лидерства (или солидерства) России в мире Юга в его противостоянии Северу не находят позитивного отклика в массовом сознании.

Современные русские ангажированы Востоком — эмоционально-аффективно и интеллектуально — несравненно меньше, чем Западом. Если отношение к Западу вообще и отдельным западным странам, в частности, подвержено переменам и колебаниям, то отношение к Востоку — несравненно более стабильное и спокойное, неинтенсивное, эмоционально и интеллектуально не насыщенное.

Однако в последние несколько лет наметилась тенденция восприятия Востока в «активную» часть русской ментальной карты. Хотя его восприятие в целом остается позитивным, с начала XXI в. постоянно увеличивалось число русских, отрицательно относящихся к Китаю: если в 2001 г. 38,8% респондентов относились к нему положительно, а 20,8% отрицательно, то в 2003 г. это соотношение составило 36,8% против 32,2% (48). Восхищение экономическим рывком «желтого гиганта» начало сменяться опасениями насчет потенциальной угрозы с его стороны российским восточным территориям.

В широком историко-культурном контексте эта тенденция служит предзнаменованием фундаментального сдвига в отечественном геополитическом коде. Мы находимся накануне смены русского конституирующего Другого — на смену Западу в этом качестве идет Восток, что исторически не ново для России.

Как соотносятся прозападная ориентация русского общества и концепт «особого русского пути», который, по мнению ряда авторов, бессодержателен, мифологичен, компенсирует русский комплекс неполноценности в отношении Запада, служит индикатором нарастающего ухода от западного вектора? Идея «особого пути» не противоречит западническому выбору: даже «среди склонных ориентироваться на западные модели развития преобладающая часть опрошенных высказывается за самобытный, особый путь достижения процветания» (49).

Как доказательно показано в отличной статье В.В. Лапкина и В.И. Пантина, «особый путь» — облаченная в мифологические одежды рационализация ситуации стратегического выбора, поиск российским обществом альтернативы «навязанной вестернизации» (либеральным реформам 1990-х гг.) и скомпрометированной советской модели. В содержательном плане речь идет не более чем об учете отечественной исторической и культурной специфики в движении к западным целям — жизненным стандартам, ценно-

стям, институтам и нормам. Они понимаются как универсальные, отказ от них характерен для явного меньшинства отечественного общества (50). Такое понимание «особого пути» есть универсалии современного мира, в нем нет ничего оригинального и мистического.

Кардинальное отличие переживаемой нами культурно-идеологической ситуации от предшествующих исторических эпох составляет блистательное отсутствие традиционно влиятельного мессианского пафоса. Русское общество, добровольно обменяло презумпцию идеологического превосходства марксизма и социального первородства «первого в мире государства рабочих и крестьян» на признание Запада нормой и образцом современности. Оно не лелеет более надежду преподать Западу урок духовного обновления или придать универсальный статус национальному опыту. В социологическом рейтинге потенциально консолидирующих, «больших» идей отечественного общества идея русского мессианизма устойчиво плетется в конце списка (8% поддержки в 2001 г.) (51).

Русский мессианизм, последние пятьсот лет составлявший красную нить отечественной истории, потерял свое актуальное значение. В современном массовом сознании он ассоциируется с прошлым, но ни в одной из своих исторических модификаций (православной, советской и т. д.) не обладает мобилизационным свойством. И это — один из наиболее глубоких и фундаментальных сдвигов российской культуры и отечественного сознания.

Что означает для русского восприятия внешнего мира развал мощного компенсаторного механизма в виде мессианизма? С одной стороны, формируется несравненно больший реализм оценок. Мировое лидерство Запада предстало во всей очевидности, которую невозможно закамуфлировать идеологическими ухищрениями, иллюзиями культурной самобытности и морального превосходства. На фоне уходящего с активного горизонта в область национальной исторической памяти русского мессианизма более рельефно проступает актуальное значение формирующего глобальную политику американского мессианизма. Русский мессианизм умирает, в то время как американский находится на подъеме.

С другой стороны, кризис традиционного механизма психологической самозащиты породил спектр разнообразных и (нередко) саморазрушительных интеллектуальных и психоэмоциональных



реакций — от фрустрации до параноидальной конспирологии. Но это удел меньшинства, в то время как подавляющему большинству русских характерно как раз отсутствие сильных, гиперболизированных эмоциональных реакций в отношении Запада. Страх сменялся опасением, зависть и восхищение — интересом и критическим восприятием, ненависть и презрение — иронией. Обратной стороной лучшего знания Запада стало лучшее знание русскими самих себя. На смену интенсивному, но исторически кратковременному культурному шоку пришло критическое и трезвое сравнение Империи и России, западных и национальных черт, результатов и убеждений, что русские не только ничем не уступают жителям Империи, но зачастую превосходят их, в том числе по профессиональным и деловым качествам. И это знание, а также потребность в психологической самозащите вызвали иронию в адрес Запада, в чем, можно усмотреть проявление комплекса превосходства, но не традиционное русское мессианство.

Но какая показательная эволюция: от гордой убежденности великороссов в собственном великом призвании, духовном и моральном превосходстве над миром Запада до иронии — злобной или беззлобной, но всегда бессильной — в адрес этого мира! Хотя исторические константы, силовые линии русского восприятия внешнего мира в полной мере сохранились (за исключением атрофировавшегося мессианизма), изменились модусы этого восприятия: оно потеряло свою психоэмоциональную и интеллектуальную накаленность и насыщенность.

Русский взгляд на мир изменился — окончательно и бесповоротно. Изменился и взгляд Запада на Россию: в его перспективе Россия не столько приближается к Западу, сколько удаляется от него. Звучит парадоксально, но это так. Советская военная и промышленная мощь вызывала не только страх, но и уважение, советские наука и техника были одними из лучших в мире, коммунистические социальные и политические практики, советский опыт привлекали неизменный интерес. Эти атрибуты ценимой Западом силы отсутствуют у современной России, которая по своим основным качествам противоположна как Советскому Союзу, так и Западу. Роскошь немногих при нищете подавляющего большинства, экономика полукOLONиального типа и колониальная война на Кавказе, одичание нравов и варваризация социальной жизни, культурная и антропологическая деградация, свертывание политической демокра-

тии — таков преобладающий в западных СМИ образ современной России. Разве это не хрестоматийный портрет отсталого Востока антитезы прогрессивного Запада? Те особенности, которые не вписываются в этот классический образ — агрессивность и успешный экспансионизм отечественных предпринимателей, высокие профессиональные качества русских специалистов, остаточный высокий уровень образования и культуры, инерция советской ядерной мощи — придают ориентализирующей России пугающие черты.

В западном геополитическом коде Россия вновь возвращается на свое традиционное место — страны на Востоке и части Востока, несущей потенциальную угрозу Западу. Это такое же константное восприятие Запада Россией, как и константы русского восприятия Запада. И «выломаться» из этих констант, изменить западный взгляд на Россию удалось только Советскому Союзу.

## О ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ НАУЧНОГО АНАЛИЗА

Сверхзадачей этой главы может показаться последовательное проведение мысли, что история отношений России и Запада суть история глубокого трагического недоразумения. Русские были склонны считать себя и свою страну частью Запада, а им в этом отказывалось — по причине взаимного непонимания и потому, что русские не прилагали достаточно усилий (или им мешали обстоятельства), дабы встать на рельсы западного развития.

На мой взгляд, поистине историческое заблуждение представляет настойчивое русское стремление рассматривать отечественное общество в западной перспективе — как родственное Западу и стремящееся реализовать западные модели. Этот взгляд, за которым стоит длительная и мощная культурная традиция и вердикт массового мнения, питается расовым и религиозным родством русских и Запада (европеоиды и христиане), интенсивным и масштабным влиянием (значительно более интенсивным и масштабным, чем любые другие внешние влияния) Запада на русскую историю и все сферы отечественной жизни.

Однако, несмотря на сходства, параллели и сближения русская история кардинально отлична от истории Запада и Востока,

что очевидно каждому, кто пытался ее непредвзято изучать. Понимание истории как способа реализации во времени и пространстве национального духа, актуализации потенций творца истории — народа, с неизбежностью приводит к заключению, что Россия не принадлежит ни миру Запада, ни миру Востока, составляя отдельную цивилизационную сущность. Глубоко ошибочно понимать природу этой цивилизации как синтез Запада и Востока, искать первопричину русского своеобразия в византийском православии, природно-климатических условиях России и т. д.

Осознание и принятие позиции незападной природы России (что не отменяет важности ее связей с Западом) имело бы многочисленные важные и полезные следствия для самих русских и окружающего их мира. Однако вопросы цивилизационной идентичности не решаются экспертными оценками, академическими речью и политическими декларациями.

Русским предстоит еще какое-то время жить в состоянии фундаментального противоречия: считая себя частью Запада, наталкиваясь на нарастающее нежелание Запада признать это, кажущееся нам самоочевидным, обстоятельство. И дело не в пресловутом «ценностном разрыве» и незападном характере современных общественных социополитических и экономических практик. Даже если они изменятся в западном направлении, Россия все равно останется для Запада тревожным и пугающим Другим. Причина этого не в «генетическом» антизападничестве русских или происках инстинктивных русофобов, а в инстинктивном мощном человеческом устремлении выделить и отграничить собственное сообщество. Для осознания себя, собственной целостности и цивилизационной идентичности Европа, нуждается в Другом, желательно, имеющем негативный модус. Признание европейской вины за колониализм, значительный рост численности выходцев бывших колоний в Европе при явном демографическом упадке европейских народов, рост напряженности в «мультикультурных» западных сообществах требуют психологической компенсации. Потаенные страхи и ужасы европейцев проецируются на Россию, с помощью которой они обосновываются от своих коллективных исторических травм и современных неврозов.

Старые ментальные барьеры и новые предрассудки не могут исчезнуть и разрушиться лишь потому, что изменится Россия — Другой Запада. В гораздо большей степени их искоренение требуют

работы по изменению Мы европейцев, открытию ими своего сознания, формированию готовности сделать чужого своим. Но готовы ли к этому Запад? Нужна ли ему Россия как часть себя?

Ирония истории в том, что, вне зависимости от того, когда и как Запад ответит на эти вопросы (если ответит на них вообще), они, чем дальше, тем заметнее теряют важность для России. Хотя и в культурном смысле, как образец потребительских моделей и жизненных стилей Запад, безусловно, останется для России вне конкуренции, мы переживаем тот переломный исторический момент, когда в перспективе нескольких десятилетий главный экономический, военный, территориальный и демографический (что качественно ново для русской истории) вызов России будет исходить с Востока. Не вдаваясь в развернутое обоснование этого утверждения (52), отмечу, что Восток уже был нашим конституирующим Другим. Вероятно, нам предстоит очередной разворот вектора отечественной истории, что будет иметь поистине тектонические последствия для России, но не только для нее. Если у истории есть провиденциальный смысл, то в этом случае он становится видимым: солнце рождается на Востоке, на Западе оно умирает.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. В отчетливом и завершенном виде эта точка зрения представлена в: *Нарочницкая Н.* Россия и русские в мировой политике. — М., 2002.
2. *Tolz Vera.* Op. cit. P.70, 72.
3. Об этой дифференциации см.: *Колосов Владимир.* «Низкая» и «высокая» геополитика: образы зарубежных стран в представлениях российских граждан // *Отечественные записки.* 2002. №3. С.36.
4. О геополитических кодах см.: *Колосов Владимир.* Указ. соч. С.34–35; *Туровский Ростислав.* Политическая география: Учебное пособие. — М.—Смоленск, 1999. С.65–70.
5. Эта важная мысль Л. Живковича цитируется по: *Элез А. Й.* Критика этнологии. — М., 2001. С.175.
6. Подробнее об этом см.: *Соловей Валерий.* По ту сторону Урала. Там лежит будущее и надежда России // *Политический класс.* 2005. №6.
7. См., например: *Дубин Борис.* «Противовес»: символика Запада в России последних лет // *Pro et Contra.* 2004. Т.8. №3. С.23–24.
8. *Бенхабиб Сейла.* Указ. соч. С.9–10.
9. *Хоскинг Дж.* Указ. соч. С.284, 288.

10. Хоскинг Дж. Указ. соч. С.289.
11. Дилигенский Г.Г. Хочет ли Россия дружить с Западом? //Запад и западные ценности в российском общественном сознании. (Сборник статей) /Пантин В.И. (отв. ред.). — М. 2002. С.87–88.
12. Уткин А.И. Запад и Россия: история цивилизаций. — М., 2000. С.97, 142.
13. См.. Нойманн И. Использование «Другого»: образы Востока в формировании европейских идентичностей. — М., 2004.
14. См.. Шоню Пьер. Цивилизация классической Европы. — Екатеринбург, 2005.
15. Уткин А.И. Указ. соч. С.103, 112.
16. Там же. С.49.
17. Там же. С.59.
18. Беккер Сеймур. Россия между Востоком и Западом: интеллигенция, национальное русское самосознание и азиатские окраины //Ab Imperio. 2002. №1. С.444.
19. См.: Greenfeld L. Nationalism: Five Roads to Modernity. — Cambridge (Mass.), 1992. В настоящее время, кажется, имеется русское издание этой книги.
20. Коротеева В.В. Теории национализма в зарубежных социальных науках. — М., 1999. С.97–98.
21. О дрейфе русского «внутреннего Востока» см.. Tolz Vera. Op. cit. P.134,137–139.
22. Беккер Сеймур. Указ. соч. С.464.
23. См.. Tolz Vera. Op. cit. P.140–141.
24. Беккер Сеймур. Указ. соч. С.464.
25. Tolz Vera. Op. cit. P.98.
26. Уткин А.И. Указ. соч. С.284, 285.
27. Цит. по: Уткин А.И. Указ. соч. С.391.
28. Капустин Б.Г. Конец «транзитологии»? О теоретическом осмыслении первого посткоммунистического десятилетия //Полис. 2001. №4. С.11.
29. См., например: Дубин Борис. Указ. соч.; Образ врага: сб. статей /Сост. Л. Гудков. — М., 2005.
30. См., например, концептуально близкие интерпретации данных различных социологических центров: Россия на рубеже веков /М.К. Горшков (отв. ред.). — М., 2000; 10 лет российских реформ глазами россиян: Аналитический доклад /Институт комплексных социальных исследований РАН; Российский независимый институт социальных и национальных проблем. — М., 2002; Запад и западные ценности в российском общественном сознании: (Сб. статей) /Пантин В.И. (отв. ред.). — М., 2002; Колосов Владимир. Указ. соч.; Мир глазами россиян: мифы и внешняя политика (общественное мнение и внешняя политика) /Под ред. В. Колосова. — М., 2002; Динамика массового сознания россиян в условиях трансформации: Россия накануне выборов: Информационно-аналитический доклад / ИКСИ РАН. — М., 2003 и др.
31. См.. Россия на рубеже веков. С.407; Колосов Владимир. Указ. соч. С.34–35.
32. Колосов Владимир. Указ. соч. С.40.
33. Лакер Уолтер. Указ. соч. С.196.
34. 10 лет российских реформ глазами россиян. С.105.
35. Лапкин В.В., Пантин В.И. Образы Запада в сознании постсоветского человека //Запад и западные ценности в российском общественном сознании. С.51.
36. См.: 10 лет российских реформ глазами россиян. С.105–106; Динамика массового сознания россиян в условиях трансформации. С.13.
37. См. соответственно: 10 лет российских реформ глазами россиян. С.103; Дубин Борис. Указ. соч. С.27.

38. 10 лет российских реформ глазами россиян. С.104.
39. Россия на рубеже веков. С.408. Опрос проводился в марте 2000 г.
40. *Дубин Борис*. Указ. соч. С.29.
41. См.: *Лапкин В.В., Пантин В.И.* Указ. соч. С.39; 10 лет российских реформ глазами россиян. С.107.
42. *Лапкин В.В., Пантин В.И.* Указ. соч. С.38.
43. Подробнее об этом см.: *Иноземцев Владислав*. Россия и Европа: парадоксы взаимного непонимания (статья первая) // *Политический класс*. 2005. №2.
44. См.: Динамика массового сознания россиян в условиях трансформации. С.13-14 (таблица 6).
45. Свод этой аргументации приведен и проанализирован в фундаментальной работе: *Холландер П.* Антиамериканизм рациональный и иррациональный. — СПб., 2000
46. См.: *Дубин Борис*. Указ. соч. С.27, 29; 10 лет российских реформ глазами россиян. С.103.
47. Россия на рубеже веков. С.406, 228–230.
48. Динамика массового сознания россиян в условиях трансформации. С.14 (таблица 6).
49. *Лапкин В.В., Пантин В.И.* Указ. соч. С.44.
50. Подробнее о том, как массовое сознание воспринимает концепт «особого пути» см. в специальном разделе упоминавшейся статьи В.В. Лапкина, В.И. Пантина.
51. 10 лет российских реформ глазами россиян. С.59.
52. Об этом подробнее см.. *Соловей Валерий*. По ту сторону Урала.

---

---

## Глава 7

# МИФ «ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАЦИИ» И ПРОВАЛИВШЕЕСЯ ГОСУДАРСТВО

Существует ли российская «политическая нация»? Это вопрос не только академического интереса, но и огромного политического значения. В сущности, это вопрос о том, состоялась ли современная Россия как национальное государство (или нация-государство, что, возможно, более адекватный вариант перевода термина *nation-state*). Несмотря на уменьшение роли национального государства в эпоху глобализации, оно остается одним из главных субъектов современности, политико-правовой рамкой экономической, социальной и культурной жизни; образование собственного государства составляет конечную цель любых национальных движений.

Для насчитывающей всего полтора десятка лет посткоммунистической России государственное строительство составляет альфу и омегу ее бытия. Поэтому в анализе постсоветской динамики наибольшую важность приобретает не оценка зрелости отечественной демократии и уровня развития рыночных отношений, а проблема укорененности нового государства в массовом сознании, его низовая легитимация.

Государственные институты и коммуникации, атрибуты и символы наполняются жизнью, облекаются в плоть мыслями, чаяниями, представлениями и действиями людей. «Только широко разделяемые ценности, символы и принимаемый общественный порядок могут обеспечить низовую (базовую) легитимацию и делают государство жизнеспособным». Без устойчивого образа государства и массовой лояльности по отношению к нему (другое название чего — государственная идентичность) его институты, административные

структуры и прочее остаются не более чем пустышками, постмодернистскими симулякрами. Формирование государства происходит одновременно и взаимоувязанно в двух сферах — внешней институционально-административной и внутренней — в сознании людей. И если дух слаб, плоть зачахнет. Так гибель внешне могущественного советского государства была в решающей мере обусловлена атрофией советской идентичности. Идентичность имеет не меньшее, если не большее значение, чем международное признание, новые институты и символика. «Верхушечные договоренности, декларации властей и даже международное признание не являются достаточными для создания согражданства, т. е. государства-нации» (1).

Для дальнейшего изложения важно понять следующее. Идентичность составляет внутреннюю сторону и глубинное основание любого государства — не важно, имперского или национального, советского или американского. Однако сведение современной государственной идентичности только к так называемой «политической нации» («согражданству»), что характерно для официального российского дискурса, задает откровенно телеологическую (а потому заведомо сомнительную) перспективу государственного строительства. О причинах подобного положения дел еще будет сказано дальше, а сейчас обратимся к оценкам этой политики, которая на государственном уровне считается безальтернативной.

Оценки степени сформированности «русской нации» серьезно варьируются. Если для одних политиков этот процесс только разворачивается, то президент В.В. Путин уже рискнул подвести его итоги. «Полагаю, что сегодня мы имеем все основания говорить о русском народе как о единой нации... Представители самых разных этносов и религий в России ощущают себя единым народом», — так он заявил на совещании в Чебоксарах 5 февраля 2004 г.

К счастью, давно кануло в Лету время, когда высказывания первого лица государства служили окончательным вердиктом и для ученых. Хотя некоторые из них, похоже, предпочли бы его вернуть. Когда академический этнолог В.А. Тишков, солидаризуясь с президентом России пишет, что «русская нация — безусловно состоявшийся проект», невольно ожидаешь от него научных доказательств этого важного утверждения, а не комментария к выступлениям Путина. Мало того, что такие доказательства не



приведены. Тишков ничтоже сумняшеся заявляет, что думать иначе могут лишь «противники Путина и российской власти или же откровенные националисты» (2). К смутным угрозам и намекам политического свойства отечественные интеллектуалы обычно прибегают в силу внутреннего ощущения собственной неправоты.

## ИТОГИ СТРОИТЕЛЬСТВА «РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАЦИИ»

В российской реальности можно обнаружить следы «политической нации», но нет оснований для вывода, что она уже сформирована, что «российский народ» — состоявшийся проект. Более того, перспектива этого предприятия выглядит откровенно мизеральной.

В виде проекта (то есть относительно последовательной, целостной, и развернутой государственной программы) задача строительства «российской нации» была оформлена только в середине 1990-х гг. До этого она существовала почти исключительно на уровне политических деклараций, чему были серьезные причины.

Во-первых, в ориентировавшихся на западные политические и культурные образцы отечественных элитных кругах отсутствовало (или было слабо выражено) понимание критической важности связи между строительством демократического общества, политико-социальной модернизацией и формированием гомогенной культурно-политической общности, с одной стороны, и гражданским национализмом, с другой. В России рубежа 80–90-х гг. прошлого века демократия и национализм понимались как антагонисты. Либеральное движение избегало всего, что ассоциировалось с национальным аспектом демократии, включая даже такие термины, как «гражданский национализм», «национальные ценности» и «национальные интересы». Существовал параноидальный страх, что их использование легитимирует русский национализм и вообще русскую этничность, рассматривавшуюся с презумпции ее неполноценности.

Во-вторых, вплоть до конца 1993 г. Россия находилась в революционной фазе постсоветской истории, когда решению ключевого вопроса о власти подчинялись все другие проблемы вне зависимости от степени их важности.

Переход в стабилизационную фазу развития резко актуализировал отложенную задачу формирования полноценной национальной государственности и, соответственно, новой государственно-гражданской идентичности взамен советско-имперской. Тем более что успех ЛДПР В.В. Жириновского на парламентских выборах 1993 г. показал опасность игнорирования русской этничности, спонтанное развитие которой могло принять экстремальный характер. Смена политических приоритетов, переход от революционно-разрушительной к стабилизационной и позитивной повестке неизбежностью требовали обновления и расширения идеологической рамки.

На рубеже 1993–1994 гг. в недрах власти был сформирован новый идеологический пакет, который наряду с доминирующей идеей либерального реформизма включал патриотическую и державную фразеологию, интеграционные мотивы и концепцию российской политической нации («россияне»). Концепт нации-согражданства был заложен в новую Конституцию и провозглашен основой для решения национальных проблем в России, о чем президент Б.Н. Ельцин заявил в своем первом послании к Федеральному Собранию (1994 г.), носившем знаковое название «Об укреплении Российского государства». Таким образом предполагалось достичь консолидации общества и его политической гомогенности, заложить фундамент национального государства и обеспечить власть новой легитимацией.

В рамках стратегии формирования новой идентичности была упразднена предполагавшая генетическое происхождение этничности графа «национальность» в российском паспорте. Идея нации-согражданства и термин «россиянин» активно, хотя не всегда последовательно, продвигались в политический дискурс. Слово «россиянин» не только стало символом отечественной политкорректности, но и прочно закрепилось в массовом сознании. В списке из 38 новых политических терминов оно заняло первое место по позитивности восприятия (положительно к нему относились  $\frac{2}{3}$  населения, отрицательно — всего лишь 5,5%) и оказалось одним из самых общеизвестных (лишь 1% респондентов не знал такого слова) (3).

Но означает ли это, что в России сформировалась политическая нация «россиян»? В конце 90-х гг. XX в. чувство общности «со всеми россиянами» выражали 27,8% русских (4), что вряд ли

позволяет считать «российский народ» состоявшимся проектом. Успех формирования «российской политической нации» нередко измеряется ростом числа респондентов, назвавших себя «гражданами России». Однако, как следует из контекста ответов, это *территориально-страновая* идентификация, а не идентификация с *политическим сообществом* «россиян». Признать, что ты живешь в этой стране, на этой земле, — а именно такое содержание респонденты вкладывают в понятие «гражданин России», — вовсе не значит разделять общие политические ценности и политическую мифологию, что составляет содержание понятия «политическая нация». Подобное отождествление — следствие добросовестного заблуждения или откровенное лукавство.

Но даже четверть русских, относящих себя к членам «политической нации», кажется неплохим результатом, особенно учитывая скромный срок осуществления проекта. Оптимизм иссякает, когда начинаешь разбираться с содержанием «россиянства», анализировать общие ценности и символы членов «политической нации». Выясняется, что «россиян» объединяет преимущественно советское наследство: общая история, где особое внимание уделено совместному участию в Великой Отечественной войне; опорные символы массовой культуры, которые также являются результатом советской социализации; отношение к природным богатствам как к общему достоянию: 80% населения считает, что эти богатства должны принадлежать всему народу или государству (5).

Содержание новой идентичности осталось старым, советским: перефразируя евангельскую фразу, в новые мехи было влито старое вино. И это дает основания для предположения о *российской идентичности* (имея в виду идентификацию не со страной, а с политическим сообществом) как *превращенной форме, инобытии советской идентичности*. Косвенно подтверждает этот парадоксальный вывод совпадение ареалов влияния старой советской и новой «российской» идентичностей. В 1989 г. удельный вес категории «советский человек» среди самохарактеристик русских РСФСР составлял 30%, а среди жителей Москвы и Ленинграда — 38% (6). А в конце 90-х гг. «россиян» в России оказалось почти столько же, сколько за десятилетие до этого «советских». Ситуация, когда новые формы наполняются старым содержанием, заставляет усомниться в успешности проводившейся в 90-е гг. политики формирования идентичности.

Государству не удалось сформировать новые идентитеты, сравнимые по влиянию и силе со старыми. И это при том, что старые идентитеты также не отличались силой — в противном случае распад СССР не оказался бы таким мирным и относительно бескровным.

О силе, мобилизационном потенциале «россиянской» идентичности говорить вообще не приходится. Если в апогей советской эпохи жертвование (не обязательно жизнью, хотя и жизнью тоже) во имя и для «нашей советской Родины» было распространенным явлением, официально и общественно поощряемым образцом поведения, то попробуйте найти среди современных «россиян» хотя бы одного человека, пожертвовавшего чем-нибудь, не говоря уже о жизни, ради «демократической России». И это красноречивое признание полной пустоты «российской» политической идентичности.

### «НЕЗРЕЛАЯ СТРАТЕГИЯ — ПРИЧИНА ПЕЧАЛИ»

Провал привлекательного проекта «российской политической нации» был во многом вызван ущербностью его интеллектуальных оснований. Как показали такие авторитетные и принадлежащие к различным научным течениям исследователи, как Р. Брубейкер, Э. Смит и Б. Як, популярная дихотомия «политических» и «этнических» наций, составившая методологическое и идеологическое основание проекта «российской нации», ошибочна с аналитической и оценочной точек зрения. Речь может идти только о динамичном соотношении этнического и гражданского аспектов в нации, а не о противопоставлении «хороших» гражданских и «плохих» этнических наций (7).

К слову, понимание термина «нация» в средневековой Франции носило двойственный характер: слово *natio* одновременно указывало на людей, объединенных общим происхождением (этнический аспект) и обозначало людей, живущих на одной территории (потенциально гражданский аспект) (8).

Либеральная риторика «гражданского» национализма и «территориальной нации» способна скрывать грубый этнический национализм повседневных политических практик, яркий пример чему являет ряд постсоветских государств, в частности прибалтий-

ских. Хотя большинство новых независимых государств провозглашало суверенитет и национальную независимость от имени территориальных сообществ (то есть от имени всех людей, вне зависимости от их этничности, проживавших на их территории), новое законодательство определяло те же самые государства как форму самоопределения «титულных» этнических групп.

Наиболее последовательно линии на строительство «политической нации» следовала именно Россия. В то же время эволюция понятия «российская нация» в постсоветском официальном дискурсе демонстрирует невозможность разведения этнического и политического аспектов нации. Поначалу было принято полностью деэтнизированное определение: все жившие в России на момент принятия закона о российском гражданстве 28 ноября 1991 г. автоматически становились ее гражданами, плюс к этому возможность стать российскими гражданами получали все жители бывшего СССР. С конца 1992 г. оно было дополнено лингвистической (а фактически культурной) составляющей: право считаться членами «российской нации» было предложено русскоязычным за пределами РФ. В середине 90-х годов активно муссировалась идея гражданства СНГ или двойного гражданства, отчасти реализовавшаяся в рамках Союза России и Белоруссии (9). Наконец, к исходу первого срока президентства В.В. Путина, возобладало понятие «российской нации», отождествлявшее ее с российским гражданством, однако сознательно выстроенные бюрократические барьеры при получении гражданства (даже для этнических русских!) превратили эту номинально либеральную «включающую» концепцию в антилиберальную, «исключающую»!

Понимание ложности дихотомии «политических» и «этнических» наций с аналитической и оценочной точек зрения, не исключает использования этих понятий в политической практике, где они выступают в качестве мифов, идеологических конструктов. Какой из этих мифов обладает большей мобилизующей силой, зависит от общего культурно-исторического контекста, культурного багажа и идентичности конкретной этнической группы. В общей форме можно сказать, что в идентичности одних групп более важное место занимают политические символы и политическая история, в идентичности других — язык и этническое происхождение. Соответственно, в одном случае «срабатывает» миф «политической нации», в другом — «гражданской», а нередко они конкурируют между собой, как это происходит во Франции.

В любом случае этническое начало в деле строительства нации не менее, а даже более важно, чем гражданский аспект, ведь формирование общих институтов и политических коммуникаций — необходимое, но недостаточное условие для рождения новой общности. Как убедительно продемонстрировал британский историк Э. Смит, эмоционально значимой она становится для своих членов лишь тогда, когда в ее основу заложена система общих мифов и символов, то есть номинальная «политическая нация» в любом случае должна иметь этническое ядро и культурную первооснову. Мифы и символы доминирующей этнической группы навязываются этническим меньшинствам, как правило, через ассимиляцию. Таким путем формировалась модельная «гражданская нация» французов, где вплоть до 1960-х гг. запрещалось преподавание в школе патуа (нефранцузских наречий). И это не удивительно, ведь еще в конце XIX в. доля населения, пользовавшегося патуа, достигала 40%! Теоретическую возможность продуцирования новой мифосимволической системы, интегрирующей ценности и символы нескольких этнических групп, осуществить на практике гораздо труднее. И даже в этом случае одна из этнических групп может доминировать. Так, идентичность иммигрантской американской нации формировалась под преобладающим влиянием ценностей, символов и культуры англосаксов.

Экстраполяция этой схемы на современную Россию приводит к выводу, что, если следовать западной логике, то естественным путем строительства «российской нации» должна стать ассимиляция нерусских народов в русскость. Благо этнодемографический баланс (79% русских в составе Российской Федерации против немногим более 50% в СССР и 44% в Российской империи) теоретически позволяет ее осуществить. Но вот практически строительство национального государства «железом и кровью» (без чего точно не обойтись при форсированной и масштабной культурной ассимиляции) вряд ли возможно в XXI веке. И не только из-за неизбежной острой реакции мирового сообщества. Более серьезные внутренние препятствия: поначалу нерусские народы России, а теперь уже и русские вступили в фазу обостренной этнической чувствительности и этнической артикуляции. Вектор массового сознания направлен в сторону формирования этнических идентичностей и оформления этнических групп. В современной России господствует этнический миф — не только среди нерусских народов, но и среди русских.

В этой ситуации либеральный фантом «политической нации» не может составить влиятельную альтернативу этническому мифу, тем более что нациестроительская политика идет довольно вяло и локализована преимущественно в сфере политической риторики и постсоветского «новояза». Однако логоцентрическая, дискурсивная логика, как показал П. Бурдьё, не тождественна логике социальных и политических практик. Это давнишнее заблуждение интеллектуалов, что их слова обладают онтологическим статусом. Скорее здесь прав Ф. Тютчев: «Мысль изреченная есть ложь». «Речевые акты» способны вызвать социальную динамику (в нашем случае — строительство нации) лишь тогда, когда они подкреплены конкретными действиями и созвучны массовым настроениям. Если же этих условий нет, то «речевые акты» и дискурсивные практики не изменяют социальных практик и массовой психологии.

Полагать, что современная мировая история движется к предзаданной цели — «политической нации» — есть дурная телеология и примитивный вестерноцентризм. Впрочем, ситуация радикально меняется и на самом Западе. После 11 сентября 2001 г., взрывов в лондонском метро и этнических волнений во Франции американское и французское гражданство или подданство Соединенного Королевства не синонимичны принадлежности к американской, французской или британской «нации», если понимать под этим разделяемые ценности, символы и лояльность принципам общества, в котором живешь. Немалая часть некоторых этнических групп в этих странах открыто или латентно враждебна тем принципам, на которых они построены, и пытается их подорвать, будучи в то же время гражданами этих стран. Не случайно западный политический дискурс обогатился понятием «внутреннего врага», и все большее влияние в нем завоевывает идея зависимости степени устойчивости демократии от *этнической*, а не только политической гомогенности обществ. Глубинный смысл этой идеи, говоря без обиняков, расистский: только западные народы способны поддерживать «правильное» функционирование своих политических систем и ценностей.

Отечественные интеллектуалы вольны повторять зады западной мысли, выдавая их за теоретические новации и единственно возможный (иного не дано!) путь движения России к сияющим вершинам мировой цивилизации. Однако в отечественном контексте термины вроде «российской нации» и «российского народа»

бессмысленны, а миф «политической нации» не обладает мобилизующим свойством, потому что у нас господствует прямо противоположная тенденция *этнизации* сознания и идентичности.

Возможно ли в таких условиях обеспечить политическое единство России и сформировать идентичность нового государства? Да, если фокусировать государственную политику на активации связанного с государством аспекта этнической идентичности проживающих в России этнических групп. А в этом отношении вне конкуренции находятся русские — основной этнический массив населения страны, народ, чья идентичность в наивысшей степени тематизирована государством.

## ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАТРИОТИЗМА

Если не ясное понимание, то подспудное ощущение решающей роли русского народа для формирования современной российской государственности проглядывало в «новом государственничестве» — политике стимулирования и поощрения государственного патриотизма, основные контуры которой заметны еще с середины прошлого десятилетия. Эта политика нашла свое выражение в обогащении официального лексического ряда патриотической и державной риторикой, дозированном и вербальном антивестернизме, продвижении в общественно-политический дискурс категорий «национальных ценностей», «национальных интересов» и «национальной идеи», государственной поддержке Русской православной церкви, манипуляции имперскими символами.

Здесь проглядывает очевидное сходство с использованием имперских мотивов И. В. Сталиным в 40-е — начале 50-х гг. XX в. Историческая несоразмерность этой аналогии лишь ярче оттеняет функциональное сходство проводившейся политики. В обоих случаях речь шла об обеспечении власти дополнительным источником легитимации и инкорпорировании старых идентитетов в конструируемые государством новые идентичности. Также предпринималась попытка мобилизовать традиционную государственную идентичность русских при одновременном пренебрежении этнической идентичностью и враждебном отношении к русскому национализму. Как сталинский «национал-большевизм», так его модифицированная государственническая реплика конца XX в. не изменили (и вообще



не задавались такой целью) принципиальных оснований существовавших политических и экономических систем, а лишь обеспечили их идеологическое и пропагандистское прикрытие и дополнительную легитимацию. Но на эволюцию политических режимов такая политика, безусловно, повлияла.

Принципиальное сходство состояло также в том, что изменения в идеологии представляли своеобразный ответ правящего класса на фундаментальные потребности отечественного общества, в котором после фазы революционных потрясений оформился консервативный запрос на порядок, стабильность и сохранение части основ прежнего бытия. Помимо этого, в России второй половины 90-х гг. XX в. и начала XXI в. артикулирование идеи и символов государства было призвано компенсировать его реальную слабость и канализировать нараставшие патерналистские настроения отечественного общества.

Современная российская элита использовала массовые настроения в собственных интересах. По точному наблюдению израильского историка и политолога И. Брудного, движущий мотив неогосударственничества российской элиты носил корпоративный характер — легитимировать «*нелиберальную модель капитализма*», при которой эта элита оставалась «главным центром экономических решений» (10).

Аналогия со сталинской эпохой полностью улетучивается при оценке эффективности политики государственного патриотизма. Не произошло общественного подъема, а результаты оказались противоположны ожиданиям. Исследование Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) рубежа 2000 и 2001 гг. показало, что патриотизм как социализированное чувство, в основании которого лежат ценностно-нормативные и интеллектуальные обоснования, принцип взаимной ответственности и взаимных обязательств между человеком и государством, переживает драматический кризис. Более того, в массовом сознании комплекс патриотических переживаний оказывается не просто вне государства, он выступает его антиподом: «там, где есть патриотизм, нет места власти, а там, где есть власть, там нет места патриотизму». Хотя социализированный патриотизм более не воспринимается обществом как основополагающая ценность (таковым его называли лишь 3% респондентов), вывод об атрофии этого чувства был бы поспешен (11).

Во-первых, дефицит социализированного патриотизма в какой-то мере компенсируется патриотизмом личностным, интимным — привязанностью к «малой родине», к месту рождения, к собственной семье. Во-вторых, понятие «Родины» («Отечества»), выступающее одним из фокусов социализированного патриотизма, в 90-е гг. в наименьшей степени подверглось ценностной инфляции, сохранив для русских высокую значимость (12).

В то же время на массовом уровне произошла отчетливая дифференциация понятий «Родина» («Отечество»), «народ» и «государство». В 90-е гг. социализированный патриотизм ориентировался преимущественно, если не почти исключительно, на первые два идентитета, которые — явно или неявно, осознанно или не очень — противопоставлялись государству. Новым это выглядело лишь в сравнении с советской эпохой, отчасти преуспевшей в формировании чувства тождества «советской Родины» с «государством» и «народом». Однако в досоветскую эпоху государственная и этническая идентичности также находились в конфликтных отношениях.

Вопреки своим целям, официозная политика государственного патриотизма усилила противопоставление «государства» и «народа» и привела к конфликту между обществом и государством. Она представляет собой *патриотический симулякр* — манипулирование идеологическими «пустышками», символами без содержания, чье назначение состоит в ситуативной мобилизации и пропагандистском прикрытии. Подобная политика стимулирует не столько патриотические чувства и лояльность по отношению к власти, сколько отторжение государства как такового.

Иной исход трудно было ожидать в ситуации, когда патриотические знаки и символы не были подкреплены соответствующим изменением реальной политики, оказавшейся диаметрально противоположной пропагандируемым ценностям, а призванные задавать обществу образцы и нормы поведения элитные группы демонстрировали крайний эгоизм и своекорыстность. Другими словами, предлагавшиеся обществу «парадные» ценности противоречили ценностям самой элиты, а «правда жизни» — создаваемые «гнусной российской действительностью» образцы и нормы социального поведения — разрушала любые эталоны и идеальные модели.

Фиаско политики государственного патриотизма служит симптомом того, что русские отказывают государству в его фундамен-

тальном праве служить источником «больших» смыслов, идеальных императивов и целеполагания.

## НАРОД И «ПРОВАЛИВШЕЕСЯ ГОСУДАРСТВО»

Свобода от «всесильного монстра» государства — а это стремление составило нерв демократической революции в России — обернулась его разрушением, катастрофическим снижением эффективности государственных институтов, массовым отчуждением от нового государства. Оно воспринимается русскими с недоверием, стыдом и подозрением, кажется им чужим и враждебным. О глубине и драматизме этого отчуждения свидетельствует то, что в конце 90-х гг. «инородность» государства основному этническому массиву России осмысливалась не только в политико-социальных, но и в этнических категориях.

В начале 1999 г. почти треть (точнее, 32%) населения России соглашалась с тезисом о том, что «власть в России находится в руках евреев»; отказались разделить это мнение 37% респондентов, при 32% затруднившихся с ответом. Поскольку число респондентов, склонных возлагать на эту этническую группу ответственность за политические и экономические провалы российской власти, меньше в разы (от 5 до 13%), то приведенные цифры вряд ли можно трактовать как тревожно высокий уровень юдофобских настроений в России (13).

Скорее мы имеем дело с инверсией: неэффективная и отчужденная от общества власть воспринималась как этнически чужая, «нерусская». Соответственно изменение ее этнического облика, «обрусение» виделось средством преодоления отчуждения общества от государства и повышения эффективности последнего.

Формировавшийся в российском обществе постреволюционный запрос на порядок, стабильность и возвращение государства открыл возможность его валоризации — позитивной переоценки массовым сознанием. При этом отношение к государству вследствие произошедшего, по мнению социологов, «неоконсервативного синтеза» — слияния «черт, характерных как для традиционного в России понимания соотношения общества и власти, так и новых общественных отношений, сформировавшихся за последние десять лет» — стало носить более прагматичный, рациональный и взвешенный характер (14).

Уйдя от антигосударственнического полюса русского этнического архетипа, маятник массовых настроений не остановился в диаметрально противоположной позиции. Сакрализация государства — выбор незначительного меньшинства. Общенациональный опрос обнаружил лишь 7% «жестких» сторонников традиционного понимания государственничества (доминирование государства над личностью, патернализм и закрытость страны). В то же время доля респондентов, выбравших «комфортную, удобную для жизни страну, в которой на первом месте стоят интересы человека, его благосостояние и возможности развития» более чем в три раза превысила долю сторонников идеала «могучей военной державы, где во главе угла стоят интересы государства, его престиж и место в мире» (76% против 24%) (15).

Гипергосударственническая тенденция локализована в группах населения с низким уровнем образования и высокой долей пожилых людей. Она носит угасающий характер, а база ее поддержки в силу своих социально-демографических характеристик даже потенциально не может составить точку кристаллизации мобилизационного меньшинства.

Об ослаблении полюса традиционного государственничества свидетельствует его постепенный дрейф в прошлое. Русские гордятся своей страной и ее историей (это чувство испытывали 80,5% респондентов (16)), особенно высоко оценивая пики имперского взлета — эпоху Петра I и Екатерины II, а также время национального сплочения — период Великой Отечественной войны. Но русский исторический миф не проецируется на современность, он лишен жизнеутверждающего пафоса и мобилизационного порыва, представляя лишь ностальгию по государственному могуществу и национальной консолидации. Даже традиционалисты, не говоря уже о либералах, не готовы жертвовать сиюминутными, текущими интересами ради страны и государства, историей которых они так гордятся. Потенциально мобилизационная позиция — готовность к жертвам во имя будущего страны — выглядит «парадной», а не интериоризованной ценностью.

Может показаться, Россия наконец-то выстрадала более взвешенное и разумное отношение к государству, нащупала «средний путь» между всеподавляющим Левиафаном и разрушительным русским бунтом. Однако новое — рациональное и прагматичное — отношение русских к государству послужило и новым, отличным

от традиционного, основанием для его оценки. Повышение ценности государства как теоретического норматива, как идеи, не повлекло за собой позитивного отношения к актуальному государству. Эти две линии не совпали и даже оказались разнонаправленными.

Общественный запрос на возвращение государства сформировался уже довольно давно: рост числа сторонников идеи «укрепления России в качестве великой державы» с 41, 4% в 1995 г. до 48,3% в 2001 г. нельзя назвать драматическим. Но только на рубеже столетий в России открылась возможность персонификации государственных устремлений общества. Президент В. В. Путин воплотил классический тип русского суверена — фигуры, которую все элементы отечественного социума записывали в «свои». Но, как показывают социологические опросы, высокое и беспрецедентно устойчивое доверие к президенту Путину не распространяется на основные государственные и политические институты. Уровень доверия к ним, несмотря на некоторые флуктуации, остается довольно низким, а в ряде случаев — чрезвычайно низким. Более половины респондентов не доверяют государственным институтам, с деятельностью которых им чаще всего приходится сталкиваться в повседневной жизни — милиции (60,3%) и местной власти (58,2%) (17).

Другими словами, валоризация олицетворяемой фигурой президента идеи государства не привела к позитивной переоценке актуального государства и политической системы. Парадоксальная ситуация — президент находится в фокусе государственных настроений, а государство вызывает нарастающее разочарование — представляет исторически устойчивую проекцию русского сознания, которое традиционно испытывало пиетет по отношению к суверену и отвергало «средостение» между царем и народом.

Хотя фигуре президента удалось несколько снизить напряженность в отношениях между обществом и государством, отчуждение народа от власти не уменьшилось, а выросло. Доля русских, отрицающих возможность какого-либо эффективного влияния на власть, устойчиво росла: с 42% в 1995 до 59,6% в 2001 г. В природе этого отчуждения можно усмотреть «неоконсервативный синтез». К традиционным основаниям настороженного отношения русских к государству добавился качественно новый элемент — апелляция к принципам и нормам демократии. Вполне адекватное представление русских о демократии и ее основных чертах вступило в фун-

даментальное противоречии с невозможностью обнаружить демократию в действительности, главной причиной чего люди считают «приватизацию» демократии элитой. Ровно две трети отечественного общества (66,6%) в начале XXI в. считали, что «демократические процедуры — это пустая видимость, а страной управляют те, у кого больше богатства и власти».

В массовом сознании происходит «минимизация» актуального государства. Предъявление ему требований, даже обоснованных, выглядит бессмысленным делом, ввиду того, что дистанция между властью и обществом увеличивается; власть рассматривается заведомо нечестным партнером; за государством не ощущается способность выполнять даже свои базовые функции. Освободившееся от обязательств по отношению к обществу государство встречает симметричную реакцию: люди предпочитают чувствовать себя свободным от любых обязательств по отношению к нему. Полагая, что «государство обязано всегда быть честным со своими гражданами», они в то же время считают, что «врать государству не зазорно, поскольку оно обманывает граждан». Популярными идеями «укрепления России как правового государства» (число ее сторонников выросло с 30,3% в 1995 г. до 46,5% в 2001 г.) и равенства всех граждан перед законом (рост с 53,9% в 1998 г. до 83% в 2001 г.) в массовом сознании сочетались с признанием приемлемости нарушения закона и обмана государства. Лишь каждый пятый (19,6%) респондент считал безусловное законопослушание неизбежным правилом повседневного поведения, в то время как 46,2% заявляли, что законы надо соблюдать, только если это делает сама власть (18). В общем, ситуация с фундаментальной либеральной ценностью — законом («где нет закона, там нет свободы» — Локк) — откровенно удручает. Однако такой результат неизбежен: законопослушное общество не может возникнуть раньше законопослушной власти.

Власть воспринимается массовым сознанием как главный источник беззакония: 96% респондентов «считают, что в стране царит произвол властей. Свыше половины из них убеждены, что найти защиту от этого произвола в сегодняшней России невозможно. На суд как на защитника рассчитывают 9%, на «братков» и взятку — 11%». Надо признать адекватность этого восприятия и справедливость высказанных упреков. Именно государство последние полтора десятилетия разрушало правовые нормы, моральные и соци-

альные конвенции. Оно отказалось от фундаментальной прерогативы определения что справедливо, а что нет (а это и есть глубинный смысл существования любого государства), поэтому отношение к актуальному российскому государству стало основываться на презумпциях виновности и недоверия.

Признавая нормативную ценность государства и его теоретическую важность, подавляющее большинство населения отказывается актуальному государству в легитимности — праве служить источником целеполагания и «больших» смыслов (80% населения «не представляют себе даже, какое именно государство создается сегодня в России, к какой цели она движется» (19)), выступать гарантом справедливости, законности и порядка. В перспективе общественного мнения современное российское государство зиждется на фигуре популярного суверена (в то время как основные государственные институты скомпрометированы и делегитимированы), а также на негативистском «общественном договоре»: люди не выступают против власти, пока она не мешает им жить, не оказывает на них чрезмерного давления.

Таким образом, провал проекта «политической нации» был обусловлен не только ложностью его интеллектуальных оснований и слабостью соответствующего мифа, но и провалом самого «конструктора» новых идентичностей — государства, не обретшего массовую, низовую легитимность. «Новое государственничество» оказалась имитационной стратегией, способной продуцировать лишь симулякры. Содержание новой государственной идентичности в России составляют не лояльность государству и стремление к интеграции с ним, а прямо противоположные чувства.

Однако самый неожиданный итог незадавшегося строительства «русской политической нации» состоит в том, что им был стимулирован процесс *этнизации* русского сознания и русской идентичности. Вместо «политической» в России складывается «этническая» нация.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Тишков В.А. Что есть Россия? (Перспективы нации-строительства) //Очерки теории и политики этничности в России. — М., 1997 С.115.

2. Тишков Валерий. Российский народ как европейская нация и его евразийская миссия //Политический класс. 2005. №5. С.75–76.

3. 10 лет российских реформ глазами россиян. Аналитический доклад /Институт комплексных социальных исследований Российской академии наук, Российский независимый институт социальных и национальных проблем. — М., 2002. С.69.

4. Бызов Леонтий. Становление новой политической идентичности в постсоветской России: эволюция социально-политических ориентаций и общественного запроса //Российское общество: становление демократических ценностей? М., 1999. С.70.

5. См.: Гудков Лев. Русский неотрадиционализм и сопротивление переменам //Отечественные записки. 2002. №3. С.99; 10 лет российских реформ глазами россиян С.70.

6. Дробижева Л. М., Аклаев А. Р. Коротеева В. В. и др. Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 90-х годов. — М., 1996. С.305–306.

7. Подробнее см.: Коротеева Виктория. Существуют ли общепризнанные истины о национализме? //Pro et Contra, 1997, Т.2, №3. С.189–196. Также см. соответствующие места книги: Коротеева В. В. Теории национализма в зарубежных социальных науках. М., 1999.

8. См.: Национальная идея в Западной Европе в Новое время. Очерки истории //Отв. ред. В. С. Бондарчук. — М., 2005. С.125–126.

9. Подробнее см.: Tolz Vera. Op. cit. P.252–257, 267.

10. Брудный И. М. Политика идентичности и посткоммунистический выбор России //Полис. 2002. №1. С.99.

11. Подробнее об этом см.: Климов Иван. Патриотические основания современной российской идентичности //Отечественные записки, 2002, №3. С.175–177.

12. Бызов Леонтий. Указ. соч. С.69.

13. Петухов Владимир. Колонна бредет по краю пустыни. Доберется ли воинство Макашова до следующей Думы? //Общая газета. 1999. №9 (4–10 марта). С.7.

14. 10 лет российских реформ глазами россиян. С.59.

15. Кутковец Т., Клямкин И. Нормальные люди в ненормальной стране //Московские новости. 2002. №25 (2–8 июля). С.9.

16. 10 лет российских реформ глазами россиян. С.70.

17. Там же. С.59, 65.

18. Там же. С.51–52, 83.

19. Кутковец Т. Клямкин И. Указ. соч. С.9.



---

---

## Глава 8

### РОЖДЕНИЕ НАЦИИ

#### Исторический смысл нового русского национализма

В середине 2002 г. один из отечественных ученых сравнил ситуацию с русским национализмом со знаменитой абсурдистской пьесой С. Беккета «В ожидании Годо»: «разговоры в отсутствие главного героя, появления которого не все желают, но все ждут» (1). Полтора года спустя эта академическая ирония над «несостоявшимся пришествием» русского национализма выглядела скорее запоздавшим предостережением. Парламентские выборы декабря 2003 г. принесли значительный рост популярности течения, которое в России ассоциируют с русским национализмом, а это значило, что формироваться на уровне «корней травы», как массовое настроение оно стало задолго до своей успешной политической манифестации.

Для вдумчивых наблюдателей настораживающим симптомом послужил уже сам факт обращения ЛДПР в ходе последней парламентской кампании одновременно к радикальной националистической и социальной риторике («мы за русских, мы за бедных»), которой в столь откровенных формулировках эта эксцентричная, но безобидная партия избегала с середины 1990-х гг. Учитывая блестящую политическую интуицию В.В. Жириновского, его умение чувствовать ветры эпохи, можно было предположить, что в глубинах отечественного общества что-то серьезно меняется, происходят какие-то качественные сдвиги. Наглядным подтверждением этого предположения послужил успех свежее испеченной коалиции «Родина», набравшей лишь немногим меньше голосов, чем ЛДПР. Ее триумф оказался неожиданным (и нежелательным) даже для президентской администрации, выступившей в роли «повивальной бабки» и опекуна нового политического проекта.

Казалось, успешное выступление одновременно двух националистических сил отражало удвоение потенциала русского национализма, который выглядел тем более угрожающим, что в риторике его политических представителей наметился синтез радикальных националистических и социальных лозунгов — своеобразного бинарного оружия, способного взорвать хрупкий социальный и политический порядок в стране. В этом смысле предостережения о росте национал-социалистических настроений в современной России, если отрешиться от неизбежных негативных коннотаций с национал-социалистской Германией 30–40-х гг. XX в., выглядят не более чем фиксацией влиятельной тенденции массового сознания.

Обратившись к оперативной социологии, можно составить драматическую картину националистической экспансии в умах и душах современных русских. По оценкам ряда социологических центров, включая такие авторитетные, как ВЦИОМ и ИКСИ (Институт комплексных социальных исследований) РАН, в последние 6 лет значительно выросло число людей, полагающих, что у русских в России должно быть больше прав, чем у представителей других национальностей. К 2004 г. число сторонников русского «первородства» сравнялось (если не превысило) с числом «интернационалистов», полагающих, что Россия — «общий дом многих народов», где никто не должен иметь никаких преимуществ и все должны иметь равные права. Уровень этнических фобий — негативного отношения к мигрантам, особенно из т. н. «визуальных меньшинств» (то есть отличающихся от славян своей внешностью) — на протяжении последних нескольких лет вообще не опускался ниже 50%. В самых многочисленных социальных группах (пенсионеры, рабочие, служащие) он достигает двух третей респондентов.

При этом русская ксенофобия принципиально отличается от аналогичных явлений в Европе. Самый высокий ее уровень зафиксирован среди молодежи (учащаяся молодежь находится в лидерах этнического негативизма), а наиболее устойчивая динамика роста — среди лиц с высшим образованием. В этой категории за семь лет наблюдений доля негативных оценок этнических меньшинств увеличилась почти вдвое, до 69% (2). Получается, что за пятнадцать лет «демократических и рыночных реформ» ксенофобия стала неотъемлемым и очень важным компонентом бытовой и политической социализации новых поколений. Причем высокий уровень этнического негативизма в интеллигентской среде, вклю-

чая столичную, предполагает хотя бы частичную отрефлексированность и рационализацию испытываемых чувств и эмоций. Это значит, что этнофобия приобрела в России системный, воспроизводящийся и долгосрочный характер.

Тем не менее чувства и здравый смысл отказываются поверить в реальность возникающего из-под пера иных либеральных интерпретаторов социологических сводок образа триумфального марша русского национализма под водительством тяготеющей к авторитаризму и ксенофобии (и в этом смысле возвращающейся в традиционное русло) русской власти. Будь масштабы поддержки русского национализма столь значительны, имей он государственное покровительство, то давно бы уже находился у власти или, по крайней мере, ощутимо претендовал на нее. Но вот этого ощущения властной претензии как раз и не возникает.

В то же время нельзя сказать, что мы сталкиваемся (по определению Наполеона или Дизраэли) с «ложью посредством статистики» или, другими словами, с социологическими искажениями — умышленными или непроизвольными — феноменов массового сознания. Разные центры и разные социологические методики применительно к этой теме дают близкие результаты.

Существует проблема интерпретации, вызванная тем, что определение «русского национализма» оказывается не строгим научным понятием, а обобщенной метафорой сложной, дифференцированной и внутренне противоречивой картины.

Несмотря на обилие теорий национализма, различные его определения сходятся в следующих основных пунктах: доктрина национализма признает существование нации как реальной общности со специфическими качествами; провозглашая приоритет этой общности перед другими интересами и ценностями, национализм стремится к его политическому воплощению в виде суверенитета (3).

Применив это отнюдь не жесткое определение к отечественному материалу, мы увидим уменьшение пугающего потенциала русского национализма до величин если не безобидных, то приемлемых. Исторически связанная с национализмом ксенофобия не тождественна ему, потому что не предполагает развернутой идеологической программы и политических целей. Даже если каждый националист — ксенофоб (а это совсем не так), далеко не всякий ксенофоб — националист. В то же время высокий уровень этнофобии

среди образованных слоев населения России резко повышает шансы ее рационализации в форме развернутого и артикулированного националистического призыва.

Суверенитет — это фундаментальное устремление всякого национализма — номинально уже обретен в виде суверенной России, мирное возникновение которой в то же время стало добровольным отказом русских от многовековой исторической традиции имперского строительства, отказом от имперского национализма. И даже усмотрев в желании преимуществ для русских в России (которое, напомним, разделяется приблизительно половиной населения) стремление к этнизации политики (проще говоря, требование русификации власти и государства), нельзя не отметить, что в другом ракурсе русские вовсе не склонны педалировать национальную проблематику.

Лишь 7% респондентов ставят эту проблематику на первое место, называя ее своим безусловным политическим приоритетом. Не более 10–13% населения в той или иной степени склонны идентифицировать себя как русских националистов — с некоторыми колебаниями эти цифры остаются чрезвычайно устойчивыми на протяжении последних пятнадцати лет. Для подавляющего большинства населения растущий (что очевидно) интерес к русской теме носит не столько самостоятельный (и тем более самодовлеющий) характер, сколько дополняет ключевые и идеологически нейтральные ценности порядка и стабильности, законности и свободы, социальной защиты и эффективности государства.

Правда, это очень важное дополнение: оно окрашивает все ценности в национальные цвета, придает им этническую специфику. Речь не об абстрактном порядке или заимствовании чужих образцов и моделей порядка, а о вырастающем из национальной почвы, вписанном в конкретный историко-культурный контекст органичном русском порядке. Это понимание необходимости учета этнической и культурно-исторической специфики *per se* можно называть как угодно — здравым смыслом, консерватизмом и т. д., но никак не национализмом, выдвигающим на первый план самодовлеющую ценность нации. Последнее неприемлемо даже для большинства потенциальных сторонников русского национализма.

Вопрос о качественных характеристиках и политико-идеологической ангажированности этих сторонников составляет еще одно противоречие русского национализма. Долгое время было принято

находить его поддержку среди коммунистов и некоммунистической правой оппозиции, что было верно до конца 1990-х гг. С началом нового века ситуация кардинально переменилась. Русский национализм (если, изрядно упрощая, понимать под ним ксенофобию и идею русского первенства) относительно равномерно распределен по всему политическому спектру — от «Яблока» и СПС до ЛДПР и «Родины», включая прорежимную «Единую Россию». Причем самый высокий уровень национальной нетерпимости, наибольшее число сторонников радикального ужесточения законов против мигрантов зафиксированы среди сторонников СПС, то есть в среде номинально либерального электората. Самую высокую поддержку идея «России для русских» находит не среди номинальных русских националистов, а среди сторонников радикальных рыночных реформ. Наиболее неприемлем этот радикальный националистический тезис электорату КПРФ, характеризующемуся самым высоким уровнем интернационализма.

Если при определенных условиях национализм и ксенофобия вполне совместимы даже с демократическим порядком, чему немало исторических и современных примеров, то тем более легко они уживаются с ценностями рынка, что наблюдается в современной России. Хотя русскому национализму подвержены и богатые, и бедные, основной массив его поддержки в последнее пятилетие составляли не социальные маргиналы или социальные верхи, а находящиеся между ними слои населения — «новый средний класс», чей политико-психологический профиль внутренне противоречив. Идея русского первенства сочетается у него с требованием ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни и резко отрицательным отношением к радетелям «расовой чистоты» — скинхедам. Однако это противоречие внешнее, кажущееся, поскольку общим глубинным источником, на первый взгляд, противоположных требований выступает исторически присущий среднему классу императив стабильности. В нашем случае — стабильности от имени и в интересах этнического большинства.

Наиболее острые, радикальные и масштабные националистические настроения характерны для молодежи. Национализм — единственная идеология, пользующаяся относительной популярностью в молодежной среде, для которой в целом характерны слабая политизированность и слабая идеологизированность.

Может показаться, что разгадка противоречий русского национализма лежит в смене его исторических типов: старый советский патриотизм (условно, имперский национализм) уходит в небытие, замещаясь новым — буржуазным национализмом эпохи национальных государств. Сдвиги носят более глубокий и радикальный характер: идет не просто смена национализмов, а смена базовых идентичностей и коренное обновление русской социокультурной традиции, где национализм оказывается лишь внешним выражением мутации национального духа или, выражаясь более академически, проекцией меняющейся русской идентичности, русского образа «Мы». И потому не будет преувеличением утверждение о гибели старой и *рождении новой русской нации*.

В теоретическом плане это не означает, что национализм выступает исключительно эпифеноменом, производным других факторов. Обретя собственную жизнь, он способен превратиться в самостоятельный и очень важный фактор политики и культуры, в средство формирования идентичности.

Обширный спектр разнообразных и противоречивых культурных и этнических реакций, подверстываемых под общий знаменатель «русского национализма», в действительности представляет не национализм как политико-идеологическое течение, а отражает формирование национализма как культурной системы (формулировка Б. Андерсона). Усиливающаяся тенденция этнизации русского сознания, осмысления и описания мира с явной или имплицитной этноцентристской позиции вызвана глубинными и фундаментальными изменениями в состоянии русской этничности.

Коренной причиной понимаемого *таким* образом русского национализма оказывается драматический кризис витальной силы русского народа. Наиболее важен не экономический или социальный, а именно психологический, ментальный аспект переживаемой ситуации. Впервые за последние пять столетий национального бытия русские почувствовали (но до конца еще не осознали!) себя слабым и неудачливым народом. У них появилось тягостное чувство, что карты истории на этот раз легли для России неудачно. Это ощущение тем более драматично и беспрецедентно, что на протяжении последней полутысячи лет русские являли собой один из наиболее успешных народов мировой истории.

Ощущение неудачи приобрело характер трагедии, когда на глазах русских и без их сопротивления распалось великое государ-

ство — Советский Союз, которое они небезосновательно считали своей Родиной. Миллионы людей в одночасье потеряли скромный достаток и были ввергнуты в нищету; осмеянию и унижению подверглось все, что составляло предмет национальной гордости нескольких поколений; резко снизилась витальная сила нации, что выразилось, в том числе, в низкой рождаемости и высокой смертности. Первая половина 1990-х гг. была временем массового национального самоуничтожения, когда страну охватила подлинная эпидемия смердяковщины. «Мы хуже всех, мы нация рабов», «мы пример всему миру, как не надо жить» — число подобных ответов в опросах ВЦИОМ с 1990 г. по 1993 г. возросло с 7% до 57% (4).

Негативный модус русской идентичности усугублялся и стимулировался специфической культурной и идеологической политикой, проходившей в первые годы существования независимой России под знаком целенаправленной дискредитации русского сознания, национальной истории и культуры. Русским агрессивно навязывались комплекс национальной неполноценности и чувство коллективной вины за демонизировавшуюся империю. Успех массового распространения антирусской мифологии в публичном пространстве был обеспечен благодаря контролю основных коммуникационных каналов и наиболее влиятельных СМИ со стороны либеральной элиты.

Дело в том, что структуры отечественного либерального и колониального (5) дискурсов совпадают. Презумпция внутренней ущербности русского народа, периферийность русской цивилизации, неполноценность русской традиции, неадекватность ее ценностей современному (читай: западному) обществу — эта аксиология доморощенного либерализма с «железной необходимостью» продуцирует отношение к России и ее народу как колонизируемой территории с «неполноценным» населением.

Сознательная или неосознанная стратегия негативизации русских и России доминирует в отечественных СМИ (особенно электронных), несмотря на смену высшего политического руководства страны и проведение т. н. «государственнического» курса в идеологии и культуре (6). Хотя конструирование негативного образа России и русского народа, продуцирование антирусской мифологии происходит теперь в более «мягких» и скрытых формах, суть политики остается неизменной.

Речь идет о гораздо большем, чем социокультурное отчуждение элиты и общества. Эта ситуация как раз типична для России послужив в начале XX в. капитальной причиной «Красной смуты». Мы имеем дело с аксиологическим и даже экзистенциальным отвержением русскости и России, в основе чего лежит стремление расстаться с этими общностями и перейти в группу, имеющую более высокий статус. В модели социальной идентификации Г. Тэшфела и Дж. Тернера такое поведение рассматривается как одна из рациональных стратегий преодоления кризиса идентичности: психологическое размежевание и физический выход из группы, статус и престиж которой снижаются.

В конкретных условиях России эта стратегия оказалась не чем иным, как национальной изменой: условием перехода в высоко-статусную группу — мировую элиту — была фактическая сдача страны и колониальная эксплуатация собственного народа. (Хлесткий термин «национальная измена» предполагает в данном случае не только моральную инвективу, но и политико-правовую констатацию.) Подобное коллективное предательство элиты, к сожалению, не столь уж беспрецедентно для России: в Смуте начала XVII в. оно носило не менее массовый характер, чем последние пятнадцать лет.

Парфразируя Льва Толстого, сказавшего о Пьере Безухове, что тот выздоровел вопреки усилиям врачей, как ни «старалась» отечественная элита, больной все же не умер, хотя и выздоровевшим его назвать также нельзя. Как и четыреста лет тому назад, вызывает изумление стойкость русского народа, который, оказавшись на краю пропасти, не сорвался в штопор морально-психологической и этнической дезинтеграции. Национальное тело России устояло ценой мутации духа.

Эта формулировка — метафоричное описание стратегии выхода из кризиса идентичности, спонтанно используемой большинством отечественного общества. Если элита предпочла расстаться с больным этническим сообществом и даже усугубить его состояние политикой этнической негативизации, то общество предпочло восстановить собственную позитивную идентичность, пересмотрев ее содержание. Сработал заложенный в природе человека механизма самосохранения — глубинная и не нуждающаяся в рациональных доказательствах потребность в позитивных отличии-



ях собственной группы, альтернативой чему была отнюдь не метафорическая смерть нации как субъекта истории.

Заметная валоризация русской идентичности началась во второй половине 1990-х гг., хронологически совпав с тяжелейшим экономическим и властным кризисом в России. Это, с одной стороны, указывает на относительную независимость этнических и социокультурных процессов от экономических и политических факторов, а с другой — объясняет, почему страна не рухнула в пучину хаоса после разрушительного дефолта и при бездействовавшей власти. Потому и не рухнула, что значительная часть общества к этому времени вышла из полосы «черного» сознания, преодолев навязывавшееся болезненное самоуничтожение, и хотя бы отчасти восстановила личное и национальное самоуважение. Произошла спонтанная — вне и помимо власти — самоорганизация населения, даже намечилось подобие экономического подъема.

Я хочу специально подчеркнуть, что рост патриотизма носил стихийный характер и не был вызван официальной стратегией «нового государственничества». Доминанту массовых настроений составило стремление «преодолеть комплекс национальной неполноценности, сформированный под давлением массированных медиа атак, вольно или невольно дискредитировавших ключевые системы и фигуры: от старых и новых вождей — до перспектив развития России в целом» (7).

В начале третьего тысячелетия 85% респондентов указывали, что гордятся своей национальностью, а 80,5% испытывали чувство гордости за Россию (8). Источником самоуважения для русских служило прошлое — славная история и богатая национальная культура, а не составляющие главный предмет современной гордости западных народов актуальные экономические достижения. Несмотря на восстановление позитивного морально-психологического модуса ощущение глубинной слабости у русских сохранилось, что связано с сохранением и усугублением системного социополитического, экономического кризиса, подорванностью витальной силы. Не может чувствовать себя здоровым и уверенным народ, все структуры национального бытия которого переживают деградацию и упадок.

В таких условиях возникает необходимость в компенсаторном и защитном психологическом и социокультурном механизме, которым в нашем случае оказался русский национализм. Он — след-

ствие русской слабости, а не силы, средство адаптации к новым и крайне болезненным для русских реалиям, которые ими не всегда рационализируются, но которые уже не могут игнорироваться.

Согласимся, что в преимуществах обычно испытывает потребность слабый, а не сильный. Идея русского первенства, преференций для русских в России стала завоевывать умы лишь потому, что бывшие хранители империи ощущают себя крайне неуверенно даже в собственном доме. Поэтому они испытывают потребность в исторически ранее не свойственных им формах самоутверждения. Причем происходит это тогда, когда русские не только остаются стеном хребтом страны в политическом, культурном, экономическом и военном отношениях, но, составляя 79% населения России, еще и обладают очевидным демографическим перевесом, чего не было в заключительных исторических фазах Российской империи и Советского Союза.

От неуверенности, ощущения угрозы основам национального бытия и растущая русская ксенофобия. Этимология слова «фобия» — страх, ужас — точно фиксирует переживаемые русскими массовые опасения по поводу их вытеснения из привычного жизненного пространства, трансформации традиционной социокультурной среды обитания, этнической конкуренции в экономике и на рынках труда. Русские испытывают глубокое беспокойство в связи с утверждением «чужаков» в коренной России. Речь идет не о мигрантах вообще, а о подлинно *чужих* — чужих от внешности до манеры поведения, чья биологическая сила контрастирует с русской демографической слабостью, которые не поддаются ассимиляции и в перспективе массового сознания ассоциируются с преступностью и терроризмом.

С точки зрения социальной психологии, к росту нетерпимости, к этноцентризму ведет именно угроза идентичности. То есть этноцентризм (и, соответственно, этнофобия) составляют *естественный* механизм выживания этнической группы, ощущающей угрозу своему бытию. При этом не имеет значения, реальна ощущаемая угроза или нет: согласно «теореме Томаса», «если люди определяют ситуации как действительные, то они действительны по своим последствиям» (9).

Поэтому подлинную подоплеку русских этнофобий составляет не экспансионистское устремление, а желание защитить свой

очаг, родную землю и привычный образ жизни. У русских этнофобий — оборонительная, защитная мотивация.

Однако как это глубоко парадоксально для народа, всего лишь два десятилетия тому назад на равных участвовавшего в глобальной конкуренции и ощущавшего мессианское призвание нести всему миру свет правды, справедливости и новой жизни! Вряд ли можно найти более яркое подтверждение глубочайшего кризиса русского сознания, кардинальной трансформации русской идентичности. В теоретическом плане этот радикальный сдвиг можно представить как смену русского образа конституирующего Другого.

На протяжении столетий имперского бытия внутри России русские не испытывали конкуренции и не ощущали созависимости с другими народами — никто не мог бросить вызов их силе, превосходству, встать вровень с ними. Последние пятнадцать лет Запад сохраняет для русских значение конституирующего Другого скорее инерционно, следуя исторической традиции, в то время как в актуальном времени и резко сузившемся российском пространстве подлинным конституирующим Другим русских становится «внутренний чужак». В более осторожной формулировке, Запад по-прежнему остается *внешним* конституирующим Другим русских, но впервые за несколько столетий интенсивно формируется образ *внутреннего* конституирующего Другого, конкурирующего с русскими в их собственной вотчине. Посмотрев на эту проблему сквозь призму социокультурной и социальной дифференциации отечественного общества, мы обнаружим, что для отечественной элиты первостепенное значение сохраняет внешний конституирующий Другой, в то время как для народа это значение приобретает внутренний Другой. Причем отношения с последним лишены метафизического, мессианского и глобального измерений; конкуренция с ним рассматривается исключительно сквозь этническую призму.

Переход от атрибутирующего государственно-странового и цивилизационного (как это было с Западом) к этническому признаку выделения конституирующего Другого отражает аналогичные изменения в содержании русского Мы. Это важное указание на направление мутации русского духа, на то, каким образом и в каких формах преодолевается глубокий и драматический кризис русской идентичности.

Самое важное здесь то, что русские перестали быть имперским (общесоюзным) народом не только в политико-правовых

категориях, но, главное, в ментальном плане. В сущности, 25 декабря 1991 г. было лишь формальной датой гибели советской державы, в умах она почилла в Бозе гораздо раньше. В противном случае в стране нашлись бы люди и институты, готовые проливать кровь чужую и свою — ради ее сохранения как высшей ценности. Внешняя оболочка мессианского государства разрушилась после и вследствие того, как в массовом сознании умерла его идея и ценность.

Это медленное умирание произошло уже в советскую эпоху, а последнее десятилетие русская традиция развивалась в отчетливо *внеимперском* русле, что подтверждается драматическим ослаблением фантомной советской идентичности и неуклонно продолжающимся снижением рейтинга идеи восстановления СССР. Хотя число ее сторонников достигает 15% населения, по своим качественным характеристикам (преимущественно люди (пред)пенсионного возраста, законопослушные, сторонники коммунистов) они не могут составить силу советского реванша. В то время как прошедшее политическую социализацию в посткоммунистической России молодое поколение в подавляющем большинстве идентифицирует себя с Россией в ее нынешних границах.

Этот взгляд становится преобладающим среди русских, нередко сочетаясь с идеей «большой России», то есть сближения и, возможно, объединения трех восточнославянских государств — России, Украины, Белоруссии. Но интеграционные проекты не выходят за рамки восточнославянской «тройки» (иногда с добавлением Казахстана) и исключают насильственный путь объединения. Не имеет никакой поддержки ирредентистская идея объединения всех русских людей и земель в едином государстве. Даже осознавая проблемы русских меньшинств в «ближнем зарубежье» как часть проблем собственно России, «материковые» русские в подавляющем большинстве не склонны выходить за пределы демонстрации моральной солидарности с компатриотами.

Русская идентичность потеряла имперско-союзный характер, утратила мессианское и вообще трансцендентное измерение. Идея особого предназначения русских в эсхатологической перспективе — красная нить русской интеллектуальной и культурной истории — деградировала и не способна более вызывать напряжение, сохраняя значение лишь как ядро исторической идентичности. В современной России социологически не удастся выявить трансцендентно

мотивированные идеи и надличностные ценности, обладающие массовым мобилизующим потенциалом.

Столь радикальная трансформация русской идентичности, знаменующая разрыв с почти пятивековой отечественной традицией, — несравненно более серьезное и фундаментальное изменение, чем политические и экономические пертурбации последних полутора десятков лет. Культурной проекцией *такой* идентичности оказывается приземленная, прагматичная, замкнутая в узком горизонте *культурная система* национализма, а политической проекцией — *буржуазный* национализм эпохи становления национальных государств. Однако из этого вовсе не следует, что в России формируется политическая, гражданская нация «россиян». Очевидно, что это предприятие с негодными шансами.

Кем же ощущают себя вчерашние хранители Советского Союза и несостоявшиеся члены политической нации? Ответ парадоксально прост: русскими. Массовая этнизация сознания достигла, наконец, русских. Малые народы Российские Федерации пережили ее пик раньше, в первой половине 1990-х гг. Такой крупный национальный массив, как русские, чьей парадоксальной этнической чертой исторически была надэтническая (государственническая) акцентуация, втянулся в этот процесс со значительным запозданием. Да и сейчас русский народ находится лишь в начальной фазе этнической мобилизации. Но уже на этой стадии хорошо заметно приобретение этнической идентичностью несравненно более артикулированных, в сравнении с советской эпохой, форм и значительное повышение ее удельного веса среди других «больших» идентичностей. Изрядно упрощая, можно утверждать: русские все больше склоняются к тому, чтобы считать себя *русскими*, а не гражданами России, православными или атеистами, коммунистами или демократами. Хотя этнизация русского сознания развивается медленно и носит буквально естественноисторический характер (то есть сродни природным процессам), она фиксируется социологически и манифестируется политически и культурно.

По большому счету, это подлинная революция, но не в политике или социально-экономической жизни, а в гораздо более важной сфере — национальной ментальности и культуре. Происходит без преувеличения исторический переход русского народа к новой для него парадигме понимания и освоения мира — этнической.

Кардинально меняется устройство русского взгляда на самое себя и на окружающий мир.

Дополнительный драматизм этой революции придает то обстоятельство, что в структуре самой этнической идентичности биологической принцип (кровь) начинает играть все более весомую роль и конкурирует с культурной компонентой (почвой). Хотя культурно-лингвистическое понимание русскости по-прежнему превалирует, отечественное общество все больше занимают «вопросы крови». В фокусе растущих русских этнофобий находятся именно визуальные меньшинства, то есть такие, которых отличает от русских, в первую очередь, неславянская внешность. Наиболее высокий этнический негативизм русские демонстрируют в отношении чеченцев, других российских кавказцев, цыган, закавказских и среднеазиатских народов.

В старших возрастных группах манифестации национализма и расизма в значительной мере нейтрализуются советским наследием (генетически восходящим к Просвещению). Но в молодежной среде (причем вне зависимости от социального статуса и уровня образования) отчетливо наметилась тенденция перехода от традиционной для России этнокультурной к биологической, расовой матрице. И это значит, что внутри радикальной революции этнизации русского сознания — таится еще более радикальное начало. В общем — традиционная русская матрешка, образы которой, правда, зловещи, а не жизнерадостны.

Стоит предостеречь от распространенного заблуждения, согласно которому так называемая «политика воспитания толерантности» — сама по себе или в сочетании с репрессивными мерами способна предотвратить этническую радикализацию (и радикализацию вообще) подрастающего поколения. Радикализм и расизм лишь элементы происходящих в России фундаментальных, поистине тектонических социокультурных и ценностных сдвигов. Радикально меняется смысл самого национального бытия, происходит рождение новой русской традиции. Ее вектор и содержание не внушают гуманитарного оптимизма, поскольку эта традиция неоварварская, связанная с архаизацией ментальности и общества, опусканием их вглубь самих себя и человеческой истории. В контексте архаизации неизбежно происходит актуализация принципа крови, заменяющего более сложные и рафинированные, но неэффективные в деградирующей стране, социальные связи и идентичности.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Чернышевский Игорь. Русский национализм: несостоявшееся пришествие //Отечественные записки. 2002. №3. С.155.
2. Здесь и далее (за исключением особо оговоренных случаев) приводится социология, позаимствованная из следующих работ: Бызов Леонтий. Ждет ли Россию всплеск русского национализма? (по данным исследований Института комплексных исследований РАН и ВЦИОМ, июнь–июль 2004 г.). [Неопубликованная рукопись] [М., 2004]; Он же. О русском национальном сознании в постельцинской России. [Неопубликованная рукопись] [М., 2003]; Он же. «Родина»: У истоков социал-национального проекта. [Неопубликованная рукопись] [М., 2004]; Паин Эмиль. Куда движется этнополитический маятник. Не исключено, что Россию ждет новый взрыв конфликтов в сфере национальных отношений //Независимая газета. 2003. 27 мая. С.11, Он же. Почему юномолодела ксенофобия. О масштабах и механизмах формирования этнических предубеждений //Там же. 2003. 14 октября. С.1; Петухов Владимир. Перспективы трансформации. Динамика идейно-политических предпочтений россиян //Свободная мысль-XXI. 2005. №6.
3. См.. Коротеева В. В. Теории национализм в зарубежных социальных науках. — М., 1999. С.10.
4. См. выступление Л. Гудкова на семинаре о русской идентичности и русском национализме в Фонде «Либеральная миссия» (<http://www.liberal.ru>).
5. Заслуга его концептуализации принадлежит Э. Саиду, опубликовавшему в 1979 г. знаменитый трактат «Ориентализм». (См.: Said Edward W Orientalism. — N.Y 1979).
6. Приемы и методы этой минимизации проанализированы в: Малькова В. К. Особенности стереотипизации этносов в российской прессе: Проблемы национального достоинства и толерантности //Идентичность и толерантность. Сб. статей /Под ред. Н. М. Лебедевой. — М., 2002.
7. Омельченко Елена. Молодежь для политиков vs молодежь для себя? Размышления о ценностях и фобиях российской молодежи. Доклад на семинаре «Молодежь и политика», 23–26 сентября 2005 г. [Неопубликованная рукопись.] С.3.
8. 10 лет российских реформ глазами россиян. С.69, 70.
9. Идентичность и толерантность. С.27, 91.

---

## Глава 9

# ВАРВАРЫ НА РАЗВАЛИНАХ ТРЕТЬЕГО РИМА

## Социокультурная и ценностная трансформация русской традиции

Грандиозность и глубина перемен, происходивших и происходящих в России последние 15 лет, с особой остротой ставят вопрос о векторе и характере поистине исторических сдвигов. Если упростить, это вопрос о том, куда мы движемся: в воплощаемое политической демократией и рыночной экономикой «цивилизованное» будущее, постепенно возвращаемся в советское прошлое или путь наш пролегает во мраке неизвестности?

Возможно, кому-то подобная постановка покажется чересчур телеологической, то есть исходящей из предположения о существовании смысла и цели Истории. Однако, даже разделяя понимание спонтанности исторического процесса, оценивая ситуацию как уникальную, как «здесь и сейчас», мы все равно не сможем уйти от характеристики происходящего в категориях социального прогресса/регресса. Более того, если мы не движемся к «чему-то лучшему, к чему-то великому» наподобие коммунизма или капитализма как целей человеческого развития, если не относим улучшение нашей скорбной земной юдоли в это отдаленное будущее, то тем более мы должны оценить, стало ли наше общество «здесь и сейчас» жить свободнее, безопаснее, зажиточнее.

Склонный к логическому мышлению ум в этом месте сразу потребует определить критерии прогресса, ведь плюсы и позитивные стороны перемен в одних смыслах и для одних социальных групп могут сочетаться с минусами и негативными сторонами в других смыслах и для других слоев общества. Не бывает так, чтобы



все были довольны в равной мере и одинаково выиграли от перемен. Но в этом отношении российская ситуация выглядит, скорее, однозначной и кристально ясной, чем двусмысленной и нюансированной. Даже сыграв на противопоставлении фундаментального экономического и промышленного спада (падение производства больше, чем в годы Великой Отечественной войны; нынешний ВВП России составляет около 20% ВВП СССР 1990 г.) технологическому прогрессу в бытовой стороне российской жизни (мобильные телефоны, персональные компьютеры, Интернет, западные автомобили и т. д.), нельзя отрицать очевидное — беспрецедентную *социоантропологическую деградацию* России, в конце XX в. явившей миру уникальный случай грандиозного регресса невоюющей страны.

Наши люди, бывшие советские граждане, в подавляющем большинстве стали жить меньше, хуже и беднее, а каждое новое поколение в целом физические слабее и интеллектуально менее развито, чем предшествующее. Российские мужчины живут в среднем на 20 лет, а женщины — на 10 лет меньше жителей западных стран; дефицит белка в питании составляет 35–40%, а 40% беременных матерей страдают вызванной плохим питанием анемией; если при Советах наша молодежь входила в первую пятерку, а то и тройку по уровню интеллектуального развития, то сейчас (в течение пятнадцати лет!) сползла по этому показателю в четвертый десяток стран.

Этот скорбный ряд можно без труда продолжать почти до бесконечности. Как говаривал тов. Сталин, «кто не слеп, тот видит»: никакими технологическими «примочками» в бытовой сфере невозможно компенсировать *такое* ухудшение качества самого человека и его жизни.

А ведь именно социоантропологические показатели (качество жизни и здоровье нации, уровень ее интеллектуального развития) должны ставиться во главу угла при оценке всяких масштабных перемен. Разве не благом человека и общества клянутся все идеологии? Разве где-нибудь и когда-нибудь какие-нибудь реформы исходили из презумпции ухудшения человеческой жизни? Разве человеческий потенциал не есть главное условие вхождения в постиндустриальную эпоху и залог успешного развития, как уверяют все без исключения современные социологические теории и футуристические прогнозы? С этой точки зрения происходящее

в России есть драматическое сокращение потенциального окна возможностей ее прорыва в «прекрасный новый мир».

Можно возразить: для драматических обобщений прошло слишком мало времени, ситуация меняется к лучшему, сегодняшние потери удастся компенсировать если не завтра, то послезавтра. Однако почти 15 лет «реформирования» России — срок достаточный для того, чтобы говорить о сформировавшейся полновесной тенденции, а не о случайном, ситуативном отклонении. Те же болшевики за 15 лет правления четко обозначили прогрессистский вектор развития страны и немало продвинулись в направлении его реализации. А человеческая цена коммунистической модернизации по самому строгому счету выглядит уже меньшей, чем цена нынешней «демократической» деградации. Что уж говорить перспективах «свободной» России, которой наиболее оптимистические официозные планы предлагают в качестве социального и экономического ориентира догонять в течение 10–15 лет Португалию — наименее развитую страну Западной Европы.

Итак, еще раз четко фиксируем позицию: по фундаментальным социоантропологическим показателям современная Россия находится не в фазе прогресса или хотя бы стагнации, а на стадии беспрецедентного и усугубляющегося регресса.

Однако это, что называется, «тело» нации, внешняя сторона ее жизни, которая относительно легко поддается наблюдению и фиксации, в то время как гораздо труднее проникнуть во внутренний мир, оценить состояние и вектор национального духа. Хотя внутренняя сторона национальной жизни в долговременной перспективе, вероятно, важнее внешних ее проявлений. Плоть слаба, дух силен — русские, не раз подымавшиеся после тяжелейших поражений и испытаний, знают это, как ни один другой народ.

Разумеется, невозможно отрицать связь и взаимозависимость внутреннего и внешнего состояний народа. Так, устойчивое пребывание России с конца 1990-х гг. в первой тройке мировых лидеров по числу убийств и самоубийств (1) со всей очевидностью указывает на психопатологическое состояние русской души, которую Танатос — влечение к смерти — настойчиво побуждает к различным формам физического и психического саморазрушения.

Тем не менее в массе своей люди не перестают жить, рожать и воспитывать детей, надеяться и верить. И это значит, что состояние аномии — чувство безнадежности и тревожности, ощущение

бессмысленности и ненормальности жизни — не приняло всеобщего характера, что ему существует какая-то альтернатива, «якорь», удерживающий нас от полного психологического крушения. В каком-то смысле мы имеем дело с фундаментальным парадоксом современного российского бытия — способностью общества жить в условиях, которые еще двадцать лет тому назад могли быть сформулированы только в зловещей социальной антиутопии, воспринимать эти условия как нормальные, «само собой разумеющиеся», быть довольными ими и даже по-своему счастливыми.

Объяснение этого парадокса пресловутым русским долготерпением, пластичностью и гибкостью человеческой психики — не более чем бессодержательная банальность. Почему русское терпение закончилось на рубеже 80-х и 90-х гг. прошлого века, когда социальные условия для подавляющего большинства населения были в целом лучше нынешних? Почему исчерпался потенциал адаптации к советской системе: был и вдруг весь уплыл, причем именно тогда, когда система становилась мягче и гуманнее? И почему люди терпят и приспосабливаются к сегодняшней — явно ненормальной — ситуации?

В самом общем виде ответы на эти вопросы надо искать в изменении базовых ценностей и культуры отечественного общества. Ценности — это то, что придает осмысленность нашей жизни, мотивирует наше поведение, предопределяет наши цели, задает образцы и модели их достижения. Причем — и это чрезвычайно важно — базовые ценности мы чаще всего не осознаем, не рефлектируем, они, что называется, разлиты в воздухе, которым мы дышим, хлебе, который мы едим, в колыбельных матери и уроках отца. В этом смысле они для нас нечто само собой разумеющееся.

Так вот, любые масштабные социально-политические и экономические сдвиги исподволь подготавливаются изменениями в человеческом сознании, в области ценностей и культуры. Революции, синонимом которых в России всегда оказывается разруха, действительно начинаются в головах, из которых исходит первоначок, начальный импульс всякой социальной и экономической динамики. В свою очередь, меняющиеся внешние обстоятельства начинают более решительно влиять на сферу ценностей, отвергая одни и поощряя другие ценностные приоритеты и строящиеся на их основе модели и образцы поведения.

Так происходит и закрепляется фундаментальный ценностный и социокультурный сдвиг, выступающий глубинным основанием и внутренним соответствием изменившегося внешнего социополитического и экономического — порядка. Возникает если не замкнутый круг, то самоподдерживающаяся система: специфическая конфигурация ценностей порождает определенный порядок вещей, который вынужден сохранять и транслировать эту конфигурацию в целях самосохранения.

Чтобы сделать понятнее эту социологическую абстракцию, приведу хрестоматийный пример с «протестантской этикой»: современная наука вполне согласна с Максом Вебером в том, что критически важным предварительным условием появления цивилизованного и нацеленного на развитие капитализма оказывается определенное социокультурное течение, специфическая система ценностей. Не то, чтобы без этого капитализм вообще не может возникнуть — может, но он будет не цивилизованным, а диким и паразитическим антагонистом своего цивилизованного собрата. Более того, западный капитализм, несмотря на все свои метаморфозы, и остается цивилизованным лишь в силу этого изначально встроенного морально-этического регулятора и ограничителя — своеобразного блокирующего стержня, предотвращающего взрыв социального термояда.

Соотношение же между западным (а также восточным, где субститутот протестантской этики выступило конфуцианство) и автохтонным российским капитализмами приблизительно такое же, как между овсом и овсюгом (сорной травой). Превращение последнего в культурное растение было возможно лишь в фантазмагорических теориях сталинского «преобразователя природы» Лысенко. Русский капитализм по самой своей природе не способен породить ничего, близко напоминающего «цивилизованный капитализм»; жадность, нерациональность, античеловечность — не приобретенное, а врожденное свойство, роковая печать, пометившая «бизнес по-русски».

Указание на принципиально ущербную природу русского капитализма — не преувеличение и не литературная метафора, такая его антропологическая специфика — человеческая природа.

По наблюдениям известного политического психолога Е. Б. Шестопал, в высшем эшелоне российской элиты стремительно размывается социальный инстинкт — фундаментальное отличие челове-

ка от животного, то, что, собственно, делает человека человеком, превращая биологический вид в социальную общность. Вероятно, у людей, составивших отечественную элиту, социальный инстинкт изначально был ослаблен, в то время как новая социополитическая и экономическая рамка в наибольшей степени благоприятствовала рекрутированию и продвижению людей, преодолевших в себе «слишком человеческое».

Непредвзятый наблюдатель нравов и этоса правящего сословия России без труда обнаружит, что в отношении отечественного общества оно осуществляет (осознанную или бессознательную) операцию антропологической минимизации и релятивизации. Проще говоря, не добившиеся успеха — а таких в России подавляющее большинство — для элиты не вполне люди, а возможно, даже и совсем не люди. Отношения между богатыми и остальными в России не могут быть описаны и поняты в категориях социального и культурного отчуждения и вражды, речь идет о большем — отношениях имеющих общий антропоморфный облик, но фактически двух различных видов живых существ наподобие уэллсовских элоев и морлоков. Это различие глубоко и экзистенциально укоренено. В смягченном варианте речь идет об отношениях «цивилизованных» людей (элиты) и «варваров» (остальных).

Такую — антропологическую — проекцию приобретает одна из ключевых метафор современного российского дискурса: из явного или имплицитного противопоставления России «цивилизованным» странам (вспомним постоянный рефрен: «как в цивилизованных странах») с очевидностью следует, что внутри самой России имеются агенты цивилизации, выполняющие высокую культуртрегерскую миссию в отношении русских «варваров».

Парадокс, однако, в том, что самозванные культуртрегеры цивилизации на деле оказываются одним из главных источников варваризации России, поскольку транслируют в общество нормы и модели поведения, обеспечивающие достижение экономической выгоды и социополитического успеха ценой разрушения общественной морали, нравственности и социальной ткани. Это — не морализаторская инвектива в адрес богатых и преуспевших, а социологическое наблюдение определенной жизненной и социальной стратегии, причем по-своему рациональной. Хотя рынок и капитализм небезосновательно трактуются как воплощение рациональности, «рациональность в своем “чистом определении” — как оптимизация

связи целей и средств — отнюдь не предполагает... выполнение данных обещаний, соблюдение принятых на себя контрактных обязательств и вообще осуществление каких-либо этнических норм и определенных правил поведения (в том числе — и «рыночных»). Ведь кратчайшим и *потому более рациональным* путем достижения вожделенных целей могут в некоторых обстоятельствах оказаться убийство, обман, вымогательство, а не эквивалентный обмен, оказание взаимной услуги или исполнение обязательства вернуть долг» (2).

Таким образом, отечественная элита транслирует в общество не протестантскую этику как морально-этическое основание цивилизованного капитализма, а ее антипод. А что есть антипод цивилизации, как не варварство?

Понятие «варварство» в данном случае не просто литературная метафора, а интегральная и вполне академическая характеристика оформившегося вектора ценностных и социокультурных изменений современной России, то есть сдвигов в глубинных слоях человеческой ментальности. Хотя это не в пример более трудный (в силу естественной зашифрованности) предмет анализа, чем экономические и технологические тенденции, к исходу 1990-х гг все ведущие социологические центры России сходились в признании фундаментальности и глубины изменений отечественного сознания, отмечая, что перепаханным, в том числе, оказался один из его нижних и наиболее устойчивых этажей — ценностный.

Ввиду плохой уловимости ментальной «субстанции» научным инструментарием интерпретация этих глубинных изменений оказалась трудным и неблагодарным занятием. Тем не менее пятнадцатилетний опыт наблюдений открывает некоторую возможность обобщающих выводов, зачастую полярных в оценке вектора ментальных сдвигов. Но — и это уже непривычно — диаметрально противоположные точки зрения были сформулированы людьми, отнюдь не относящимися к противостоящим политико-идеологическим лагерям.

Один полюс составило мнение известных либерально ангажированных социологов Т.И. Кутковец, И.М. Клямкина, которые на основе анализа структуры ценностных ориентаций в России пришли к выводу, что среди населения страны «модернисты» (или «реформаторы», «индивидуалисты», «протестанты») преобладают над «традиционалистами» (или «консерваторами», «коллектив-

стами», «православными»); что в отечественном обществе сформировалось модернистское большинство, то есть либерализм одержал в России историческую победу на низовом, массовом уровне (3).

Чрезмерный оптимизм, облегченность и прямолинейность этой точки зрения изначально вызвали скепсис, нашедший убедительное подкрепление в итогах парламентских выборов декабря 2003 г.: если бы либерализм одержал победу в массовом сознании, то его политические результаты вряд ли оказались бы столь откровенно мизерабельными.

На противоположном полюсе находится точка зрения известного социального философа В. Г. Федотовой и не менее известного культуролога А. С. Ахиезера, полагающих, что в современной России происходит стремительная архаизация социальной жизни и сознания, хотя они по-разному объясняют причины этого процесса (4). Оценка русского сознания как архаизирующегося гораздо больше соответствует описанной тенденции социантропологического регресса, чем умозаключение о либеральном триумфе.

Но если архаизация — опускание вглубь, возвращение в прошлое, то надо понять, на какой уровень сознание опускается и к какому прошлому возвращается. Другими словами, нужны качественные характеристики, а не указание одного лишь вектора движения.

В этом смысле уровень, на который мы опустились, можно смело назвать варварством. В данном случае варварство значит гораздо больше, чем заметные невооруженным глазом примитивизация культуры и огрубление жизни, криминализация социальных отношений, интеллектуальная деградация и вторичность в гуманитарной сфере. Они служат лишь внешними выражениями и симптомами более глубоких изменений — формирования радикально новой ценностной конфигурации, новых моделей поведения, нового качества социальных связей, которые суть ценности иерархии, крови, силы, экспансии, а также предпочтение примитивных и простых социальных связей и идентичностей сложным и большим. Короче, варварство — это архетипический инстинкт доминирования, племенная лояльность по крови, стремление к завоеванию.

Разумеется, варварский (или неоварварский) ценностный и социокультурный комплекс — не единственный в современной России. Подобно тому, как в одном пространстве сосуществуют примитивная массовая и высокая культура, бок о бок с ним существует

комплекс, основанный на не менее архетипическом инстинкте сотрудничества. Но подобно тому, как сфера влияния высокой культуры сокращается под неудержимым натиском поп-культуры, так и варварский комплекс находится в фазе экспансии, занимая умы и сердца людей, диктуя правила поведения и жизни.

В историософских трудах XVIII в. зрелая цивилизация европейских народов противопоставлялась варварству как юности человечества. Современная Россия стала живым воплощением этой метафоры: носителем варварского комплекса выступает прежде всего молодежь, что придает ему мощную жизнеутверждающую динамику.

Качественное исследование современных базовых ценностей русских выявило, что ведущими мотивами современной молодежи выступают индивидуализм, ценности успеха, благосостояния и иерархии (5). Последняя, понимаемая как легитимность неравного распределения власти, ролей и ресурсов, суть установка на неравенство, и в этом смысле она носит субстанционально антидемократический характер, будучи антагонистом субстанционально демократической ценности равноправия — подхода к индивидам, как равным перед законом, моралью и разделяющим основные человеческие ценности.

Но без равноправия индивидуализм и прагматизм не могут создать ни демократию, ни либерализм. В этом смысле 15 лет тому назад наше общество было значительно более демократическим, чем сейчас, хотя, конечно, и гораздо меньше адаптированным к рынку.

На протяжении 1990-х гг. значимость ценности иерархии выросла, а ценности равноправия снизилась в целом для российского общества. Но поистине фундаментальный характер этот сдвиг носил в элите и среди молодежи. В семьях отечественной элиты ценность иерархии приобрела системообразующий характер, задавая структуру ценностей и тип поведения, а для школьников стала базовой социальной матрицей вне зависимости от материального положения и статуса родителей. Другими словами, не важно, идет ли речь о детях, чьи родители богаты или бедны, социально успешны или аутсайдеры. В любом случае ценности иерархии, индивидуализма и силы стоят для них на первом месте при одновременном отвержении ценностей равноправия, коллективизма и духа сотрудничества.



В целом семантическое пространство и ценностно-мотивационную структуру отечественных молодежи и элиты определяет эгоцентризм, в то время как культура воспринимается ими как нормативная и репрессивная сила. Несколько упрощая, можно сказать, что эгоцентризм для этих групп внутренне близок, а культура — внешнее и чуждое понятие.

Разумеется, из этого не следует, что наше общество в перспективе превратится в стаю одиноких волков. Инстинкт сотрудничества не менее архетипичен, чем инстинкт доминирования, но в условиях варваризации социума он приобретает специфическое — тоже варварское — содержание. Как волки сбиваются в стаю, так современная молодежь объединяется в группировки скорее по биологическому, чем социальному признаку. Этот признак — общность крови.

Мало того, что радикальные националистические идеи пользуются наибольшей популярностью именно в молодежной среде, причем национализм ей ближе любых других идеологем вне зависимости от социального положения и политических взглядов. Национальное понимается молодежью не как культурно-исторический принцип, а, прежде всего, как общая кровь. Иначе говоря, кровь берет верх над почвой, что есть весьма неординарное и исторически несвойственное русским восприятие национальности. Эта доминантная тенденция побуждает скептически воспринимать популярные утверждения о современной молодежи как демократическом поколении: молодежь не только менее демократична, чем советские поколения, она еще и субстанционально антидемократична, а в более широком смысле — вообще отвергает наследие Просвещения.

Хотя объединение по кровному признаку не столь свойственно отечественной элите (но и совершенно отрицать этнические моменты в ее группировании также нельзя), элитная консолидация по кланам носит примитивный, рыхлый и неустойчивый характер. В России не существует образцов и моделей объединения элиты для реализации стратегически значимых общественных целях и с мотивацией, выходящей за пределы чистой прагматики и текущего момента. Весьма показательно, что, в отличие от западного капитализма, отечественные магнаты не в состоянии соединиться даже для защиты корпоративных интересов, предпочитая умирать в одиночку.

Таким образом, варваризации ценностной структуры отечественного общества соответствует варваризация социальных связей и идентичностей, которые архаизируются, упрощаются и опускаются на «нижние», примордиальные этажи. В современной России умирают сложные и большие идеи, выходящие за рамки непосредственного жизненного опыта и узкой прагматики. Однако группы людей, объединившиеся по биологическому, материально-финансовому признакам или в целях выживания и самозащиты никогда не смогут создать никакого гражданского общества, политической нации, вообще какой-нибудь сложноорганизованной и целостной общности. Для подобного масштабного социального творчества необходим интеллектуальный, идейный и ценностный горизонт, лежащий за пределами прагматизма и потребностей выживания – в сфере идеального.

Попытавшись экстраполировать в будущее доминантные для современной России социокультурные тенденции и ценностные сдвиги, мы окажемся в социал-дарвинистской антиутопии: иерархическое общество с неравным распределением социальных ролей, ресурсов и знания, где основные социальные связи и идентичности носят локальный (групповой, клановый) и примордиальный (племенной) характер; общество, где стремление верхних слоев ограничить вертикальную мобильность в целях преимущественного распоряжения ключевыми ресурсами сталкивается с набегами с «нижних этажей» социальной иерархии и в то же время на каждом из социальных «этажей» идет постоянная война локальных группировок.

Происходящее сейчас (и могущее в перспективе произойти) в России — не постреволюционный синдром, не временное «проседание» культуры и цивилизации в ситуации перехода к качественно более высокому состоянию общества, то есть ситуативное отступление в рамках общего прогресса. То, что случилось, и есть новое социокультурное качество, новый ценностный порядок. Это — «прекрасный новый мир», который пришел всерьез и только от нас зависит, пришел ли он надолго.

В каком-то смысле он исторически неизбежен. Если нам не удалось сберечь и сохранить великую страну под названием «СССР», если мы пребываем на ее пепелище и на обочине мировой истории, это значит, что наши ценностные устои, старые соци-

альные институты и культурные формы оказались нежизнеспособными и неэффективными, что они не смогли ответить на вызовы, брошенные историей. Поэтому на смену сложной и цветущей культуре закономерно пришли простые и примитивные развлечения, развитые социальные институты эпохи Модерна заменяются отношениями господства/подчинения, происходит возвращение к категориям власти и крови, взятым в их предельных, обнаженных смыслах. Слой за слоем снимается огромный пласт культуры и социальности, накопившийся со времен Просвещения. Пришедшие варвары примитивны, но и лучше приспособлены для жизни на развалинах великого Третьего Рима, они более жизнестойки.

Вместе с тем происходящее в России отчасти носит авангардный, опережающий мировые процессы характер. Идеи «предательства демократии» и «восстания элит» становятся пугающим лейтмотивом новейших западных социологических теорий, только ленивый не говорит сейчас о закате демократии, конце либерализма, сносе наследия Просвещения, низвержении ценности прав человека и прочих ласкавших слух понятий. Возможно, на исходе XX в. Россия вновь опередила мировое время, как опережала его в начале века?

Нам выпала редкая возможность оказаться свидетелями переломной эпохи мировой истории, наблюдателями подлинного исторического творчества, которое масштабно, спонтанно, непредсказуемо и не подчиняется ничьей указке. В ходе этого творчества происходит настолько всеобъемлющая и кардинальная трансформация русского народа, что впору говорить о рождении новой русской нации. Ее родовые муки облачены в форму традиционной русской Смуты, а появляющееся на свет божий создание похоже на «неведому зверушку».

Формы нового национального тела не очень узнаваемы и, честно говоря, не радуют глаз. Что ж, таков ответ русского народа на брошенные ему историей вызовы, когда, чтобы выжить, надо измениться. Внешне это выглядит радикальным разрывом с предшествующей историей, культурой, ценностями и образом жизни. Уже сейчас разрыв в этих отношениях между нами и идущими на смену поколениями вряд ли меньше, чем между нами и поколениями столетней давности. Тем не менее, даже мутировав, русский организм в своих глубинных основаниях останется прежним. Если,

конечно, ему удастся измениться настолько успешно, чтобы выдержать очередной и крайне жестокий экзамен истории. А это далеко не предопределено...

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. По данным Всемирной организации здравоохранения, на рубеже веков прошедшего и нынешнего по числу убийств на 100 тыс. населения Россия опережала Францию в 43 раза, Германию — в 31 раз, Великобританию — в 27 раз, США — в три раза! И это без умерших от полученных ран и без учета пропавших без вести, подавляющее большинство которых также являются жертвами убийств.

2. Капустин Б.Г. Современность как предмет политической теории. — М., 1998 С.176.

3. Кутковец Татьяна, Клямкин Игорь. Нормальные люди в ненормальной стране //Московские новости. 2002. №25 (2–8 июля). С.1, 9.

4. См.: Федотова В.Г. Анархия и порядок. — М., 2000. Также см. рецензию А.С. Ахиезера на эту книгу в: Pro et Contra. 2000. Весна. Т.5. №2.

5. Лебедева Н.М. Базовые ценности русских на рубеже XXI века //Психологический журнал. 2000. №3.

---

## «НЕ НАДО ОТЧАИВАТЬСЯ...»

### Заключение

Книга, которую держит в руках читатель, предлагает новую парадигму в понимании отечественной истории. Как свойственно парадигмам, она основывается на небольшом числе утверждений дотеретического характера — считающихся самоочевидными аксиом, научная истинность которых не может быть доказана. Парадигма задает скорее стиль, чем содержание мысли, причем применение старого стиля к новому мыслительному материалу навяжет ему «те же (пусть в “смягченном виде”) “общие выводы” и придаст ту же идеологическую окраску» (1).

В качестве классического примера можно привести ньютоновский механицизм, который основывался на модели Вселенной греческих атомистов (Вселенная твердой материи, состоящая из фундаментальных блоков, мельчайших неделимых частиц — атомов) и классической евклидовой геометрии, постулировавшей предельное различие между материей и пустым пространством, временем и материальным миром. Если ньютоновская парадигма была подорвана теорией относительности и квантовой теорией, то картезианский дуализм — идея абсолютной дуальности ума и материи — все еще сохраняет силу в качестве гносеологического постулата современной науки.

На чем же основывается авторская парадигма? Во-первых, на реанимации старого, считавшегося последние годы «немодным» утверждения, что главным субъектом, «движителем» истории выступает именно *народ*. Не институты, включая государство, не социальные, политические или культурные агенты (элиты и партии, классы и социальные группы, культурные группы и религиозные общины), не анонимные социологические факторы-императивы (модернизация, индустриализация, глобализация и т. д.), а народ, который понимается близко к традиции классической политической

философии: как противоположность массы, как способная к коллективному волеизъявлению группа людей.

Нельзя назвать новым и второе положение: народ как целостность изначально существует в этническом качестве, и это вневременное единство сохраняется под социальными, политическими, религиозно-культурными, идеологическими и иными барьерами и размежеваниями. Этничность не только онтологична, она более фундаментальный фактор истории, чем экономика, культура и политика.

Не оригинален и третий постулат. Народ реализует свое этническое тождество в истории спонтанно, стихийно, естественноисторическим образом. Хотя у истории нет трансцендентного смысла и конечной цели (она не есть движение ни к лучшему миру, ни к упадку), тем не менее, за внешним хаосом событий и конstellациями обстоятельств можно обнаружить сквозную, трансисторическую логику, представляющую реализацию, развертывание этнического качества народа. Метафора растения описывает историю лучше и точнее метафоры здания, но и та, и другая остаются лишь приближениями к ее пониманию.

Новизна парадигмы, комбинирующей хорошо известные (хотя и позабытые, «немодные») положения, состоит в ее радикальной альтернативности по отношению к превалирующим культурным аксиомам современной историографии. Они изжили себя, потому что радикально изменился культурно-исторический контекст гуманитарных наук. Из «сумерек Просвещения» мы вступили в «полярную ночь ледяной мглы и суровости». То, что еще по инерции кажется «ересью» или даже невозможным, превращается в *Zeitgeist* (дух эпохи), а вчерашнее самоочевидное, «само собой разумеющееся» оказывается описанием мира, который навсегда канул в Лету.

Тягостная необходимость признать неизбежность невозможного все же оставляет интеллектуальную лазейку. Не существует тотальных, всеохватывающих парадигм. Ни одна парадигма никогда не объяснит всех имеющихся фактов, а конкретный набор данных всегда можно интерпретировать в рамках нескольких парадигм. Ограничены и эвристические возможности предложенной парадигмы: она хорошо работает в Большом времени «Анналов», особенно при анализе поведения больших этнических групп, беспомощна на микроуровне и лишь ограниченно применима за пределами макро- и микроистории.

Капитальное значение предложенной парадигмы — в возможности радикально нового взгляда на историю: существующие исторические факты и наблюдения могут быть переоценены, а прежние выводы, в том числе фундаментального характера, — пересмотрены и переформулированы. Парадигма становится наблюдательной позицией, с которой открывается новый исторический ландшафт. Это не старая история, дополненная новыми чертами, а принципиально новый мир: прежние объекты не просто переинтерпретируются, а преобразуются по своей сути.

Эвристическая ценность старых теорий не отвергается, но в то же время открывается принципиально новая методологическая перспектива. Главное гипотетическое препятствие на пути ее восприятия и ассимиляции составляют не научные, а культурно-идеологические факторы. Это хорошо заметно, если обратиться к теоретическому содержанию новой парадигмы, в особенности к биосоциальной концепции этноса/этничности.

Несмотря на растущую изоционность и гибкость социологических интерпретаций этого явления, внутренняя критика этнологии уже давно доказала принципиальную научную несостоятельность самого социологического подхода к нему. В то же время физическая антропология и биология человека предоставляют убедительные и неопровержимые свидетельства в пользу биологической сущности этноса/этничности. Переход от социологической к биологической концепции этноса/этничности не произошел (и вряд ли произойдет в ближайшее время), не по причине слабости научной аргументации, а в силу негативных коннотаций *такого* понимания этничности. Историческое наследие XX века служит трудно преодолимым препятствием для столь радикального сдвига в нашем понимании. Хотя это же наследие не мешает понимать расу как сущностно биологическую группу, пусть даже ее существование детерминировано, в том числе, социальными факторами.

Оригинальный авторский вклад в биологическое понимание этноса/этничности состоит в интеграции концепции К. Г. Юнга о коллективном бессознательном и архетипах, экспериментально подтвержденной трансперсональной психологией. Тем самым примордиалистское понимание этноса/этничности приобрело новое, критически важное измерение. Можно утверждать, что этнос/этничность представляет уникальный механизм трансляции врожденных, присущих данной биологической группе социальных инстинк-

тов восприятия и действия. Природа этноса/этничности в подлинном смысле двойственная — биосоциальная, а этнос — сущностно биологическая группа социальных существ.

Научное значение такой концептуализации выходит далеко за рамки этнологии и может претендовать на статус большой теории в контексте социогуманитарного знания. Для понимания истории вообще и отечественной в частности, которая служила объектом моего исследования, эта концептуализация открывает вдохновляющую и тревожную перспективу. История оказывается реализацией, разворачиванием врожденных инстинктов творивших ее народов. За исторической феноменологией таится красная нить этнических архетипов. Разумеется, выделение сквозной исторической логики представляет абстракцию высокого уровня, наилучшим образом эта мыслительная операция осуществима в рамках Большого времени.

Новое понимание этничности дает недвусмысленный и шокирующий ответ на сакраментальный вопрос русского национального дискурса: что значит быть русским, что такое русскость. Русскость — не культура, не религия, не язык, не самосознание. Русскость — это кровь, кровь как носитель социальных инстинктов восприятия и действия. Кровь (или биологическая русскость) составляет стержень, к которому тяготеют внешние проявления русскости. Хотя отечественное общество никогда не было захвачено рефлексией по поводу биологической стороны русскости (что не значит, что такая рефлексия вообще отсутствовала), данный аспект всегда интуитивно ощущался и имел первостепенное значение в истории.

Предвижу возмущенный вопрос: какой процент русской крови должен течь в венах, чтобы считать человека русским? Честно признаюсь, меня это не занимало, да и сам вопрос в контексте отечественной истории довольно бессмысленен.

Русские никогда не были чистыми в этническом отношении народом, но, в то же время, обладали значительной ассимиляторской способностью. Предоставляя возможность ассимилироваться в русскость всем, кто этого хотел, сами русские в то же время не были склонны к смене своей этничности. Культурная ассимиляция в русскость сопровождалась вступлением в браки с русскими, ведя к ассимиляции биологической. Поэтому противопоставление «крови» и «почвы» в отечественном контексте лишено смысла. Вплоть до последнего времени браки с русскими означали присоединение



к сильному и лидирующему народу, чей язык и культура доминировали в пространстве северной Евразии.

Но преобладание в межэтнических контактах русского ассимиляторского вектора нельзя объяснить только культурно-историческими факторами. Биологическая подоплека этого процесса слишком очевидна, чтобы ее можно было исключить из исторического анализа. Поэтому автор счел необходимым включить в концептуализацию отечественной истории понятие «витальной силы» — близкое, но не идентичное «пассионарности» Л. Н. Гумилева. В обобщенном виде под «витальной силой» или «витальным инстинктом» понимается совокупность специфических характеристик функционирования этноса как биосоциального явления.

Пятивековая ретроспектива отечественной истории обнаруживает отчетливую зависимость между биологической и морально-психологической, экзистенциальной силой русского народа, с одной стороны, и его историческим творчеством, с другой. Грандиозный успех России в истории оказался возможен лишь благодаря русской витальной силе. Как только она стала иссякать (что заметно с 60-х гг. прошлого века), пошла под уклон и страна. Пик советской мощи и влияния оказался той исторической вершиной, с которой начался спуск вниз. Поначалу медленный и незаметный, он превратился на рубеже 80–90-х гг. прошлого века в настоящий обвал.

Трагический парадокс истории в том, что русская сила, послужившая залогом грандиозного государственного строительства, масштабного социального творчества, ключевым фактором беспрецедентной территориальной экспансии и триумфальных военных побед, была истощена этим строительством и этими победами. Проще говоря, русские надорвались. Именно по этой, и ни по какой другой причине Советский Союз был исторически обречен. Превращение русской силы в русскую слабость, что все более остро ощущается (хотя не рефлексивируется) современным отечественным обществом, делает столь проблематичным наше будущее.

Еще одной важной теоретической новацией в переосмыслении русской истории является понятие русских этнических архетипов (матриц коллективного бессознательного) и главного, доминантного архетипа — архетипа власти. Он трактуется автором как предельное воплощение, почти метафизический первообраз общечеловеческого архетипа власти. Подобно магнитной линии, к которой притягиваются, вдоль которой группируются железные

опилки, русский архетип власти сориентировал творческие усилия русского народа, направил русскую витальную силу в русло строительства самодовлеющего русского государства, русской моновласти. Тотальность, всеобщность государственной власти — таковое сквозное содержание сменявших друг друга конкретно-исторических модификаций отечественной государственности. В более широком смысле русское общество сверху донизу пропитано духом властвования и господства.

Отрешившись от оценочных суждений, нельзя не признать, *такой* тип государства обеспечил русским безусловные конкурентные преимущества в северной Евразии, послужил надежным (хотя и не очень привлекательным) инструментом долговременного успеха в истории. А в рамках Большого времени русская история была одной из самых успешных среди историй европейских народов.

И вряд ли какой-нибудь *иной* тип государства мог обеспечить аналогичный успех или даже сохранение русской независимости. Сравнительно-исторический взгляд на Восточную Европу и развитие соседей России оставляет в этом мало сомнений.

Ярким доказательством существования русского этнического архетипа самодовлеющего государства, причем доказательством от противного, служит отсутствие в отечественной истории влиятельного русского этнического сепаратизма. Феодалная раздробленность была почти исключительно делом элиты, а не масс русского населения, связанного бессознательной этнической связью поверх всех барьеров и разграничений. Россия не знала не только русского сепаратизма, но даже развитого партикуляризма великорусских территорий, хотя ее бурная история и необъятные пространства предоставляли для этого немалые возможности.

Архетип государственности включает как позитивный полюс — служение государству и его сакрализацию, так и негативный — массовый анархизм. Для описания логики русской истории очень подходит метафора маятника между двумя этими крайними точками. Но даже экстремальное выражение антигосударственных настроений — «бессмысленный и беспощадный» русский бунт — питалось имплицитным нормативистским образом чаемого «царства любви и истины» противопоставленного отрицавшемуся актуальному государству.

На всем протяжении отечественной истории русский народ и российское государство находились в симбиотических отношениях. Государство питалось русской силой и беспощадно эксплуатировало ее: русские низы не имели никаких этнических преференций и несли основное государственное тягло. Тяжесть эксплуатации увеличивалась по мере успеха имперского (социалистического) строительства, роста внешнеполитического влияния и военной мощи страны, уменьшения доли русских в численности ее населения. Все это провоцировало недовольство, превращая русских из главной опоры империи в угрозу ее стабильности.

В то же время глубинная психологическая потребность русских в государстве как фундаментальном условии существования находилась в конфликте с актуальным государством. Вследствие и после петровских преобразований, радикально изменивших социокультурный и этнический облик отечественной элиты, этот конфликт резко обострился. Нобилитет и образованные слои стали восприниматься как культурно и этнически чуждые простому народу. Попытки преодолеть ширившийся драматический разрыв посредством формирования имперской идентичности оказались малоудачными. Государственная политика формирования идентичности была относительно успешной в элитах и образованных слоях и, в общем, провалилась в толще русского народа, явно и имплицитно противопоставлявшего конструирувавшейся имперской идентичности влиятельный русский этнический миф.

Русский плебс и имперская элита, образованные слои оказались двумя разными народами не в метафорическом, а в прямом смысле. Этническое и культурное отчуждение проецировалось в социополитическую сферу, придавая социальным конфликтам и политическим размежеваниям драматизм и неразрешимый в рамках имперской политики характер. В своей глубинной основе революционная динамика начала XX в. была *национально-освободительной* борьбой русского народа — такая нетривиальная теоретическая концептуализация вытекает из новой парадигмы в понимании отечественной истории.

И этот вывод не отменяет даже то обстоятельство, что революционную динамику возглавили и пожали ее плоды большевики — внешне наименее русская партия из всех общенациональных политических партий России. Эта политическая сила оказалась наиболее русской в своем доминантном идеологическом призыве, поли-

тических и социальных практиках. Большевикам удалось оседлать качели русской истории: культивируя на стадии прихода к власти анархические настроения масс (напомню, составляющие один из полюсов русского этнического архетипа), в фазисе удержания и упрочения власти они обратились к не менее мощному государственническому началу русского народа.

В виде новой трагедии, а не фарса история повторилась на исходе XX в. На этот раз глубинным основанием конфликта русского народа и коммунистического государства послужило не социокультурное и этническое отчуждение (в ходе советской модернизации была обеспечена гомогенность отечественного общества), а драматическое ослабление русской витальной силы. Русские больше не могли держать на своих плечах державную ношу. Освобождение от нее ощущалось ими как возможность национального спасения. Хотя коммунистическая стратегия формирования новых идентичностей — политической (советской) и территориальной (союзной) — была, на первый взгляд, не в пример более успешной, чем аналогичная стратегия имперской России, ее конечные результаты оказались столь же плачевными. Судя по социополитической динамике последних 20 лет, русские не вполне осознанно, но отчетливо и последовательно отказались от роли хранителей союзного пространства. Говоря без обиняков, они отринули значительную часть собственной истории и культуры.

Сходство событий начала и конца XX в. выглядит еще разительнее ввиду того, что новый — номинально либеральный — революционный призыв апеллировал к тем же разрушительным русским инстинктам, что за столетие до него — большевистский. Одинаково негативным было и отношение к русской этничности обеих политических сил — большевиков и либералов. Тем не менее, они обрели массовую, народную в полном смысле слова, поддержку своей революционной деятельности.

Надо открыто и честно признать: русский народ дважды в XX в. собственноручно разрушил государство и страну, которую сам же создал ценой неимоверных жертв и усилий.

Такая драматическая повторяемость не может не натолкнуть на предположение о цикличности русской истории, задаваемой русскими Смутами. Смуты в данном случае трактуются как точки бифуркации отечественной истории, пункты радикального изменения русской традиции — государственной и социокультурной.

В отечественной истории насчитываются три актуальных Смуты: начала XVII в., начала XX в. и рубежа XX–XXI вв.; равносильна Смуте по своему значению и последствиям монголо-татарская оккупация Руси. Однако происходившие в ходе Смут радикальные разрывы с предшествовавшим статус-кво, скрывали глубинные, ноуменальные связи старого и нового государственного и социокультурного порядков. Этот порядок выстраивался вдоль силовых линий русской ментальности, кристаллизовался вокруг русских этнических архетипов.

Никакие объективные исторические факторы — природно-климатические, экономические, социальные, политические и т. д. — сами по себе не способны вызвать подлинно исторической динамики. Возможность и вектор этой динамики решающим образом зависят от опосредования внешних факторов человеческой психикой и культурой. Именно исходящие из «черного ящика» человеческой ментальности импульсы направляют активность в определенное русло. А сам этот «черный ящик» работает в соответствии с закономерностями функционирования психики, которые, насколько можно их расшифровать, этнически дифференцированы. Проще говоря, находящиеся в одинаковых условиях и испытывающие одни и те же влияния народы будут вести себя в истории по-разному, в том числе, в силу капитальных врожденных различий.

Ментальность, социокультурные стереотипы играют определяющую роль в человеческом поведении в истории. Так, исторически сформировавшиеся константы русского отношения к внешнему миру предрасполагают (не предопределяют!) к определенному восприятию этого мира и поведению в нем. Якобы «объективные» геополитические факторы в действительности оказываются второстепенными по отношению к социокультурным стереотипам и психологическим паттернам. Причем русская готовность к их изменению наталкивается на нежелание западного общества менять собственные стереотипы России и русских. И это обстоятельство устанавливает пределы интеграции России в Европу и западный мир.

Ментальность и культура имели определяющее значение в гибели Советского Союза. Составной частью исчерпания русской витальной силы стал тяжелейший морально-психологический, экзистенциальный надлом русского народа. Подспудное массовое ощущение (не рефлексия!), что с русскими происходит что-то дурное, что дела идут не так, что «наша советская Родина» оказа-

лась для русских мачехой, сопряженное с постепенным кардинальным изменением ценностных ориентаций и культурных моделей, спроецировавшись в политику, привели к гибели страны. Советский Союз сначала умер в миллионах русских сердец и только потом прекратил свое существование как политико-юридическая категория и социальная конструкция. Самым ярким доказательством его внутренней исчерпанности служит отсутствие внятной и сильной реакции — элитной и массовой — на гибель страны. Родившаяся в огне и буре сверхдержава была сдана так, как сержанты сдают армейский караул, как в начале XX в. пала самодержавная монархия.

Главным итогом крушения Советского Союза стали формирование новой социокультурной реальности и кризисная трансформация русской идентичности, начавшаяся еще в советскую эпоху. Прежде сильный и уверенный в своем будущем народ впервые почувствовал себя слабым и ощутил глубинную неуверенность в собственной перспективе. Русская перспектива всегда отличалась драматизмом, но она *была*. И вот русские из творца, субъекта истории стали превращаться в ее объект, расходный материал, что составляет самое важное изменение в нашей истории в последние 500 лет.

Построенная в книге теоретическая модель отечественной истории предвещает новые нелегкие времена и потрясения. Смута в России не закончилась, нам еще предстоит пережить ее кульминацию с непредсказуемым результатом. Это не вопрос о том, *какое* будущее ожидает нас, это вопрос о том, *есть ли у нас вообще будущее*.

У нас, это значит у русских и у России — одно от другого неотделимо. *Россия может быть только государством русского народа или ее не будет вовсе*. Только русские способны держать это пространство в его нынешних границах — такой научный (а не политико-идеологический!) вывод следует из авторских штудий.

Нет ничего практичнее хорошей теории, говорил Ленин. Теоретические выкладки этой книги имеют непосредственное практическое значение по крайней мере в двух аспектах. Во-первых, заниматься строительством «российской политической нации» означает понапрасну терять слова, энергию и материальные активы. Современная русская ментальность лежит в русле интенсивного ощущения и рефлексии собственной русскости, в том числе осоз-

нения (впервые в истории!) важности ее биологической стороны. Русские становятся другим народом. Повернуть вспять этот *естественноисторический*, сродни природному, процесс невозможно. Лучше его ускорить и по возможности ввести в цивилизованные рамки. Тем более что судьба России тождественна судьбе русских и непонятно, почему и как она может зависеть от превращения русскости в «россиянство».

Во-вторых, нелепо ориентировать российскую политику на Запад, если главный вызов нашей способности творить историю лежит на Востоке. Там оформляется главный внешний вызов будущему России, там находится наш шанс.

Если попытаться выразить квинтэссенцию русской истории, то она уложится в две мысли. Первая: русские и только русские, больше никто — творцы собственных триумфальных побед и чудовищных поражений. Вторая: «не надо отчаиваться...» — эта фраза из предсмертной записки погибшего на «Курске» подводника выражает чувства павших и оставляет надежду живым.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Капустин Б. Г. Конец «транзитологии»? О теоретическом осмыслении посткоммунистического десятилетия //Полис. 2001. №4. С.8.

---

Валерий Дмитриевич СОЛОВЕЙ  
РУССКАЯ ИСТОРИЯ:  
НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ

Компьютерная верстка,  
техническое редактирование  
и обложка — С.П. Щербина

ISBN 5-91022-018-7



Подписано в печать с оригинал-макета 21.01.2005  
Формат 60×80 1/16. Усл. печ. л. 20,0  
Тираж 1000 экз. Зак.

Научно-исследовательский центр АИРО-XXI  
E-mail: airo@airo-xxi.ru





СОЛОВЕЙ

Валерий Дмитриевич

Выпускник исторического  
факультета МГУ,

кандидат исторических наук,  
автор нескольких десятков  
научных публикаций по истории  
и политике России.

В настоящее время  
работает научным сотрудником  
Российской академии наук  
и экспертом  
Горбачев-фонда.

